

УФИМСКАЯ СИРЕНЬ

(Уфа в художественной и мемуарной литературе)



МИХАИЛ ОСОРГИН ВРЕМЕНА



УФА 2018 Г.

УДК 882
ББК 84(2Рос=Рус)6-444
О-75

Осоргин, М.А. Времена [Текст]: очерки, рассказы и повесть об Уфе и её окрестностях / Михаил Андреевич Осоргин; предисл. и сост. библиографии О.С. Тарасенко и П.И. Фёдорова; коммент. О.С. Тарасенко и Я.С. Свице; дизайн обложки А.В. Кондрова. – Уфа: Изд-ль А.А. Словохотов, 2018. – 323 с. : ил. – (Уфимская сирень: Уфа в художественной и мемуарной литературе; вып. 3).

Настоящее издание является первой книгой русского писателя-эмигранта Михаила Андреевича Осоргина (1878–1942), издаваемой в Уфе после десятилетий запретов и забвения. В книгу вошли сочинения писателя, связанные с Уфой и её окрестностями, такие, как «Портрет матери» (1927), «Дневник отца» (1927), «Земля» (1929), «Кузины» (1933), «По городам» (1933), «Времена» (1942), а также вступительная статья и комментарии О.С. Тарасенко об его уфимских корнях и Я.С. Свице об осоргинских местах в Уфе и её окрестностях. Книгу завершает обширная библиография сочинений писателя и литературы о нём, охватывающая источники с 1897 по 2018 годы.

Редколлегия серии: В.В. Борисова, В.Н. Макарова, И.О. Прокофьева, С.Н. Сабирова, Я.С. Свице, О.С. Тарасенко, П.И. Фёдоров, А.Л. Чечуха, С.Р. Чураева

Уфимские страницы Михаила Осоргина

Русский писатель Михаил Андреевич Осоргин (Ильин) (1878–1942) прожил необычайно насыщенную и трагическую жизнь. Проведя половину жизни в эмиграции (в Италии и Франции), он был прочно связан своими корнями с уральской природой, городами Пермью и Уфой, реками Камой, Белой и Дёмой. Вся его прихотливая судьба могла бы послужить ярким и суровым уроком современной отечественной интеллигенции, если бы она когда-нибудь захотела признать свою ответственность за трагический ход русской истории в XX веке. Но поскольку, как сказал поэт, мы ленивы и нелюбопытны, то жизнь и творчество писателя Осоргина в нашей стране остаётся уделом внимания исследователей-одиночек. Между тем в Европе и США его книги до сих пор активно переиздаются не только на русском, но и на многих других языках и не только читаются, но и вдумчиво изучаются. Ведь в произведениях этого писателя с большой глубиной и талантом, честно и со знанием дела рассказывается о том, как и почему могучая и успешно развивающаяся Россия погрузилась сначала в кровавую пучину террора, а потом во мглу революций и гражданской войны.

А начиналось всё с семьи. Родители будущего писателя были уфимскими дворянами. Мать – урождённая Савина, отец – Ильин. Эти роды были внесены в родословную книгу дворян Уфимской губернии с 1800 по 1818 годы, как отмечает В.А. Новиков, за выслугу в офицерских чинах. А вот род Осоргиных, псевдоним которых избрал писатель, вписан в Бархатную книгу и является одним из древнейших дворянских родов России. Именье последних располагалось в живописнейшем местечке между реками Дёмой и Берсувань. На картах города Уфы конца XIX – начала XX веков ещё отмечена Осоргинская волость, граничащая с Нагаевской, Булгаковской, Абрабской, Караякуповской.

Получив хорошее по тем временам образование, родители Осоргина уехали в Пермь, где Андрей Фёдорович Ильин занимал ответственный пост в судебной системе края и был активным проводником либеральных реформ Александра II. С юных лет

Миша Ильин не только восхищался величественной уральской природой, но и любил и умел работать с землёй, со столярными и слесарными инструментами. Отец научил его ухаживать за деревьями и цветами, расчищать родники. Мать, свободно владевшая четырьмя иностранными языками, занималась с сыном математикой и латынью. Именно от неё Миша получил прививку христианского смирения, которая спасла его от многих позднейших искушений.

В гимназии будущий писатель проявил способности к журналистике и очень рано начал публиковать свои статьи в местных и столичных газетах. В те же годы он, как и большинство его сверстников, был отравлен ядом ненависти и к своим учителям, и к христианской церкви, и к государственной власти. Поэтому неудивительно, что, поступив на юридический факультет Московского университета, он с головой окунулся в революционную деятельность. Позднее, уже в эмиграции М. Осоргин в своих романах «Свидетель истории» (1929) и «Книга о концах» (1935) правдиво изобразил путь вчерашних мальчиков и девочек из приличных семей в террористические организации эсеров. Нам теперь трудно представить, но им тогда искренне казалось, что главным препятствием на пути к свободе и справедливости в России стоит прогнивший царский режим и его защитник П.А. Столыпин, разрушавший своими реформами крестьянскую общину, что вызвало протест даже у Л.Н. Толстого. Охота революционеров на Столыпина, предательства, раскаяние одних и убеждённость в своём праве убивать других, аресты и эмиграция уцелевших боевиков, крушение и гибель тогдашней России – всё это делает романы Осоргина необычно интересными и увлекательными не только с исторической точки зрения, но и с точки зрения их актуальности в сегодняшней действительности.

Первая русская революция для Михаила Ильина закончилась арестом и заключением в Таганскую тюрьму. Его приняли за другого Ильина, и эта ошибка чуть не стоила ему жизни. Мать не пережила ареста сына и тихо скончалась в Перми. А поскольку отец уже давно лежал на одном из уфимских кладбищ, то, выйдя на свободу, М. Ильин почёл за благо покинуть страну и поселиться в солнечной Италии. Там он много писал и обрёл европейскую известность как яркий и талантливый журналист и публицист со своим неповторимым стилем.

Февральская революция 1917 года вознесла Осоргина на гребень общественной жизни: на первых свободных выборах его избирают председателем Союза журналистов России, он активно печатается в различных изданиях, его приглашают занять должность министра во Временном правительстве, но он благоразумно отказывается. Для самого же писателя момент горькой истины наступает тогда, когда он получает доступ к архивам царской охраны. Там он обнаружил, что многие кумиры его революционной юности, недрогнувшей рукой посылавшие молодёжь на смерть, были двойными агентами и доносчиками. Вынырнув из этой грязи, Осоргин навсегда ушёл из большой политики, но остался деятельным организатором русской интеллигенции. В годы гражданской войны он организовал в Москве лавку писателей, куда приносили уникальные книги из разоряемых дворцов и барских усадеб. За прилавками этого удивительного заведения стояли писатели и учёные, составляющие сейчас цвет и гордость отечественной культуры. А в те времена эта работа была для них порою единственной возможностью не умереть с голоду. Книга Осоргина «Из маленького домика» (1921) передаёт атмосферу тех лет, когда жизнь была «не то страшная сказка, не то оскорбительная хроника, не то великий пролог новой божественной комедии». Однако вопреки всяческим невзгодам писатель не терял присутствия духа, не снижал планку высокой русской культуры и именно в те страшные годы гражданской войны перевёл по просьбе режиссёра Е.Б. Вахтангова пьесу итальянского драматурга К. Гоцци «Принцесса Турандот». В 1921 году, когда на страну обрушился невиданный ещё до той поры голод, косивший уже не тысячи, а миллионы, Осоргин посчитал себя не вправе оставаться в стороне и возглавил газету комитета помощи голодающим. Вскоре члены комитета были арестованы. Высланный из Москвы в Казань Осоргин лично наблюдал, как на улицах когда-то процветавших городов складывали поленницы из детских трупиков. Причём твёрдые и мягкие тела сортировали отдельно, поскольку некоторых можно было ещё спасти. Почувствовал ли он тогда ответственность за свой вклад в такой поворот истории или всё отнёс к козням перехвативших у них инициативу большевиков? Как бы там ни было, но в 1922 году Л.Д. Троцкий при полной поддержке и одобрении В.И. Ленина организовал высылку из страны на двух «философских» пароходах

более 200 представителей старой русской интеллигенции, которую терпеть было уже нельзя, а расстрелять не за что. В числе прочих на одном из этих пароходов навсегда покинул Россию и писатель М. Осоргин.

Последние 20 лет своей бурной жизни Осоргин провёл преимущественно во Франции. Там он активно сотрудничал в эмигрантских изданиях. В одной только парижской газете «Последние новости» им было опубликовано более 1000 статей и рассказов. Осоргин был не только талантливым писателем и журналистом, но и зорким литературным критиком. Именно он одним из первых по достоинству оценил талант делавших тогда первые шаги в литературе писателей М. Булгакова, Г. Газданова, В. Набокова, Б. Поплавского и других.

Не принимая радикализма большевиков, Осоргин был органически чужд и материальной приземлённости буржуазной культуры. Выходом из пошлого и ограниченного мещанского мира для него стал уход в масонство, которому он посвятил свой последний роман «Вольный каменщик» (1937). Воспитанный в антихристианской среде, Осоргин всю жизнь стремился обрести веру. Эти религиозные поиски привели его, с одной стороны, к стихийному пантеизму, а с другой – к масонству как вере в культуру и человеческий разум. В Париже писатель собрал свою третью коллекцию редких книг (первые две погибли в России), которую после прихода гитлеровцев постигла участь двух предыдущих. Жена писателя Татьяна Алексеевна Бакунина-Осоргина после войны воссоздала вывезенное гитлеровцами собрание книг в Тургеневской библиотеке в Париже и до последних дней возглавляла её.

* * *

Уфа занимает особое место в творчестве писателя. Если Пермь была его детской колыбелью и отроческой гимназией, то родина его родителей в годы эмиграции превратилась в образ потерянного рая, в который стремилась вернуться его душа на закате жизни. Не случайно его последняя книга «Времена» начинается удивительной панорамой, завершающейся щемящим образом света, идущего из невозвратного прошлого: «При иных закатах солнце, опускаясь, красит прощальным светом облака на западе, и этот свет бежит до крайних границ востока, а там на одну

минуту распускается роза. Это – наше воспоминание о детских годах, и нужно им дорожить, оно мимолётно. Оно даёт в утешение уже не имеющим будущего». И далее уточняется, что «Далёкое прошлое всегда – сказочная страна». Можно усмотреть в этой картине скрытый символ последней книги С.Т. Аксакова «Детские годы Багрова-внука» (1858) с примыкающей к ней сказкой «Аленький цветочек». В эту сказочную страну Осоргин возвращался в очерках и рассказах «Портрет матери» (1927), «Дневник отца» (1927), «Земля» (1929), «Кузины» (1933), «По городам» (1933) и в автобиографическом повествовании «Времена» (1942). В этой стране происходят два детских путешествия с отцом в Уфу по Каме и Белой. Одурманивающий запах цветущих уфимских садов сменяется неожиданной смертью отца, его похоронами и первой влюблённостью в одну из своих многочисленных уфимских кузин. Но начинается эта сказка, как и «Семейная хроника» С.Т. Аксакова, с которым писатель был связан тройным родством, ещё до рождения автора, со знакомства его родителей, с дорогих ему вещей, уцелевших в вихре революции и чудом вывезенных за границу, – с портрета матери и дневника отца.

В 1929 году в Париже Осоргин издал книгу «Вещи человека», в которой почтил память своих родителей. Глядя на вывезенные из России портрет матери и дневник отца, он описал их романтическое знакомство в Уфе во времена губернаторства Григория Сергеевича Аксакова. Следует отметить, что венчание родителей будущего писателя проходило в Успенской церкви, на фундаменте которой в 1930-е годы был возведён «дом старых большевиков». Эта книга стала своеобразным нерукотворным памятником на две разлучённые могилы в Перми и в Уфе, венком поздней признательности сына своим родителям. Вся эта небольшая книга дышит благодарностью за родительскую любовь, оценённую в полной мере лишь на чужбине.

Рассказ «Земля» был впервые опубликован в парижской газете «Последние новости» 1 сентября 1929 года и является данью памяти художника слова своему родовому поместью Осоргино под Уфой, сохранившемуся донине в виде деревни и дачного посёлка. В этом рассказе при всей его внешней простоте и изяществе создан сложный религиозно-философский образ Матери-земли, олицетворяющей вечность, связывающей между собой прошлое и будущее. Это своеобразное экологическое завещание писателя

будущим поколениям, который был убеждён в том, что отрыв от земли приведёт к нравственной деградации человека. Неслучайно в своей послереволюционной эмиграции во Франции он пытался привить кусты сирени в своём маленьком садике под Парижем, оставаясь в душе «простым, срединным, провинциальным русским человеком, не извращённым ни сословным, ни расовым сознанием; сыном земли и братом любого двуногого».

В своих уфимских произведениях Осоргин изящно обыгрывал темы и мотивы аксаковских произведений. Подобно маленькому герою повести «Детские годы Багрова-внука» он совершает путешествие с севера на юг, но не из Уфы в оренбургское имение Багрово, а из либеральной Перми в патриархальную Уфу, причём не по суше, а по рекам Каме и Белой. Он также увлечён рыбалкой и восхищается огромными деревьями, встреченными им на пути. Как и Серёжа Аксаков, герой его рассказа «Кузины» (1933) увлечён книгами: «...в то время не было книги, к которой немедленно не прилипали бы мои глаза. С книгой я уходил в сад, появляясь к обеду и ужину». Так же, как и герой Аксакова, он очарован его любимой рекой Дёмой: «...действительно прекрасна была река Дёма! <...> Тут провели тёплую ночь. Спускались на воду, в лодке подъезжали к огромной коряге, застрявшей в течении Дёмы, и высаживались на её корявые корни и ветви – сразу человек десять. При луне это было удивительно. А с берега бросали в Дёму большие головёшки; они крутились в воздухе, сыпали огонь и с шипением хлюпали в воду». Но есть и существенные отличия в образах двух маленьких героев. Оставшийся в Уфе после смерти отца герой Осоргина влюбляется в свою кузину Маню. Но через тридцать лет в голодной Москве 1921 года он отказался её навестить, поскольку их политические пути разошлись: она стала женой наркома А.Д. Цюрупы и жила в Кремле, а он был гонимым оппозиционером. Эта идеологическая нетерпимость и последовательное безбожие остудило сердце писателя, воспитанное Аксаковым.

Последние годы жизни Осоргин провёл в небольшом городке Шабри, на независимой от фашистов территории Франции. Там он писал статьи для американских газет и журналов и работал над своей итоговой книгой «Времена» (1942), которая вышла уже после его смерти. В ней он опять вспомнил свою поездку с отцом в Уфу, в город юности своих родителей и своего детства: «В Уфе нас

ждала цветущая сирень, которую был наполнен воздух по течению реки. Отец был счастлив и показывал мне, потерявшемуся от новых впечатлений, всё, что он любил и знал...». Река Белая и запах сирени из многочисленных уфимских садов остались в его памяти как символ безвозвратно ушедших времён и той России, которую он стремился сделать счастливой и которой остался верен до конца своих дней.

*Олеся Тарасенко,
Пётр Фёдоров*

Михаил ОСОРГИН

Времена

**Очерки, рассказы и повесть
об Уфе и её окрестностях**

Портрет матери

Из старой женщины с грустными глазами, какой взяла её смерть, она превращается для меня в девочку лет четырнадцати, изображенную художником на миниатюрном портрете: худое прозрачное личико, чистые голубые глазки, тонкая талия, закованная в корсет, и трогательные розовые с синевой пальчики, так любовно зарисованные художником, что каждый ноготок виден особо.

Такою она была в институте в Варшаве. Она была там единственной русской, училась прекрасно, но окончила без шифра, «потому что во время мессы тянула кошку за хвост».

Это совершенно невозможно! Моя мать с раннего детства и до смерти была религиозной и кротчайшего характера, и кошка замякала во время мессы, незадолго до выпуска, только потому, что польский институт не хотел дать шифра русской. Вероятно, это было для девочки большим огорчением, – мать вспоминала об этом всю жизнь. Когда я был маленьким, пятым в семье ребенком, я представлял себе странную картину: идет обедня, и кто-то за стеной нарочно дергает за хвост кошку, чтобы не дали маме большого банта на платье (так представлялся мне шифр).

Институткой она осталась до конца жизни. Одевалась чистенько, аккуратно, изящно; никто, даже по утрам, не видал ее непричесанной. Молилась она по книжечке, хотя была православной. Ложась спать, вспоминала, что случилось за день дурного, и что хорошего, и что, белое или черное, перевесило сегодня. И каждый день, от института до смерти, занималась по утрам иностранными языками по сохранившейся институтской книжке: французским, немецким и английским.

Эта книжка, толстая, переплетённая в кожу и за полвека ежедневного употребления оставшаяся чистой и непотрёпанной, содержала параллельный перевод изысканных выражений на трех языках. Полоской картона мать закрывала два столбца, оставляя третий. По тексту французскому – вспоминала два других текста, немецкий и английский; затем закладка передвигалась, – и по английскому припоминались идиоматизмы двух других языков; затем открывался текст немецкий.

Толстую книгу мать знала наизусть. Когда (очень редко в глухой провинции) ей приходилось говорить с французом, англичанином или немцем, она их поражала своим языком: они объяснялись попросту, разговорно, она же подавала реплики на языке изысканном, изощренном, старинном, на каком не только говорить, а и писать уже перестали. С содержанием же колбасной, приходя за покупками, она говорила по-польски; этот язык, знакомый с детства, она никогда не забывала: говорила на нем, как полька, и напевала на нем старинную песенку о месяце, заглянувшем в окошко.

– Легкий язык, – говорил мой отец, никогда в Польше не бывавший. – Отец – ойтец, мать – майтец, мыло – мыдло, было – быдло... А еще: «Не пепшь Петше пепшем вепша...»

Было у институтки пятеро детей (да еще один умер маленьким): пять биографий произвела на свет. Это нелегко дается. Все пять биографий начинались одинаково: кормление, скарлатина, гимназия... Когда дошло дело до младшего, до меня, мать отлично знала не только геометрию, но и латинский язык. И в первый класс я поступил, обучившись у нее большему, чем должны были научить меня к концу первого года. Даже Цезаря немножко разбирал. И когда начали мы читать в классе: “*Callia est divisa in partes tres*” («Галлия разделена на три части» (лат.)), – заботами матери моей я уже давно знал, что это значит.

Но кроме латыни есть и арифметика. Уже одиннадцать часов, спать пора, – а третья задача из Евтушевского еще не решена. Мать только что кончила заниматься с сестрой, которая никак не могла запомнить названия полуостровов.

– Ну, Пиренейский же, Пиренейский, ты запомни: перина, на которой спят. Повтори все полуостровы.

Сестра повторяет – и опять забыла Пиренейский.

– Я же научила тебя, как запомнить. Ну, на чем спят?

И кончиками губ шепчет моя сестренка:

- По-ду-шечный?

Сестра идет спать, а я все еще пишу напрасные палочки в тетради. Рядом со мной мать тоже решает задачку, шепча про себя:

- 354 фунта, 8 лотов и 3 золотника картофеля помножить на 17 и 6 в периоде...

Ну за что мучат и ребенка и мать! Все-таки она решила, я переписал в свою тетрадку. Крестит меня, целует – иду спать и я.

А на другой день двойка за устный ответ. Спрашивали пустяк, а я не ответил, потому что голова устала от глупых этих цифр, от вечного сидения над задачкой. Мне горе, маме тоже грустно: смотрит глазами печальными. Ушел в свою комнату, опустился перед постелью на колени, голову уткнул в подушку, заплакал и заснул. Сколько буду жить – никогда не прощу своих слез сухому учителю арифметики: зачем мальчика мучил!

Проснулся оттого, что мать обняла за шею. Она тоже на коленях перед кроватью и тоже заплаканная. Слезы из детских и взрослых глаз, потому что так трудно помножить картофель на 17 и 6 в периоде, когда и другой зубрежки много, когда нужно еще запомнить, что Максимилиан Первый любил ходить на охоту, чтобы переплестать книги в кожаный переплет, и что город Брюссель славится своими кружевами. Так до самой смерти не перестану не любить педагогов: ведь это они выдумали и кошку за обедней в мамином институте!

Когда я родился, матери не было еще тридцати лет. Она вышла замуж в семнадцать, значит, почти такой, как на портрете: голубые глазки и тонкие миниатюрные пальчики. Когда я надел фуражку гимназиста (с большой тульей и гербом), мать все еще казалась молоденькой, только начала полнеть. Она смущалась и краснела от нескромных слов и кокетливо оправляла перед зеркалом волосы, без единого седого. Но жизнь в провинциальном городе была однообразна и скучна, а большая семья требовала вечных мелких забот. Мать не только всех нас подготовила к гимназии, не только помогала нам готовить уроки, но и лечила всех сама простыми и испытанными средствами: липовым цветом, сухой малиной, касторкой, компрессами, клюквой в уши – при головной боли (это после пирамидон выдумали), паутиной – при порезах, теплым деревенским маслом – если стреляло в ухе. Когда детей пятеро – один из них непременно болен, а для хорошей жены муж ее тоже идет за ребенка. Мало оставалось у матери свободного от забот времени. И вокруг ласковых голубых глаз появились тонкие морщинки.

Была у родителей мечта: из глухой провинции перебраться в столицу, или хоть поближе к центру, или, наконец, хотя бы на родину отца, где было бездоходное имение на реке Бугуруслане; хоть немного пожить бы, отдохнуть, – а, там пусть опять служба и семейные заботы. Так мечтали двадцать два года. А сбылась бы

мечта – взволновались бы безмерно, не знали бы, как расстаться с насиженным местом, с привычками, с кругом знакомых, как приспособиться к новым местам.

Но мечта не сбылась.

Однажды весной отец получил отпуск, взял с собой меня, младшего, и поехал в родной город Уфу, навестить свою мать, повидать именье. По дороге, в Пьяном Бору, где пересадка с Камы на Белую и где тогда приходилось целую ночь ждать на пристани парохода, отец простудился, а по приезде в Уфу, едва увидав родной город и старый дом моей бабушки, – слег и умер. Мать приехала, когда на уфимском кладбище уже стоял новый намогильный крест.

Семья стала маленькой (две сестры вышли замуж и уехали в Москву). Была приличная бедность: ели хорошо, а носили штопаное. Осталась кухарка Савельевна. По субботам мать ходила с ней на рынок. Заяц в шкурке стоил пять копеек, без шкурки – десять (снять шкурку – тоже работа). Близ города были леса – тянулись через Урал на тысячи верст. И стерлядка стоила пятак (из кормилицы Камы!). А вот ученье стоило дорого. Впрочем, доучивался теперь один я.

Был у матери рабочий столик с откидной крышкой, с ящичками, полочками – целый городок рукоделья. Окончив утренние хлопоты, она за ним проводила весь день. Штопала, вышивала, чинила белье, читала, раскладывала пасьянсы. Чтобы сберечь глаза – разнообразила работу: штопка, газета, чулок, книжка, вышиванье, пасьянс. В перерывах брала из коробочки кедровый орешек, разбивала камушком и ела. Зубы стали плохи. Но утром, прежде всяких занятий, открывала институтскую книжку и шепотком повторяла старинные фразы – по-французски, по-немецки, по-английски.

– Зачем мама?

– Ну, я привыкла. Может, и пригодится еще.

А когда, уже студентом, я стал работать в газетах и летом секретарствовал в нашей провинциальной, – она переводила для меня статейки из иностранной почты и небольшие рассказы. И нечаянно я узнал, что у нее был отличный литературный язык и что она хорошо разбиралась в событиях жизни заграничной. Откуда это – у институтки, всю жизнь прожившей в губернском городке Приуралья?

Теперь я видал мать только летом, когда приезжал из Москвы на каникулы (пароходом по Волге и Каме! Незабвенное время! Счастливые дни! Любимый кусок родины!). А как-то приехал и зимой, неожиданно: выслан был на родину за «защиту чести студенческого мундира».

Всплакнула мать, обнимая сына-героя:

– Ну, из-за чего это вы? Лучше бы учились хорошенько. Вот теперь год и потеряешь.

– Нам не дают учиться, мама. Мы не можем допустить...

– Я знаю, милый, я читала, а все-таки лучше бы сначала выучились, а уж потом... Твое дело, но ведь лишний год так трудно.

И посмотрела на мою папиросу:

– Вот ты все куришь...

Утром, вставши, вижу: беднее стало у мамы в квартире. Все старенькое. Сама, в черном старомодном платье, сидит за книжкой, передвигает закладку, шепчет английские фразы.

Был на третьем курсе. Написал матери:

«Пришли мне, пожалуйста, поскорее нотариальное разрешение жениться; оно нужно для представления в университет ректору, так как без этого не венчают. Я, мама, решил жениться. Моя невеста...»

Она ответила:

«Посылаю тебе разрешение. Что ж поделать, если ты решил жениться, хотя, по-моему, тебе рано. Лучше бы сначала окончил и устроился. Но дело твое, мой мальчик, я не противоречу; значит, уж такая твоя судьба...»

На каникулы приехал и говорю:

– Свадьба моя отложена, мама. Может быть, еще и не женюсь...

У нее радостно и хитро заиграли глазки:

– Как знаешь, милый. По-моему, тебе рано, ты еще совсем мальчик. Но как знаешь, делай как хочешь. Если женишься – я полюблю твою жену.

Прожил дома лето. Нотариальное разрешение отдал матери обратно:

– Не нужно, мама.

– Я знаю; ты все получал письма. А ты бы, если уж суждено тебе жениться, женился бы на Катеньке.

Катенька была моим другом детства, любимицей матери; жила в нашем городе.

– Нет, мама, я вообще не собираюсь.

Перекрестила и отпустила опять в Москву.

Потом был девятьсот пятый год, коротенькая «эпоха свобод». И тогда мать писала мне, маленькому московскому адвокату, больше занятому революцией, чем практикой:

«Может быть, вы и правы. Я, во всяком случае, очень рада, что наступило время, о котором ты мечтал».

Она каждый день читала «Новое время», ходила ко всеобщей и к обедне и горько плакала (я это хорошо помню, хотя был тогда совсем маленьким), когда убит был Александр Второй. Он, царь-освободитель, был ее кумиром, может быть, потому, что мой отец был скромным участником крестьянской и судебной реформы Александра.

Теперь отца уже не было; был сын, и радость сына могла стать радостью матери. Она всю жизнь жила радостями и горестями мужа и детей.

Но «эпоха свобод» окончилась быстро. Мать знала, что мне грозит. Все равно ей не пережить бы этого несчастья; даже мысли об этом она, старенькая, пережить не могла.

И когда следователь в Таганской тюрьме, предъявив мне статью закона, которую я и ждал, начал официальный допрос: «Ваш отец? Ваша мать?..» – я ответил ему:

– Тоже умерла.

– Когда?

– Сегодня утром получил письмо.

Он посмотрел на меня исподлобья и смущенно выразил соболезнование.

* * *

Ни одного письма, ни одной строчки, писанной ее четким бисером, нет в моем архиве: все похоронено в архивах Охранки и Чека. Нет даже картонного квадратика, которым она закрывала текст институтской книжки и на котором записан был для памяти порядок пасьянсов:

«Восемь королей.

Rouge et noir.

Горница.
Тринадцать.
Concordance.
Веер.
Взаимность.
Кадриль.
Марьи Павловнин.
Для тасовки.
Мой».

Пока мог – я свято хранил этот кусочек картона, присланный мне сестрой. Но и он вместе с другими реликвиями погиб в скитаньях и при обысках.

Остался – чудом и дружеской услугой – только портрет работы польского художника, с пометкой: «54 г.». Такой она была три четверти века тому назад: худенькой институточкой с тонкими прозрачными пальчиками.

И вот уходят из памяти черты лица молодой женщины и старухи. Но каждый день, когда смотрю на портрет в круглой черной рамке, – освежается и укрепляется в памяти (уже навсегда) лицо девочки с голубыми глазами.

Когда смотрю – думаю: «Я – сын этой девочки!»

И делаюсь тогда сам маленьким, хрупким, незаметным, может быть, счастливым, а может быть, и не очень счастливым.

Есть и мой детский портрет. Но никто никогда не повесит его над постелью и не будет думать: «Я – сын, или: я – дочь этого мальчика в теплой курточке».

Никто никогда, потому что некому...

Париж, 1927 г.

Дневник отца

Отец! Прости мне это кощунство! Я перелистываю тетрадь пожелтевших от времени страничек, дневник твоей любви, твоих страданий и твоего счастья. Я делаю выписки – и со смущенным удивлением смотрю, как сходны наши почерки. Я ясно вижу и другое: как сходны наши мысли о самих себе, эти безжалостные характеристики, в которых правда чередуется с праздным

самобичеванием. Передо мной и твоя карточка – последняя, покойная: сложены руки, и голова ровно примяла подушку, окруженную гирляндой цветов. Я прикрываю бумагой твою седую бородку и узнаю в мирно спящем, в спящем навеки – себя самого: лоб, нос, надбровные дуги. Только спокойствие и серьезность – не мои, еще не мои...

Эта тетрадь да миниатюрный портрет матери – все мое наследство; и я большего не желал, лучшего я и не мог бы желать. Две реликвии пятидесятих-шестидесятих годов, две тени прозрачных душ. Через годы и этапы жизни они прошли и сохранились истинным чудом. В них моя связь с далеким прошлым, с началом и причиной моего бытия. Мне уже некому будет передать их. Но мысль не мирится с тем, что они окажутся на лотке сенского антиквара, что коллекционер обшлагом сотрет пыль со стекла миниатюры, а лицеист, послюнив палец, с недоумением перелистает рукопись на незнакомом языке. Мне хочется продлить их интимную жизнь хоть в чьей-нибудь памяти, прежде чем все исчезнет.

Разве это – кощунство? Со всей силой любви и благодарности – благодарности за жизнь, которую оба вы мне даровали, – я напрягаю все свое малое дарование, чтобы сказать о вас лучшими словами, какие найду и сумею вплести в венок вашей памяти. Простите же меня! Уже и до меня доносится холодок грядущего небытия, уже и на моих часах стрелка неумолимо близится к неведомой мне минуте покоя в Востоке вечном.

То, что я пишу сейчас, – пишется лишь один раз в жизни и в груди исписанных за многие годы листов бумаги не потонет: кто-то любящий, в кого я верю, чью ласковость чувствую, – близкий ли, далекий ли, родной или незнакомый, – сделает из этих страниц реликвию памяти обо мне, а через меня – о вас, когда и эти страницы позолотятся временем, как лежащая передо мной наивная и трогательная запись мечтаний и любовной тревоги.

* * *

«Я придумал писать к тебе, милая моя Леночка. Знаю, что ты никогда не прочтешь того, что будет мною написано. Знаю также, что тебе и в голову не может прийти, чтобы я мог что-нибудь писать тебе, будучи так немножко знаком тебе. Знаю даже, что ты

отозвалась бы насмешливо и даже презрительно, если бы узнала, что какой-то человек, совершенно тебе чуждый, вовсе не привлекательный и более чем посторонний, осмеливается что-то писать к тебе, без всякого права, без малейшего основания и повода, и притом так дерзко, так вольно. Но Боже мой! Ведь говоря с тобой, разве тебе я говорю? Я говорю с воображаемой Леночкой, или лучше - говорю с самим собой. Положим, это странно, дико, смешно и даже глупо. Разве ты-то узнаешь когда об этом?»

* * *

Отец мой был бедным уфимским помещиком и в своем бездоходном имении почти не жил. Окончив университет, стал работать и работал до последнего дня жизни, тяготясь этим, но и не умея жить без постоянного и упорного труда.

Его дневник по времени должен совпадать с первыми годами реформ Александра Второго, с крестьянской и судебной; но в дневнике – только его любовь, эпоха в нем не отразилась. Работал он по проведению крестьянской реформы, позже – судебным следователем первого призыва, еще позже – членом окружного суда в приуральской провинции, откуда, уже человек многосемейный, никак не мог выбраться.

Умер он в родной Уфе, куда приехал повидаться с родными и показать им младшего сына – меня. Тому времени прошло больше тридцати пяти лет. Ему хотелось еще показать мне остатки неразделенного нашего родового поместья, – но не удалось. Помню, что оттуда, из деревни, приехал повидать отца и меня наш бывший крепостной повар, глубокий старик, очень преданный. Он смутил меня, гимназистика, поцеловав меня в плечо, а потом собственноручно свертел нам мороженое. Когда отец умер, имение, которого я так и не видал никогда, продано было крестьянам.

Мне не верится, чтобы отец мой был таким «непривлекательным» и замкнутым в себе человеком, каким он себя изображает в дневнике. «Ближних и милых друзей у меня нет, и сам я такой скверный человек, что не способен к большой откровенности. В жизни моей такая скудость и пустота. Мне страшно, что время уходит без следа и напрасно; мне грустно, что такая пустота и пошлость представляется моим глазам и так мало истинно прекрасного я вижу». Влюбленный – может ли писать

иначе? Но я помню и знаю, по отзывам других, каким он был привлекательным, общительным, веселым и милым человеком, какой любовью и уважением пользовался в обществе. В молодости не было друзей? Возможно. Но не выше ли дружбы, не богаче ли ее – любовь, которой посвящены его записки?

* * *

«Я в первый раз увидел тебя в театре. Ты только что приехала в Уфу и впервые явилась уфимскому обществу. Я пришел в театр усталый от работы, пришел измученный и грустно настроенный. В театре ты обратила на себя внимание наших кавалеров. Хорошенькое личико в губернаторской ложе, новая фамилия – обратили на тебя толки и лорнетты. Многие уже готовили тебе фразы и улыбки; другие разузнавали. Издали ты мне показалась очень милой, а когда я тебя увидел поближе, я должен был сознаться, что не обманулся. Такая ты была молоденькая и свеженькая; так славно смотрели твои чудные глазки; столько юности и чистоты в тебе было. Твой образ, твой взгляд, все то общее впечатление, которое ты делаешь, мне напомнили что-то, чего я кругом не видел. Я не влюблен в тебя только потому, что я не мальчишка. Я не влюблен в тебя, но я затаил, скрытно от других и тебя, твой образ в душе своей и придал ему все остальное своим воображением. Я долго мог после этого вызывать на память твой образ. Я тешился этим в минуты тоски и грусти. В этой форме стало у меня слагаться все лучшее, о чем я думал. Мне хотелось верить, что ты действительно чудная девушка; и если бы для тебя потребовали у меня жертв, я на все готов бы был решиться. Я глупый мечтатель, милая Леночка; но право, никогда и никто другой не ставил тебя так высоко и свято в эти минуты».

* * *

Ей, этой хорошенькой девушке, привлекшей к себе «толки и лорнетты», было семнадцать лет; она только что окончила институт и приехала с отцом и старшей сестрой погостить в Уфу к знакомым. Изящная, миниатюрная, получившая светское воспитание, она имела большой успех в замкнутом дворянском обществе Уфы. Несомненно, моему отцу нетрудно было с нею

познакомиться и часто ее видать; губернатор Аксаков, в семье которого она была принята и в ложе которого впервые появилась, был связан с отцом тройным родством. Хотя отец и «выключил себя давно из разряда уфимских кавалеров», но он был очень молод, хорошей фамилии, умен, образован, талантлив, всюду принят.

Но какой же молодой человек того времени, побывавший за границей и томившийся провинцией, чуждался маски «печального равнодушия, после которого кончается молодая жизнь, смолкают пылкие стремления, останавливается движение вперед»? Мешали еще неуверенность в себе, малая обеспеченность и ответственная служба, отнимавшая много времени. Но главное – самолюбие, нежелание оказаться в очереди улыбающихся и говорящих фразы поклонников юной уфимской звезды. Смотреть издали, томиться этой далью, в томлении находить сладость и поверять бумаге свои мечты – разве это не лучшая рамка для родившегося чувства?

* * *

«Помню я и всегда буду помнить одну заутреню на Пасху. Я только что оправился от болезни и с радостным сердцем попал в церковь. Признаться, ты не была у меня в мыслях; но Бог знает отчего я был весел. Ты была у заутрени и стояла от меня близко. Ты была хороша, но в этом не было для меня перемены. Молилась ты усердно рядом со своею сестрой. Но вот кончилась заутреня, свечи погасли и началась обедня. Я нечаянно очутился возле тебя, потому что не искал этого случая. Стало темно; ты устала, видимо. Не знаю почему, но я вдруг стал на тебя смотреть иначе. Светская девушка исчезла у меня из глаз, и передо мной действительно стояла моя милая Леночка, которая так часто чудилась моему воображению. Я не мог оторвать своих глаз от тебя. Такая ты мне сделалась милая, так мне хотелось обнять и расцеловать твои ручки и глазки, крепко прижать тебя к сердцу. Ты мне показалась ребенком, но таким ребенком, за которого я отдал бы все на свете. Эгоизма во мне не было в то время; чувства мои были чисты и просты; если бы мне указали тут же какого-нибудь идеального человека и назвали его твоим будущим мужем, тобою любимым, я горячо протянул бы ему руку на будущее счастье и только строго-строго взвесил его качества. Для себя я сберег бы – но нет, что я говорю? Я никому тебя не доверил бы; я окружил бы тебя любовью, окружил бы тебя

такими попечениями о твоём счастье, – только бы дали мне возможность самому сделать это счастье».

* * *

Провинциальный мирок, где каждый знает каждого, где новый человек, особенно женщина, особенно молоденькая, красивая, светская, долго служит предметом внимания, толков и пересуд. Зимний сезон, театр, клуб, балы, маскарады, любительские спектакли под покровительством помпадурши. Толпа золотой молодежи, шаркунов, бойко болтающих по-французски, и, конечно, свой Чайльд Гарольд, отрицающий это пошлое общество, но неизменно являющийся на балы и спектакли, чтобы со скептической улыбкой и со скрещенными на груди руками простоять весь вечер у колонны.

«Не влюблен, потому что не мальчишка». А сам не сводит, не может оторвать глаз от сцены, где девушка-подросток со смущением произносит слова своей роли, так ей не подходящей. Дома он вынимает из стола свою тетрадку и пишет при свете масляной лампы:

«Чужие и скверные люди пустили тебя на эту сцену; такой молоденькой, неопытной девушке, не имеющей даже определенного положения на свете, и дали такую роль! А между тем как хорошо, с каким верным пониманием исполняла ты свою роль. Ты была так мила, что спокойно сидеть я был не в силах. Каждый шепот во время твоей речи, каждый смех между зрителями – бесил меня. Я едва удержался в толках с некоторыми о пьесе и исполнителях; я вовремя опомнился и убежал, не кончив речи. Мне хотелось защитить тебя и от похвал, и от общего смысла твоей роли, хотелось увлечь тебя с этой сцены, заставить молчать каждое неосторожное слово. Но что тебе в этой защите? Я тебе также посторонний человек и даже более чем последний из окружающих тебя знакомых. Боже мой, как грустно!»

Наедине с собой – зачем прикрываться плащом равнодушной усталости и «отеческого чувства» к беззащитному ребенку? И пишет рука Чайльда Гарольда:

«Я не досказал еще тебе, Леночка, что я уже люблю тебя и полюбил почти с первого твоего взгляда, как никогда не любил никого на свете. Теперь это слово сказалось, и так ясно и живо

стоит для меня, и напрасно силюсь я ему отыскать другое название. Что же теперь делать, моя милая?»

* * *

Та ли она, какою кажется? Имеет ли право он, такой дурной, испорченный, усталый, негодный человек, думать о ней, говорить с ней в своем дневнике, мечтать о более близком знакомстве, о счастье быть замеченным, выделенным из толпы поклонников?

«Если бы я мог взвесить холодным рассудком все будущее, я собрал бы всю волю, весь эгоизм свой; я заперся бы внутри себя и задушил бы в себе это тяжелое чувство».

И разумеется, – «разбил бы свою жизнь и умчался Бог знает куда». О забвении и новом счастье уже не мечтать, уже не создать себе новой жизни. «Лета разве только возьмут свое, и под гнетом их я стану бесстрастен и спокоен. Все кончено к лучшему. Дальше все пойдет так незаметно и постепенно. Сегодня одно разобьется на сердце, завтра другое, там третье, а потом и ничего не будет: холодно, ровно и мертво».

* * *

Страницы и страницы, отданные грустным и трагическим размышлениям о своей ненужности, неинтересности, о муке любви неразделенной и безнадежной.

Уж такой ли безнадежной? Правда, она сказала как-то в случайном разговоре, что «не понимает романтической любви» и что «любить не может никого». Но ведь сказала это девушка семнадцати лет и сказала с таким ласковым сиянием голубых глаз, что у бедного страдальца сразу согрелась душа и забилося сердце нечаянной радостью.

Да, они теперь уже довольно часто встречались. Со всеми оживленная и беззаботная – с ним она была серьезной. Он ее немножко пугал своими рассуждениями о людской пошлости и собственной своей негодности. Со всеми было просто – с ним очень трудно и беспокойно. Случалось даже, что она просила его не приходить, – и он, оставшись дома, писал за страницей страницу, красивыми словами воздвигая надгробный памятник своему нецененному чувству. Но иногда, наоборот, она, уставши от пустых светских разговоров, сама искала его, странного, не похожего на других, немного волнующего, слишком для нее

умного, вызывающего какие-то новые, непривычные вопросы, грубоватого и презрительного со всеми, кроме нее, а главное – несчастного. Любовь женщины часто начинается жалостью, желанием утешить и ободрить. И также часто маленькие женщины догадываются, что мировая скорбь мужчины непрочна и довольно легко излечивается ласковым словом; только не нужно противоречить и смеяться. Голубые глазки знают свою власть, – но и играть с таким человеком нельзя! Как же быть? И почему он прямо не скажет, чего он хочет от нее, за что ее так мучит слишком серьезными и слишком унылыми разговорами? Он умнее и интереснее других, – но было бы лучше, если бы он был весел, как другие, потому что ведь жизнь так хороша и рано в семнадцать лет мучить себя загадками и вопросами.

* * *

«Как я счастлив сегодня, как мне весело и отраднo! Такая ты добрая была, Леночка, такая милая, такая хорошенькая. Ты не оттолкнула меня, ты не засмеялась надо мной после всего, что я сказал тебе, не приняла за фразу мое слово. Ты говорила со мной так хорошо, так искренне. И ты могла помышлять, чтобы я дурно о тебе думал? Ты могла думать, что я нахожу удовольствие тебя мучить? Да разве ты не знаешь еще, что вся моя жизнь, все мое дорогое и прекрасное – в тебе одной? О, я был бы хорошим человеком, если бы ты, Леночка, не отнимала у меня радости и надежды – не быть тебе чужим».

* * *

Чередуются в дневнике эти «так счастлив сегодня» и «я так несчастлив». И всегда: «Что же мне делать, что делать?» Сказать о своей любви? Но «по какому праву?»

Это в наше время можно говорить о своей любви хоть накануне ее появления и девушке, и замужней, и той, которая желанна, и той, без которой можно обойтись. На Рубиконе же пятидесятых-шестидесятых годов было нужно иметь на это право! Сказать о любви – а дальше? Быть отвергнутым – значит, жизнь разбита и исчерпана! Быть выслушанным благосклонно и услышать ответное «да»? Но ведь для этого...

Кто такой ее отец? Чего хочет он для своей дочери? Человека, по-настоящему ее любящего, или жениха с деньгами и положением

в обществе? Зачем-нибудь да позаботился он, не богатый и не знатный, дать дочери тонкое образование и ввести ее в лучшее общество, ей доступное. И кто претендент? Бедный дворянчик, служака, работник, ничем не выдающийся человек? И что за тип этот их знакомый по Варшаве, поляк Г., богач, к которому с таким расположением относится ее отец? Жених? Может быть, она уже любит его или полюбит? Ну что ж!

«Если ты будешь истинно любить Г. – для твоего счастья довольно. О, я тогда, если бы и погиб вовсе для счастливой жизни, – я помирился бы с тобой, и ты навсегда осталась бы для меня чистым и светлым существом, явившимся мне, чтобы осветить хоть на время мое существование. Издали и идеально, мечтательно и грустно я всегда любил бы тебя. Мысль, что тебе хорошо на свете с другим, была бы мне мучительна на время и, может быть, долго; но это не было бы разочарованием и не прибавило бы никакого темного пятна к моей житейской опытности...»

Разбогатеть? Но как? От работы не разбогатеешь, – она и так отнимает весь день. Выиграть в карты?

«Я только что воротился домой. Я сегодня играл и много проигрался; но не мог заглушить тоску свою. Тебя я не видал, а если бы и увидал – разве было бы лучше? Ты была дома, потому что я видел свет у вас в доме. «Верно, у вас Г.», – подумал я; и как ни разуверяла ты меня, и как ни верю я тебе, а все мне стало нехорошо от этой мысли. Кто близок к тебе, того ты скорее полюбишь; кто так далек, как я, того ты любить не можешь. Господи, как грустно мне. Теперь, после этой убитой так пошло ночи, еще хуже, еще пустее кажется на свете, и ничего, решительно ничего, ни малейшей надежды. Нет, я решительно погибаю и оставаться так долго уже не в силах. Пусть гибну».

Последняя буква прижата пером, и черта под отрывком дневника, обильная чернилами, шершавая, разорвала бумагу...

Кажется – все кончено!

* * *

Но нет, еще две краткие записи:

«Хорошо мне теперь. Целый вечер я не спускал с тебя глаз и говорил с тобою. Неужели в самом деле я могу быть счастлив?»

«Два нехороших дня. Я решил не писать в эти минуты ужасного состояния и тоски. Я начинаю бояться мысли, что к

счастью я не способен. Буду писать теперь только тогда, когда мне хорошо будет. Когда же это?»

* * *

Когда же это?

Такова – последняя строчка грусти и безнадежности любовных записей моего бедного отца.

«Судьба этих глупых писем – быть сожженными», – писал он раньше. Но прошло почти семьдесят лет – и аккуратная тетрабочка, исписанная мелким его почерком, озаглавленная на первой странице «Мои бредни», лежит передо мною.

Отец ошибся: тетрадка пережила и его, и эту неприступную и недостижимую Леночку и, может быть, переживет меня, которому она досталась в наследство и во свидетельство того, что любовь не придумана сегодня, что она вечна с вечными своими спутниками: щемящей грустью, сменой очарования унынием, отчаяния надеждами, с неизменным самобичеванием, мечтою об идеальном и прозой действительности.

Отец ошибался и в другом: любовные дневники пишутся только в минуты грусти и неуверенности, а не «когда будет хорошо». Когда хорошо, когда человек счастлив и любовь его разделена – зачем тогда писать дневник? Зачем писать тайные письма той, которой уже можно все сказать и от нее все услышать?

Чем кончился его роман? Прочла ли Леночка эти не сожженные вовремя записки? Поняла ли их автора, оценила ли? Смогла ли, наконец, полюбить она, «не понимавшая романтической любви» и «не способная полюбить никого»?

Я вижу эту Леночку, с ласковым взглядом голубых глазок, нежную, кроткую, не способную на мучительство. Она смотрит на меня с миниатюрного портрета.

Эта Леночка – моя покойная мать.

* * *

Я пишу эти строки глубокой осенью, в деревне, у большого открытого окна. Умирающая зелень за окном, и весь мой домик, и моя комната, и мой стол, и рукопись – все залито щедрым золотом солнца. Я в нем купаюсь, как в расплавленном счастье, как в потоке и сиянии разделенной любви.

Я помню о двух могилах в двух далеких городах России: могилах отца и матери. Одна в Прикамье, на старом, вероятно уже заброшенном кладбище; другая близ города, у подножья которого течет река Белая. Мне никогда не увидеть больше этих разлученных могил.

Сыновним чувством, проснувшись в этот светлый день, в осенний день моей жизни, я соединяю могилы тех, кому обязан великим счастьем жизни в творчестве. Я ставлю им общий памятник, скромный, незаметный, из пирамиды моих нежнейших слов, осыпанной цветами сыновней признательности, – единственный памятник, какой могу поставить своими руками и своими скудными средствами. Чтобы и мне было где молиться и что чтить. И было бы это везде и всегда со мною.

Эти строки, пройдя через машину наборщика и свинцовую пыль типографии, прочтутся чужими людьми с любезным вниманием или с привычной рассеянностью. Истлеют страницы этой книги; уйду я; уйдет и все.

Что останется?

Останется, конечно, солнце. И останется, конечно, любовь, идеальная, романтическая, всегда немножко наивная и смешная. Она останется, каковыми бы ни стали люди в массе, каких трезвых слов ни придумали бы, какой обидной улыбкой ни награждали бы мечтателя. Всегда останутся чудаки, рыцари и поэты недостижимого, пишущие дневники о своем любовном томлении, готовые «разбить жизнь свою» за минутное невнимание и «отдать всего себя без остатка» за ласковый взгляд. После – дневники их обрываются, и тогда начинается реальное, хорошее, или дурное, или среднее, незаметное, простое.

Живя этим реальным, они хранят среди старых бумаг и любимых вещичек страницы, писанные ими в ином, нереальном мире – в мире грез об идеальной любви и недостижимом счастье. Прекрасное и неповторимое остается святыней. Листы бумаги желтеют, как желтеют лепестки белой розы, засушенной и спрятанной на память. Но аромат слов остается.

Как хрупкий, засохший цветок, я берегу этот дневник моего отца. На нем почиет святость прошлого, давшего и мне радость жизни, тоску сомнений и счастье любви разделенной.

Париж, 1927 г.

Земля

I

Заботами милого друга я получил из России небольшую шкатулку карельской березы, наполненную землей.

Я принадлежу к людям, любящим вещи, не стыдящимся чувств и не боящимся кривых усмешек. Было и давно прошло время, когда эти усмешки меня смущали. В молодости это простительно и понятно: в молодости мы хотим быть самоуверенными, разумными и жестокими – резко отвечать на обиду, владеть своим лицом, сдерживать дрожь сердечную. Но тягость лет побеждает, и строгая выдержанность чувств уже не кажется лучшим и главнейшим. Вот сейчас, таков, как я есмь, я готов и могу преклонить колени перед коробочкой с русской землей и сказать вслух, не боясь чужих ушей:

- Я тебя люблю, земля, меня родившая, и признаю тебя моей величайшей святыней.

И никакая скептическая философия, никакой умный космополитизм не заставят меня устыдиться моей чувствительности, потому что руководит мною любовь, а она не подчинена разуму и расчету.

Земля в коробке высохла и превратилась в комочки бурой пыли. Я пересыпаю ее заботливо и осторожно, чтобы не распылить зря по столу, и думаю о том, что из всех вещей человека земля всегда была самой любимой и близкой:

«Ибо прах ты - и в прах обратишься».

* * *

Ранней весной снежная пелена мокреет, покрывается хрупкой стеклянной корочкой, а из водосточных труб свисают сосульки. Потом в очень солнечный день из-под снега показывается земля: в городе – раньше, в деревне – позже. Дороги слякотны и навозны, и полозья саней сквозь грязное мороженое чиркают по камням мостовой. Дворник по лестнице забирается на крышу, мимо окна падают полные лопаты снега, а прохожий обходит дом, чтобы не попало ему за шиворот. Затем случается одна странная ночь с теплым ливнем – и наутро люди, шлепая по лужам, объявляют друг другу замечательную новость:

- Весна?
- Весна!
- Как сразу все стаяло!
- В одну ночь!

Это не очень верно, потому что весна пришла раньше и давно уже топила снег, только она была в шубе – не так заметно.

Широкой полосой от морей надвигалось на нас солнце. Зарождалось оно, тусклым и маленьким, где-то в Европах (одним словом, не у нас), а к нам, к Уральским нашим горам, приплывало огромным, теплым и ароматным. Где оно шло, светлым хвостом сметая последний снег, там просыпалась и нежилась черная и жирная земля, а проснувшись – сразу за работу.

И тогда отец говорил:

– Ну, Мышка, хочешь со мной цветы пересаживать? Мышку об этом излишне спрашивать, разве что так, шутя.

День воскресный, свободный. С утра принесли несколько ящиков черной земли, хоть и влажной, а сыпучей.

Сада у нас при доме нет, – да еще и рано высаживать цветы на вольный воздух: весна, она – коварная, может невзначай хватить морозом. Но есть у нас при квартире большая и светлая комната, в три света, где много растений, и наших, здешних, и чужих, иноземных. Наш маленький зимний сад. Есть в нем даже пальмы, есть лимон, есть несколько кактусов, есть фикус эластикус, длинный и тощий, на блестящих листьях которого очень хочется что-нибудь написать иголкой. Напишешь – так и останется, зарубцуется на всю зиму.

И отец говорит:

– Расстилай газеты.

Самая удобная газета была «Новое время», большая, много листов, одних объявлений о кухарках и горничных – две страницы. Над этой газетой отец держит на весу цветочную банку, слегка наклонивши и похлопывая по бокам ладонью. И вот сыплется на газету лежалая и затхлая земля с бледными букашками, за ней освобождаются сплетшиеся нити тонких белых корешков. Все это нужно делать осторожно. А потом берем банку побольше, на дно кладем черепок, чтобы не засаривалась дырочка, насыпаем на четверть прекрасной свежей землей – и пересаживаем с любовью и великим старанием. Отец держит растение, а я пересыпаю землей

корешки. Доверху наполнив и слегка умяв пальцами, – отставляем в сторонку и любуемся.

– Готово. Считай, Мышка: раз!

– Раз!

– Теперь давай второе.

– Два!

– Нет, подожди считать, еще не готово. Осторожнее! Подсыпай тихонько. Еще, да посмелее. Насыпай доверху. Вот так. Ну, Мышка, теперь считай: два!

– Два!

Так понемножку, от герани и флёмсов, добираемся до фикуса и даже до пальм. Когда пересадим пальму в новый деревянный бочонок, – зовем маму:

– Смотри, мама, хорошо?

– Да, хорошо.

– Надо ее поставить пониже, а то она совсем в потолок упиралась.

– Да, – говорит мама, – и поближе к окнам, чтобы было ей светлее. Сейчас солнца много.

Отец переносит пальму и поет на мотив марша из «Фауста»:

К о-окнам, да к окнам побли-и-же-е, Ро-остом, да ростом пони-и-же-е!

Ну, Мышка, теперь бей в барабан.

И я весело колочу цветочными палочками по табурету.

Такая радость с отцом пересаживать цветы в новую землю!

Руки по локоть в земле и даже на зубах хрустит. И пахнет земля весной, а на улице весна землей пахнет. Вот пройдет месяц – в деревню поедem, в Загарье на речке Егошихе.

* * *

Осторожно и любовно пересыпаю землю в коробочке карельской березы. Мы – люди от земли, крепко с нею спаяны.

Не сумею точно сказать, откуда пришли мои предки, хотя думаю – из стран варяжских. В мое время считалось неприличным заниматься предками: сословные предрассудки. Но, придя из стран варяжских, воевали они, конечно, недолго: осели на земле; одни жили близ Муромы в своих деревнях, другие спустились пониже и повернули к востоку, к степям и к монголам. Для меня же их

история начинается только с прабабки, портрет которой висел у нас в столовой, да с деда и бабушки, имена которых я соединил в своем.

Портрет прабабушки блистал не красотой, а строгостью. Старая, в чепце, губы поджаты, вся в темном глубоком фоне, а круглая рамка портрета обтянута собранным в складки черным крепом. Откуда ни взглянешь на старуху, прямо ли, сбоку ли, – она смотрит в глаза пристально-сурово и осуждающе.

И такая вышла странная история. Висел этот портрет еще в доме моей бабушки, в ее уфимском именье. И висел так, что его было видно через две комнаты – посередке стены. И вот однажды бабушка (моя сидит как раз за две комнаты от портрета и чувствует – беспокойно ей. Словно бы кто-то стоит за спиной, – а быть там некому. Наконец не выдержала, обернулась и увидала ясно, что портрет покойницы подманивает ее глазами, чтобы шла поскорее. Бабушка встала, положила моток цветной шерсти на пяльцы и пошла через комнаты прямо к портрету. И только вышла из своей комнаты – как в ней обвалился потолок, и пяльцы в щепы. Так портрет выманил ее и спас.

Вот как бывало в старые годы. Нынче так уже не бывает. Сколько раз – помню – разверзалась под моими ногами земля и сколько раз на голову рушилось небо, – и никто не пришел спасать. Когда мы порываем связь с землей и со всем нашим прошлым, – гибнут вместе с ним и легенды, а нам остается лишь отголосок старой песенки да вчера прочитанный приключенческий роман.

Прабабушкин портрет и у нас висел посередке стены, так, что смотрел он прямо на двери соседней комнаты. И частенько бывало – глядишь на него издали, и жуть берет: а вдруг он поманит глазами, и если сейчас же не подойдешь к нему, то обрушится потолок. Особенно жутко было под вечер, в сумерки; днем же ничего – днем прабабушка была поласковее, старенькая, усталая. Иной раз прямо на нос ей садилась муха и чистила лапками крылья.

А вот бабушку свою я знал живой, незадолго до ее смерти. Когда мы с отцом приехали в Уфу, где он много лет не был, мне шел тринадцатый год. Бабушка жила в своем старом городском доме, деревянном, уютном, заставленном ветхой мебелью. Когда шли обедать, я вел ее под руку в столовую, и были мы с ней одного роста, потому что от тягости больших лет бабушка стала совсем низенькой. А с ней жила такая же маленькая и сгорбленная

старушка из бывших крепостных, нянчившая моего отца и всех его сестер и братьев.

Сейчас, после бури, пронесшейся над нашей страной, вряд ли можно найти сохранившийся чудом уютный уголок, где так пахнет сухими травами и прошлым. В комнатах бабушки каждая вещь и каждая вещичка имели почтенный возраст и свою несложную бытовую историю. Были, например, стулья и кресла крепкие и были послабее, а одно кресло стояло в углу, и на него садиться не следовало, потому что оно было хромым. И про каждый стул бабушка знала, почему он ослабел, в чем его болезнь и что с ним когда приключилось. На то кресло, что стояло в углу, сел однажды толстенный человек, бабушкин знакомый, и ножка подломилась, да так и осталась без починки, только была подвязана веревочкой; прошли месяцы, потом года, и кресло-инвалид вошло в бабушкину жизнь со своим хроническим недугом, так что теперь его чинить было уже нельзя, нехорошо, как нехорошо старому человеку молодиться и притворяться подростком. Каждая царапинка на мебели и каждое еле заметное пятнышко на старой ковровой скатерти были бабушке известны, и с появлением их связано было в памяти ее какое-нибудь событие, для нас пустое, а для бабушки значительное. Таким образом, все, что бабушку окружало, было как бы живым календарем ее жизни, записью прожитых лет. И сама она была живой хронологией; никогда не говорила: «Это было в таком-то году», а неизменно поясняла: «Это еще когда у Нагаткиных случился пожар», или: «...когда Андрюша женился». Тягость дней и великую силу времени бабушка знала хорошо и ясно выражала. У нее был альбомчик стихов, который она любила показывать, особенно одну страничку с изображением голубка и дерзким стихотворением:

Ах, право, хуже оплеухи.
Как, не видавшись тридцать лет,
Найдешь в развалинах старухи
Любви восторженной предмет.
Ах, Маша, в прежние годочки
С тобой встречались мы не так;
Тогда ты нюхала цветочки –
Теперь ты нюхаешь табак.

И бабушка прибавляла:

– Вот уж верно-то!

Еще показывала она портрет своего дорогого покойника, не тот, что висел на стене, написанной местным художником и вставленный в золотую рамку, а другой, маленький, нарисованный карандашом и заклеенный сверху прозрачной бумагой, чтобы не стерся. Это был портрет моего деда. Большелобый, с фамильным нашим носом, он изображен сидящим в кресле, а во рту чубук огромнейшей трубки. На голове деда шапочка вроде ермолки, а на лице довольство и покой. Я так его и представлял: хорошее летнее утро, дед сидит на террасе или у окна усадьбы и смотрит, как под окном девка Малашка тащит молоко утреннего удоя. После, читая Тургенева, а особенно Аксакова, нашего родственника, я мысленно иллюстрировал их писания карандашным портретом деда. А рядом с ним я видел бабушку, только не такой старенькой и согбенной годами, а много моложе, вроде моей матери, и непременно в белом платье и с высокой прической. Мне, жившему всегда в провинциальном городе, помещичья жизнь была знакома только по литературе. И, конечно, мне было совсем чуждо то чувство гордости, которое слышалось в словах бабушки:

– Ты помни, что мы не какие-нибудь, а столбовые. Дворян много, а столбовые все на счету, записаны в одну книгу.

Мне эти «столбовые» представлялись высокими, белыми, вытянутыми, шагающими на несогнутых ногах. Но даже если бы я попробовал окружить их в своем представлении некоторым ореолом, – литература, которую я жадно поглощал в гимназии, скоро выветрила бы из меня такое о них представление. Бабушка напрасно старалась внушить мне уважение к мне неведомым предкам.

В первый же день приезда нашего она мне говорила:

– Проси отца свозить тебя в имение посмотреть нашу землю. Земли-то теперь мало осталось, все разделено да распродано, а все же взглянуть тебе нужно, потому что от этой земли ты и произошел. Может быть, когда вырастешь большой, на землю вернешься и станешь хозяином; надо за последний кусочек держаться крепко.

Земли этой я так и не повидал, потому что отец мой вскоре по приезде в родной город внезапно заболел и умер.

Рано умер мой отец, рано и напрасно. Хорошо уйти, когда стала земля в тягость и манит отдыхом. Но он был еще молод и любил землю по-иному: не за покой, а за жизненную ее силу. Я его спрашивал:

– Папа, откуда берется дерево?

– Из семени.

– Так ведь семя маленькое, а дерево вон какое; остальное-то откуда?

– Остальное из земли, из ее соков.

– И листья, и ствол, и все?

– Все, Мышка, из земли. И дерево, и ты, и я. Все живое и все мертвое, если только есть что-нибудь мертвое. А вот пойдем-ка лучше копать родник под горой.

В деревне мы жили на холмике, а по ту сторону за речушкой был лес, взбегавший в гору и уходивший в такую даль, что поместились бы на его пространстве в дружном и свободном сожитии, ни из-за чего не споря и не воюя, Франция и Германия. По опушке этого леса мы часто бродили, и любимое занятие отца было открывать новые родники светлой и холодной воды. Одно место он облюбовал на склоне горы между лесом и деревней: там была густая трава, и кустарник, свежий и пышный, окружил крохотную покатую полянку: тут непременно быть скрытому роднику!

И вот отец берет заступ, а я малую лопату, и потихоньку ускользаем из дому, а то мама скажет: «Опять перепачкаетесь и Мышка ноги промочит. Что за страсть копать в лесу землю, точно клад ищете!»

Отец на пути говорит:

– А ведь это клад и есть. Не было воды, и вдруг – вода! И какая вода – чистая и холодная как лед. Правда, Мышка?

Уж, значит, правда, если это папа говорит. У него была улыбка добрая и немного насмешливая.

Пробирались в кольцо кустарника, и отец внимательно осматривал почву:

– Быть тут ключу живой воды!

Земля мягкая, как сыр; только корни трав прорезать. Городским башмаком налегает отец на заступ, а я смотрю. Как это он все знает: только вырыл яму в аршин глубины, ровненькую и аккуратную, как сразу же начала ямка наполняться водой, правда

грязной. Но эта сбежит – дальше будет чистая. От ямки отец прокапывает канавку по скату холма, и тут начинается работа для меня: убрать землю подальше, перемазаться и промочить ноги. Все удивительно удачно.

– Папа, а как ты угадал?

– Видишь: внизу есть болотце. Откуда ему быть? Значит, в горке скрытый ключ. Вот мы до него и докопались.

– Нужно будет укрепить землю, – говорю деловито.

Дело это мне известно. Чтобы новый родник не затянуло землей, мы укрепляем землю в ямке кольями, переплетаем ветками, а потом принесем и поставим желобок для стока.

Теперь к этому ключу будут ходить крестьяне с ведрами, потому что вода в речке невкусная и белье в ней стирают. А наш ключ светел, вода процежена через землю, холодна и сладка. Уже на другой день не останется в ней никакой мути.

Так открывали клады. А то бродили по лесу и любовались всем, что породила земля: и деревом, и травой, и ягодой, и грибом, и всякой букашкой. Я был малым мальчишкой, а отец мой был судьей, но были мы равны в наслаждение родной природой.

* * *

Между берегом реки Белой, где были пристани, и городом на середине пути было, а может быть, и сейчас цело, большое кладбище; земля на нем немного глинистая. Первый комочек земли велели бросить мне, и помню, как он стукнул о крышку отцовского гроба. Потом бросали все родные и еще какие-то старые и молодые люди, которых я раньше не видал. Один из них, совсем седой, но крепкий, высокий и строгий, подошел ко мне, мальчику, подал мне руку, пристально посмотрел на меня и сказал:

- Похож ты на батюшку своего, на покойника; это хорошо. Будь и ты таким, как он. Хоть и постарше его, а был я ему в старое время большим приятелем и даже, могу сказать, другом. Не чаял пережить, а вот довелось увидеть, как приняла его земля, наша общая кормилица. Тут где-нибудь рядом и мне лежать.

Кто он был – не знаю, а слова его помню; особенно про сходство мое с отцом и про землю, общую кормилицу.

Любовь к земле, страстная к ней тяга, я бы даже сказал, мистическое ей поклонение, – не к земле-собственности, а к земле-матери – к ее дыханию, к прорастающему в ней зерну, к великим

тайнам в ней зачатия и к ней возврата, к власти ее над нашими душами, к сладости с ней соприкосновения, – это действительно осталось во мне на всю жизнь. Если это атавизм, нечаянное наследие сидевших на земле предков, – то да здравствует атавизм, потому что более священного и возвышающего чувства я не знаю; даже чувство самой крепкой любви к женщине есть, по-моему, производное от преклонения перед притягающей и плодотворной силой земли. Но не портретами и не Бархатной книгой внушается такая любовь. Она входит в человека незаметно, чаруя его видом первой весенней проталины, заражая радостью проснувшегося к новой жизни поля, изумляя пышностью и многоцветностью земных покровов, беспрерывно твердя ему, что все человеческие достижения – не победа над природой, а лишь неуклюжее и очень жалкое подражание ее творчеству, потому что комар бесконечно совершеннее самолета, рыба – подводной лодки, а строительный гений пчелы, муравья, любой семейственной букашки – в человеческой среде равного себе не имеет. И все это только потому, что никто из этих существ не считает себя господином земли и победителем природы, не стремится наивно властвовать над своей матерью и своей первопричиной, не изменяет любви ради мелкого тщеславия.

Но, быть может, больше всего я люблю землю за то, что я вижу в ней олицетворенным понятие вечности; в ней прошлое слито воедино с будущим, мое прошлое с моим будущим. Чудесным и никому не ведомым образом она вызвала к жизни мое маленькое существование, позволила мне проползти по ней от вечности к вечности, от небытия к бытию, – и так же чудесно и необъяснимо призовет меня обратно:

«Ибо прах ты – и в прах обратишься».

II

Признак чего – если мысль, свершив назначенный ей круг исканий, уверенностей и сомнений, приводит человека к чувствительным воспоминаниям о детских годах и к образам, окутанным дымкой давно прошедшего? Может быть – признак вплотную подошедшей старости? Жажда подвести итоги? Желание предстать с готовым отчетом?

Не думаю. Жизнь не в цифрах, и ничья рука за отчетом не протянется. Тут иное: неизбежная переоценка и того, что казалось

незначительным, и того, чему придавалась непомерная важность. Пустяком представлялась детская книжка, маленькое открытие, голос матери, отцовская шутка; и мучительно сложной казалась житейская борьба за достоинство и независимость человеческой мысли, за разумность общественных отношений и справедливость дележа духовных и житейских благ. Но идут года – и на ковanej бронзе убеждений отлагается зелень мудрости, та самая, которую не умеют подделывать фабриканты предметов старины. И вот опять – как в детстве – личное выступает вперед, заслоняя вопросы, над которыми мы так долго и так напрасно работали.

Склонившись над коробочкой из карельской березы, над этой урной земли московской, я перебираю в памяти, как долго, упрямо и досадливо я старался заменить для себя эту горсточку серой пыли – всем земным шаром и какая неудача постигла наивную попытку.

Песчинки земли, которые я пересыпаю спокойной рукой, нечаянно обращаются в многоцветный бисер и загораются светом. Это уже не тонкая струйка, а искрометный водопад. Потом мне начинает казаться, что перед моими глазами дрожит, и колеблется, и мелькает цветными просветами золотая сетка. Она дразнит глаз причудой рисунков, странным переплетом картин и событий, когда-то поразивших меня и теперь перемешавшихся в памяти мозаичной неразберихой. Мне хочется остановить это непрерывное мельканье, выхватить из волшебного букета несколько самых простеньких цветков и удержать их невредимыми, когда краски опять поблекнут и слинянут. Я напрягаю зрение, протягиваю руку – и всей горстью хватаю пустоту; только вглядевшись спокойнее, я вижу, что между пальцами моей руки застряла одна-единственная серенькая песчинка.

Я долго берегу ее, перекаत्याваю на ладони и ищу то маленькое слово, которое могло бы развязать клубок моей мысли и стать началом простого рассказа.

* * *

В учебниках географии Янчевского и истории Иловайского многожды названо имя Рима. Но Рим был для нас лишь красивым звуком, а красивых звуков было вообще немало. Звуками, исполненными смысла и действительного значения, были такие имена, как Казань, Екатеринбург, в более далеких мечтах – Петербург и Москва.

Совсем же близким именем кроме имени родного города было Загарье, маленькая лесная деревушка, куда мы всей семьей переселялись на летние месяцы.

Мы жили там на чистой половине крестьянской избы, сложенной из еловых бревен, проконопаченных паклей. За стеной мычала и жевала корова, а в пакле жило много тысяч клопов. Иных дач и курортов в нашей провинции по тому времени еще не было. Зато тут было бесконечно много земляники, малины, смородины, брусники, грибов, и воздух был хвоен.

Этот одноэтажный бревенчатый замок, качаясь в воздухе, всплывает в моей памяти над мрамором и сединой настоящего Рима, в котором я позже жил в высоком доме окнами на Ватикан. А речонка Егошиха, через которую я мальчиком перепрыгивал, а отец мой спокойно перешагивал, смеется над Рейном, Дунаем и морями, омывающими берега Европы.

Нам, меняющим страну на страну, земной шар уже не кажется огромным. Без труда мы соединяем земли с землями мысленной чертой через океан. Мы привыкли к смене языков, неточно совпадающей с границами, и к повторяемости людских обычаев в разных климатах и под разными широтами. Тем из нас, кто, как я, вынужден был блуждать по чужим землям два срока, и до и после войны, за количество убитых названной великой, – хорошо знакома и разница отношений к нам, гражданам шестой части земной поверхности: от корыстного обожания – до небрежной заносчивости. Но бывалого не удивишь: он умеет ждать.

И вот я вспоминаю, как я пытался – и не без успеха – подменить свое потерянное, простое и невзрачное, роскошью найденного чужого. Я учился улавливать в старых плитах травертина блеск скрытого в нем золота, чувствовать дыхание вечности в жизни современного Рима, ценить европейскую культуру, к которой была приобщена и Россия, любоваться красотами чужих озер и гор, уважать энергию немцев, оригинальность англичан, легкость общения французов, порывистость южан, нравственную стойкость северных народов.

Было совершенно необходимо перенести неистраченное чувство жизнепривязности и молодого восторга со своего на несвое, усыновив себя остальным пяти шестым земли.

Перед статуей Аполлона Печального я говорил:

– Вот рождение искусства!

И, указывая на скаты Юнг-Фрау:

– Вот женственнейшая белизна снегов!

И, переплыв Кале:

– Вот колыбель и оплот политической свободы!

И, спускаясь с горы Ловчен или проезжая по фьордам Норвегии:

– Вот красивейшее в природе!

Верил сам и уверял других.

Они вздыхали, лепетали о «чудной сказке» и возвращались в свои губернии и уезды, куда мне доступа не было.

Они уезжали, – а я оставался наслаждаться чужими красотами.

В дни, о которых я сейчас вспоминаю, русские еще не считались париями и носителями заразы, и иностранцы, позже ставшие нашими военными союзниками, еще не выработали в себе деятельного презрения к народу, заплатившему миллионами жизней за их прекрасные глаза. В те дни никто не препятствовал мне бродить в городах Италии, купаться в швейцарских озерах и лежать на траве в английском парке.

В парке была совсем особенная, не зеленая, а голубая трава. Ее можно было топтать ногами, – и она невредимо подымалась и оживала. Надписи «Воспрещается» не было, так как она была бы излишня. Я спросил сторожа парка:

– Как удастся вырастить такую удивительную траву? Вероятно, это требует длительного ухода?

Сторож оглядел меня с ног до головы. На мне был костюм из английской материи, так что складка на брюках не портилась от лежания на траве. Воротник был свеж, волосы коротко острижены, подбородок брит. Поэтому сторож счел возможным солидно ответить:

– Лет пятьдесят хорошего ухода вполне достаточны, если стричь траву аккуратно.

Это было, по меньшей мере, горделиво. И я вспомнил свою прогулку по Восточной Ривьере Италии, где как-то зашел в кабачок отдохнуть и выпить вина. Против кабачка, через дорогу, был скалистый участок, подымавшийся террасами. По лестнице, выбитой в скалах, пожилой итальянец таскал землю, очевидно накопанную внизу, близ ручья. Принеся мешок земли, он вытряхивал его на почти голый камень, обтирал пот тем же мешком

и шел обратно за следующей порцией земли. Это он делал огород. Я подумал:

– Нужно очень любить землю, чтобы обречь себя на такой каторжный труд!

Год спустя я опять проходил по тем же местам. Огород был готов. На нем росла та чахлая и дрянная зелень, которую итальянцы и французы называют и считают капустой, которая не окучивается и почти не дает кочна. У нас такую капусту считают неуродившейся и скармливают скоту или оставляют для пользования зайцам. Хозяин огорода сидел на корточках площадкой повыше и перетирал руками комья земли, выбрасывая камешки.

И вдруг мне представилась такая картина.

Я стою среди поля где-нибудь в Тульской губернии, опершись на трость. Что-то отвлекает меня, и я ухожу, забыв тросточку воткнутой в землю. Идут благодатные дожди, земля дышит жизнью, и моя забытая трость с набалдашником покрывается листьями, бутонами и цветами. Теперь уже нельзя вырвать ее из земли, потому что она пустила глубокие корни.

Таким нелепым видением я отвечаю горделивости англичанина и трудолюбию итальянца.

И вообще я замечаю, что во мне растет непонятный протест против чужих благополучий и красот. Нотр Дам де Пари не кажется мне домом молитвы, таким, как сельская церковь на пригорке моей родины. В Швейцарии отвратительны кричащие вывески гостиниц и торговых домов на каждом живописном камне. Я мысленно еду по Луньевской ветке на Урале – и никто меня там никуда не заманивает, никто не кичится красотами природы, которых Швейцария лишь бледная тень. Во мне подымается какая-то невольная, я знаю – совсем несправедливая брезгливость к узкой дороге над пропастями, ведущей в Черногории от Скутарийского озера к Цетинье. В свое время я восторгался грозowymi тучами, выше которых я ехал на лошади в столицу этого исчезнувшего теперь государства. Теперь мне смешно сравнивать тамошние виды с картинами Кавказа. И я завистливо стараюсь припомнить, чем можем мы ответить Норвегии, фьорды которой приводили меня в восторг, ее удивительным озерам цвета жидкой стали, ее могучей природе? Шестисотверстным Байкалом? Разливом сибирских рек, устье которых шире маленького государства? Хребтом Чарского в

Якутии, о котором еще не слышали европейцы? О, слишком многим!

Но вправе ли я вступать в неравный бой со сторожем английского парка и итальянским огородником, которые попросту скажут мне:

– Вам нравится больше свое? Тогда почему же вы не дома, не в тайге, не в степях, не на Урале, не на Байкале, не у дверей своей сельской церковки?

И мне нечего им ответить.

Я бы мог, конечно, длинно и нудно рассказать им, как в свое время мы увлекались английской избирательной системой и биографией Гарибальди и что из этого вышло. Мог рассказать про моего друга детства, с которым мы играли в бабки и городки, зубрили латинские стихи, затем слушали курс политической экономии, прятали в карман запрещенные книжонки и обедали в студенческой столовке за соседними столами. Как затем этот приятель мой стал властью и сказал мне:

– Мы разное смотрим на способы создания безоблачного счастья для будущих поколений. Поэтому я останусь здесь воспитывать и управлять, а ты должен покинуть пределы нашего общего отечества.

Он мог сказать это гораздо грубее, но я не хочу спорить из-за слов. Злобы во мне нет, я только полон удивления. Мне кажется невозможным, что человек, такой же, как я, или, пускай, много меня лучший, мог лишиться радости жить там, где я жить должен, где все мне дорого: на земле моего рожденья. Мне это кажется даже не жестокостью, а бьющей в глаза бессмыслицей. А между тем это случилось дважды за четверть века. И одинаковые слова были сказаны совершенно различными, враждебными друг другу людьми. В мыслях и поступках их объединяла ослепляющая рассудок сила, которую называют авторитетом власти.

И оба раза, за чертой для меня предельной, мне открылись для свободной и независимой жизни пять шестых земного шара: достаточная замена отныне запрещенной для жительства жалкой деревушки на речке Егошихе.

Но согласитесь, что таких объяснений иностранец не примет и не поймет.

На острове Мурано близ Венеции сторож храма показывал мне во внутреннем куполе мозаичную Мадонну византийского стиля:

– Эта Мадонна, синьор, лучшая во всей Италии и, следовательно, во всем мире.

Мадонна действительно прекрасна. Я спросил:

– А вы видали других?

– Если бы не видал – не смел бы говорить.

И он мне рассказал, как однажды кучка англичан осматривала храмы и толковала, что эта Мадонна хороша, а в иных местах найдутся и получше. Сторож, влюбленный в свою Мадонну, возревновал. Он стал подкапывать деньги, а когда пристроил всех своих детей, решил отправиться в путешествие. Разузнав заранее, где его Мадонна имеет соперниц, он объехал все эти места и своими глазами убедился, что лучше его муранской Мадонны, красивее ее и божественнее нет Мадонны – и быть не должно. Тогда он вернулся в Мурано доживать свои дни сторожем при ее храме. Может быть, он жив и по сей час.

Слушая его рассказ, я думал: «Между нами только та разница, что он вернулся, а я вернуться не могу, хотя моя Мадонна прекраснее всех существующих и мыслимых».

Это было накануне мировой войны, сделавшей невозможное возможным. Через десяток границ, кругом Европы, я вернулся.

Муранская Мадонна, полная прелести и печального покоя, сияет под куполом храма. Моя Мадонна переживала в то время канун тяжких испытаний.

Я рассматривал ее с жадностью проснувшегося для огромной любви. Северные леса, от Финляндии до Печоры, были ее зелеными кудрями; падавшими складками ее одежд были Кама и Волга; ее сердцем была Москва. Только теперь, нагнав чужие красоты, я мог вполне оценить ее несравненность. Но это была не ласковая материнская красота Мадонны острова Мурано, а Мадонна страстная и страждущая, Мадонна Доленте, святая грешница, ждавшая сына. Я присутствовал и при ее хождении по мукам, – и боль, исказившая ее лик, была моей болью. И все-таки образ ее оставался для меня прекрасным и неповторимым. Как тот сторож муранского храма, я решил не расставаться с нею до конца дней, – но силой был отброшен далеко и, вероятно, навсегда.

Таков рассказ о большой любви. Тем, кто ее не испытал, он должен казаться наивным и слишком чувствительным. Впрочем, таков он и есть.

* * *

Вот я округляю фразы и подыскиваю образы покрасивее, потому что в такой условной форме легче выразить мысль не только для других, но и для себя самого; такова сила привычки.

Но все эти образы – лишь напрасный налет на невыразимом словами чувстве тяги к земле. Я пишу в тени молодых увядающих вязов, пострадавших от жары; земля здесь глинистая, засоренная камнем, искусственно осушенная, и корни Деревьев не находят достаточно питательной влаги, листья сохнут и желтеют раньше поры. Бумага, на которой пишу, рождена от земли, золотое перо-стило найдено в ее недрах, чернила – ее продукт. Передо мною домик, сложенный из камня и дерева, и каждый предмет внутри и снаружи, и сам я, и моя мысль, и все... отец был прав, говоря:

– Всё из земли, Мышка, и живое и мертвое, если есть что-нибудь мертвое.

Когда я пытаюсь встать, на мои плечи ложатся уверенные руки, пригибают меня обратно к земле. Нужно усилие, чтобы приподняться. И при каждом шаге нога как бы срастается с землею, неохотно от нее отделяется. С годами это ощущение все сильнее. Это называется утомлением, но в действительности – растущая тяга к земле и в землю.

Порыв ветра уносит с вязов пожелтевшие листья за изгородь маленького участка земли, который я снимаю для летнего отдыха; но большинство палых листьев остается лежать под деревом. Судьба оставшихся и судьба унесенных, в сущности, одинакова; к будущей весне не останется их следа, потому что мы не умеем разглядеть в цветке настурции частички перегнившего за зиму совсем неродственного ей растения. Лист, унесенный ветром в чужой участок, также призван стать основой какой-нибудь сейчас ему чуждой жизни.

Судьба человека – как старинный курган. В наших краях и было много по течению больших рек. В них вместе с телом клали любимые и нужнейшие вещи человека: одежду, сосуды из глины и металлов, монеты, зерна злаков, оружие. Старый московский

профессор показывал нам в музее витрину, где лежали эти вещи, добытые из курганов, и говорил:

– Вот в той коробочке обгоревшие и потому сохранившиеся зерна ржи; лучшее доказательство того, что наши предки, скифы, занимались земледелием еще в доисторические для нас времена.

Мы, студенты, по очереди склонялись над стеклом и смотрели на обуглившиеся крупинки. Но в то время из урока истории мы мало почерпали для философии жизни; мы были очень молоды. В той же витрине лежали кости, вынутые из кургана, каменное оружие, посуда, все то, что еще не успело обратиться в землю и было так напрасно потревожено во имя науки. Мы в науку очень верили.

В жизни мы окружали себя вещами, лишь им придавая значение. Ведь все, что мы делаем, ради чего вступаем в отчаянную борьбу сами с собой и друг с другом, все-таки – вещи: металл, дерево, живая ткань, все то, что станет достоянием нашего кургана и с веками обратится в землю.

Мы об этом редко думаем – да и стоит ли понапрасну себя тревожить?

Но ощущение будущей судьбы всего живого забегают вперед мысли. Не потому ли с такой любовью и в предчувствии вечного покоя я пересыпаю рукой песчинки московской земли в коробочке карельской березы, вспоминая детские годы, и предков ближних и дальних, и поиски лесного родника, и домик бабушки, и скифский курган, и Рим, напрасно названный вечным, – чтобы снова вернуться мыслью к единой вечной вещи – к земле:

«Ибо прах ты – и в прах обратишься».

1929 г.

Кузины

I

Из письма, пришедшего из невероятной дали, опоясавшего полземли, прежде всего выпала пожелтевшая фотографическая карточка молодого человека с очень знакомыми чертами лица и с отличной копной шелковистых волос. В шестидесятых годах носили длинный сюртук при светлых штанах в мелкую клетку, а

жилет кончался на талии, На обороте карточки помечено «1863». Молодому человеку на вид лет тридцать, значит, он родился приблизительно сто лет тому назад. Несмотря на устрашающую дату, я тотчас догадался, что это – мой отец. Письмо подписано неизвестной мне фамилией, но и это разъяснилось: я просто не знал мужней фамилии двоюродной сестры, с которой не видался и не переписывался ровно сорок лет. За это время в мире и наших личных жизнях кое-что произошло.

Вслед за тем из уголков памяти начали выплывать старомодные тени, притворяющиеся молодыми: целая плеяда девиц, и хорошеньких и некрасивых, под общим названием «кузины»; за молодежью – несколько пожилых лиц, за ними две очень ветхие старушки. Потом я увидел столь же ветхий дом, другой посвежее, глубоко-провинциальный город на большой реке, – и еще другую реку, поменьше, но быструю и удивительно красивую. Какой-то молодой пианист играет собственные композиции; потом кузины поют хором, а я, стараюсь подтягивать. Ночь у костра на берегу реки. Кладбище. Сам я – в летней гимназической блузе, подпоясанной кушаком, а волосы вихрятся – как на карточке, которая давно утеряна, но в памяти осталась.

Река – Белая; поменьше – Дёма; город – Уфа; время – рубеж восьмидесятых и девяностых годов. Нет гравюрной отчетливости, скорее – прозрачные акварели. Вероятно, многое стерлось и спуталось в памяти, остались не факты, а впечатления. Конечно, они мне очень дороги.

Но начать нужно с другой реки, полноводной и немного мрачной. По ней сверху бежит пароход, и нелегко увести меня с палубы в рубку обедать. Впрочем, и отец наслаждается воздухом и речным простором: выветривает из себя пыль канцелярий и судебных зал. Мы по рождению степняки, лесники и рыболовы – все сразу; вообще – люди земли, а не комнат; люди снега и высоких берегов. После первой книжки, «Робинзон в русском лесу»¹, моей второй любимой и затрепанной были «Детские годы Багрова-внука» и того же автора «Записки об уженье рыбы». А в его же «Семейной хронике»², к девяти годам также прочитанной, отец

¹ Имеется в виду кн.: Качулова О. Робинзон в русском лесу: Рассказ для детей. Спб., 1881, которая неоднократно переиздавалась. М.А. Осоргин вспоминает о ней и во "Временах", и в "Повести о сестре".

² С писателем С.Т. Аксаковым М.А. Осоргин находился в дальнем родстве.

пояснял мне каждую страницу, а про имена говорил: «вот этого я знал, а эти были нашими соседями». А главное, говорил: «На Дёме мы с тобой побываем и рыбку половим!» – и тогда Кама казалась мне уже не самым важным, а самое важное впереди.

В Пьяном Бору пересели на маленький и плоскодонный пароходик, но и он застрял было на перекате. Пришлось пассажирам версты полторы идти по берегу, где были такие буки и вязы, каких я, привыкший к лесу хвойному, никогда не видывал: раздвину руки, обниму ствол в три-пять приемов и кричу отцу: «Папа, пять больших обхватов!» – А он: «И побольше увидим!» Сам он будто бы спокоен и равнодушен, а в действительности радостен и горд за лес, за реку и за нас обоих, потому что все ближе к Уфе, а Уфа – его родина.

Но, конечно, я не ожидал, что бабушки бывают такими маленькими, почти одного со мной роста! Когда звали в столовую обедать, я вел бабушку под руку – и мы были отличной парой. Я считал, что бабушке лет сто, но немного ошибался. Спина ее выгнулась в дугу, а с креслом она совсем сливалась. Все, что было в ее доме, было низеньким, круглым и пухлым. В комнатах было темновато и очень тесно от мебели. А больше ничего и не помню в этот первый приезд в Уфу. Однако множество кузин было уже и тогда – только разбирался я в них еще туго и был им совсем неинтересен. И побыли мы, кажется, недолго.

А вот года три спустя, при вторичной поездке, я считал себя уже опытным путешественником, – к тому же я успел перейти в четвертый класс, так что какой же я мальчик, самое меньшее – юноша! Теперь не отец вез меня, а я вез отца, тем более что он очень постарел и ослабел после тяжелой болезни. В Пьяном Бору, при пересадке на бельский пароход, пришлось долго ждать на пристани, почти сутки: я успел набегаться, даже побывал в лесу, на самой круче, откуда виден целый прекрасный мир. С пристани опускал в воду нитку с простым булабочным крючком – и рыбы бросались такой толпой на крупную муху, что, мне казалось, выставляли головы из воды. По жестокости малого возраста, я их вытаскивал, а потом отпускал на волю. Отец, наверное, пожурил бы меня за это, но он был сейчас ко всему безучастен; в дороге простудился и об одном мечтал – скорее бы доехать! Пошел дождь – стало сыро. Насилу дождались парохода, и матрос, перетащив наши вещи, помог мне отвести отца в каюту.

Опять ехали по Белой – а в это время цветет сирень. Люди садов, оранжерей и букетов знают запах цветов, но еще не знают, что воздух может быть пропитан им от земли до облаков на сотни верст. Многого не знают люди города. Отцу стало получше, он выходил на палубу, смотрел на берега и говорил: «Непременно поскорее съездим в наше именье; вот увидишь!» В первый приезд мы не собрались, – да, кажется, и смотреть там было нечего; в этот ему захотелось. Накануне рокового дня тянет человека к своей земле.

Может быть, и бабушку тянуло – теперь ее уже не было. И не было старого городского дома; кажется, он сгорел после ее смерти. Остановились мы у сестры отца, на улице, поразившей меня названием: Старо-Жандармская! Отец был либералом и юристом, и слово «жандарм» у нас в доме считалось неприличным.

Ни в какое именье поехать не удалось: отец опять слег. «Своей» земли я так никогда и не видал, она скоро была продана; а «своих» бывших крепостных видел. Видел, во-первых, суетливую старушку-няню, которая жила в семье другой тетки, ведала хозяйством и на всех ласково ворчала. И еще приехал из деревни старый повар невероятных лет и свертел нам мороженое. Меня он поцеловал в плечо – и я был так изумлен, что не знал, что мне делать. В наших краях, в Приуралье, не бывало ни помещиков, ни крепостных, так что и следов прежних отношений не могло сохраниться. В доме же нашем, хотя и чиновничьем, считалось праздником 19-ое февраля, конечно потому, что отец в молодости много работал над проведением крестьянской реформы и судебных уставов. И потому мне в двенадцать лет крепостничество казалось древнейшей историей, от которой остались два креста в футляре, лежавшие в левом ящике отцовского письменного стола. Чудно было теперь видеть живых ископаемых! Мне велели подать повару руку и поцеловать его. Он пробыл день и уехал – только посмотреть на нас и приезжал.

Вообще же я с увлечением читал Надсона, книжку которого нашел в домашней библиотеке. Мне одинаково нравились его стихи «Глухо стонет вьюга, стонет и рыдает» и шуточное «Пр-чтя только что твое посланье, я пр-ник в значенье беглых строк» или «И по ним гуляют дрофы, чутко уши настр-жа». Впрочем, в то время не было книги, к которой немедленно не прилипали бы мои глаза. С книгой я уходил в сад, появляясь к обеду и ужину. Не

понимаю, как случилось, что я не догадывался о тяжелом положении отца. Он лежал недели две, тут же дома его оперировали, и однажды кузина Тоня позвала меня:

– Миша, ты пошел бы к папе!

Я пошел, сел у постели и продолжал читать Надсона, который меня трогал своей чувствительностью почти до слез. И опять кузина шепнула мне: «Посмотри на папу!» Я посмотрел – и встретился с его глазами, обращенными ко мне. Говорить он не мог, только смотрел, то на меня, то на родных, окруживших постель. Больше я уже не отрывался от его лица. А когда на лице появилось синее пятно и глаза полузакрылись, я протянул к ним руку, не знаю зачем: чтобы их открыть, или чтобы закрыть. И тогда меня увели. Кругом плакали, а я замер в первой встрече со смертью. И двух дней до похорон я не помню. Только слабо помню, как я проснулся на рассвете, открыл глаза и увидел рядом отца в его большой постели – как обычно. Но едва я привстал, – постель исчезла. Мне было очень страшно.

На похоронах было много народу, но мне запомнился только один очень старый и почтенный человек, который подошел ко мне, вежливо раскланялся и подал руку. Так с мальчиками не кланяются, – ведь я не знал, что люди старого воспитания одинаково изысканно-вежливы и с взрослыми и с детьми. Мне сказали, что это старый друг отца, сам бездетный и очень богатый, и что он будет просить мою мать меня усыновить и сделать своим наследником. Его фамилия была мне знакома по «Семейной хронике» – как еще несколько фамилий, которые и теперь назывались. Но я не понял, как можно стать чьим-то сыном, когда умер отец?

Не поняла этого и моя мать, которая приехала лишь на другой день после похорон – ее задержали три дня пути. О смерти отца она еще не знала. Мы выехали ей навстречу и, опоздав к пароходу, повстречались с ней на тогда еще не застроенной дороге, близ самого кладбища. Мы сошли с извозчиков – и мать всё поняла по нашим лицам. Нельзя рассказывать, как это было. Вместо дома мы, оставив экипажи, прошли на кладбище на могилу отца, покрытую венками.

II

Мать оставила меня на лето в Уфе; к осени вернусь один, что тоже замечательно и указывает на признание моей самостоятельности.

Горе в юности проходит быстро; к тому же тысяча кузин окружила меня заботами. Действительно, их было так много, что я путался в именах. Может быть, и не все были кузинами, а часть только их подругами. Во всяком случае, среди них были Маня, Манечка и Маруся, причем Маня очень обижалась, если ее называли Машеч: так и поступали, когда хотели над ней подшутить. У Мани прекрасные волосы, и она их не стригла; но Женя, например, была уже стриженной, так как была студенткой-медичкой, т.е., по-тогдашнему, нигилисткой. Хотя я не уверен, что все кузины и их приятели и приятельницы были нигилистами, но кто-то мне об этом сказал; и в своем представлении я тогда же отметил, что нигилисты – молодые, весёлые и очень приветливые люди, любители хорового пения, катания на лодках и дружеской болтовни. Так как я был значительно моложе всех, попросту – мальчишкой, то имел надобность в покровительстве. Покровительниц я нашел несколько, держаться же старался ближе к Мане, в которую влюбился.

Делаю в памяти огромный скачок вперед, – в тридцать лет. Москва 1921 года, жизнь голодная, кошмарная и опасная. В доме далеких родственников спрашивают, хочу ли я повидаться с моей кузиной Маней³. Конечно, хочу, я никогда ее не забывал! Входит очень пожилая, полуседая, но все еще красивая женщина. Целуемся, говорим на «ты». Я недавно выпущен из чекистского тюремного приюта, она постоянно, живет в Кремле, – жена высокого сановника⁴. Оба стесняемся. Она спрашивает:

– Ты нас не наведишь?

Я отвечаю:

– Мне всегда приятно тебя видеть, хочешь – здесь, хочешь – у меня. Но ты понимаешь, что в Кремль я не приеду.

– Ты нас отрицаешь?

– Родных я не отрицаю, а с «вами» у меня нет общего.

Мы вместе выходим, и она спрашивает:

– Но подвезти тебя можно?

³ Мария Петровна Резанцева (1873-1933) – двоюродная сестра М.А. Осоргина, жена А.Д. Цюрупы.

⁴ Наркома продовольствия А.Д. Цюрупы.

Мы садимся в прекрасный автомобиль и едем из Казенного переулка в мой милый Чернышевский. Тут прощаемся, и я выхожу.

– Так, как же, увидимся?

– Как хочешь, я всегда рад и всегда дома.

Увидеться не удалось, – скоро я был опять арестован и выслан в Казань, потом за границу. В Берлине получил открытку: «Мы здесь проездом, хочешь ли повидаться?» – открытка пролежала в редакции газеты, и мы не увидались. Уж очень различны были наши судьбы.

Но в то время, в Уфе, Мане было лет семнадцать, мне – двенадцать, и мы еще не стали ровесниками. О влюбленности моей она, вероятно, не подозревала.

На нескольких лодках поднимаемся вверх по Белой. Течение настолько быстро, что и при сильных гребцах лодки почти стоят на месте. В нашей гребец особенный – силач, каких мало; он умеет поднимать за переднюю ножку старинное мягкое кресло, а меня держит в воздухе на вытянутой руке. И мы, наконец, достигаем устья Дёмы.

Тут замирает мое сердце, воспитанное Аксаковым. Наизусть помню: «Величавая, полноводная Дёма, не широкая, не слишком быстрая, с какою-то необыкновенной красотой, тихо и плавно, наравне с берегами, расстилалась передо мной, Мелкая и крупная рыба металась беспрестанно. Сердце так и стучало у меня в груди, и я вздрагивал при каждом всплеске рыбы, когда щука или жерих выскакивали на поверхность, гоняясь за мелкой рыбкой». И как потом Сережа – Сергей Тимофеевич – поймал свою первую плотвичку: «Я весь дрожал, как в лихорадке, и совершенно не помнил себя от радости». А потом мать не хотела его отпустить, – уж слишком он волнуется: «Я не знаю, что бы случилось со мной, если бы меня не пустили. Мне кажется, я бы непременно захворал от горя». И, нужно сказать, действительно, прекрасна была река Дёма! Лодки мы оставили под крутым берегом, а так как уже темнело, то разложили костер прямо под могучим буком, так что получилась как бы освещенная пещера, – огонь костра едва достигал до нижних веток.

Тут провели теплую ночь. Спускались на воду, в лодке подъезжали к огромной коряге, застрявшей в течении Дёмы, и высаживались на ее корявые корни и ветви, – сразу человек десять. При луне это было удивительно. А с берега бросали в Дёму

большие головешки; они крутились в воздухе, сыпали огонь и с шипением хлюпали в воду.

С нами и молодой «композитор». Он раздобыл где-то двух старых киргизов, привел их к костру и заставил петь, – а сам записывал мотивы. Киргизы, защурив глаза, тонкими голосами тянули свои рулады, – и вот до сего дня, спустя сорок лет, я помню не только мотив, а и слова, смешные и непонятные, одной их песни. Окончив куплет, они открывали глаза, изменяли лицо, смотрели как бы изумленно и опять защуривались.

Потом мы, конечно, пели хором и песни веселые, и песни «гражданской скорби»:

Прогремела труба, повалила толпа...
Впереди идёт поп, а за ним несут гроб...
Где ж преступник? А вот, он за гробом идет...
И топор заблистал, и палач показал
Ту головушку неповинную...

Домой едем утром, и, конечно, я в лодке сплю. Так пахнет цветущей липой, что кружится голова.

Что вы сделали с мальчиком! Навек отравили его речным и липовым духом, а жить ему придётся в больших городах.

Нет, отравы вошла раньше – в самом первом детстве. Улица, на которой я родился, одним концом упиралась в Каму, другим в лесную опушку. И жизни настоящей, прекрасной и значительной я никогда, ни прежде, ни теперь, не мыслил без реки, полей и лесов. Это не «вкус» и не «поэзия»; это – человеческая природа, которой не переборешь, – да и не нужно. Годы, прожитые в окружении памятников древности и красот Возрождения или в центрах европейской культуры, со всем, что они дали и могут дать дальше, – эти годы из жизни все-таки похищены, след их в морщинках лба, а не в сердце. Люди говорят на разных языках, – законное их право; но противен язык моторов и граммофонов, и мертва кинолента, мчащая волжанина по Миссисипи, не потому, что это чужая река, а потому, что не река, а картина. И только Слово, художественное слово может иногда, и лишь в некоторой мере, быть заменой живого видения.

Книги я пожирал; прямо от Аксакова перебросился к Тургеневу, тоже охотнику и священнику в храме Природы. Но уфимские кузины на прощание подарили мне толстую книгу в желтой обертке, которую, для важности, я брал с собой на палубу парохода, – да так до самого дома и не мог одолеть первых страниц. Эта книга была «История цивилизации в Англии» Бокля. Я должен был ее читать, чтобы развиваться и направить мысль на разумные пути. Но пришлось лет пять побродить по путям окольным, пока Бокль показался мне достаточно занятым, и я проглотил его, не разжевывая и без надежды вполне переварить.

Пока же ждали грибная осень и зимний каток. И ещё – траур и грусть. Свёртывалась жизнь из большой в маленькую, из лёгкой – в полную забот и лишений. Через три года, ещё мальчик, я уже бегал по домам «репетировать» других мальчиков, еще через два читал печатные строки и глазам не верил: «неужели это я написал так замечательно? и неужели миллионы это сейчас читают?» Меньше, чем на миллионы, соглашаться не хотелось, потому что журнал был петербургский, а редактор писал мне:

«Милостивый Государь! (это мне, гимназисту!) Ваш рассказ напечатан в майской книжке⁵, что же касается гонорара, то, к сожалению, не можем предложить Вам больше одной копейки за строку, каковую сумму и переведёт в ближайшее время наша контора».

Контора, правда, не перевела, но слава дороже денег.

Все это было после, – воспоминания всегда забегают вперёд; а пока дома меня встретила печаль. Мать, необычайно моложавая женщина, сразу постарела; и все стали взрослее – и брат, и сёстры, и я сам.

При переезде в маленькую квартиру разбирали отцовский письменный стол, теперь бесхозный, о некоторых секретах и сокровищах которого я и раньше знал. Например, о книжном ящике, где в плоской железной коробке было так много чудес, – мне отец не однажды их показывал. В нем были какие-то Станиславы и Анны, которых он никогда не надевал, облупившаяся табакерка, серебряный портсигар, несколько пенковых трубок, медаль в коробочке, старинные монеты, палочки сургуча, бисерная закладка, небольшой дагерротип (сняты дед и бабушка), целая

⁵ В петербургском "Журнале для всех" был напечатан (под псевдонимом М. Пермяк) рассказ М. А. Осоргина "Отец" (1896, No 5).

коллекция печатей и печаток, – малая на золоте, большая на уральском топазе, крупная почка малахита, оправка очков, – одним словом, множество интереснейших предметов, которые мы с отцом, тайно ото всех, рассматривали и которые представлялись мне всегда бесценным сокровищем. Теперь все это вышло на свет, но глаз уже не веселило, а только печалило. А инструменты, слесарные, плотницкие, столярные, которыми я был рано обучен владеть, прямо перешли в мою новую комнатку и полное распоряжение; раньше мы наслаждались ими вместе с отцом по праздникам, когда он не открывал своих деловых папок, а пилил, строгал, подкрашивал да еще пересаживал цветы нашего «зимнего сада», помещавшегося в светлых и теплых сенях. Я в отце потерял друга и товарища, в будни – взрослого и даже старого, а в праздники – большого мальчика, энтузиаста всяких домашних работ и дельных развлечений.

То, что называют наследственностью, не есть ли часто с детства усвоенные привычки и вкусы, а также следы подражания тому, чью память чтить? Вот я сижу за письменным столом. В нижнем его ящике большая жестяная коробка, в ней – всякий милый вздор, никому не нужный, но усердно сохраняемый. Есть у меня и набор слесарных и других инструментов, без которых отдых немислим: чиню кран водопровода, испортившийся выключатель, подпиливаю и подымаю на кольцо осевшую дверь, покрываю белую книжную полку ореховой протравкой, заново обтягиваю материей мягкое кресло: всё – отцовская наука. А уж цветы, – и говорить нечего! Только бы скорее наступила весна, пусть парижская, дурного качества, – ничто не удержит в городе, буду смотреть, как растет трава, и буду сам выращивать цветы и злаки, подстригать земляничный ус, подвязывать розы, высыпать из зрелой маковой коробочки семена в заготовленный пакет. И это уж навсегда, – от этого не уйдёшь и уходить не хочется. Всё остальное – своим порядком: бумаги, письма, книги, газеты, всякое обязательное, радости не дающее, как не дают её сон и пища, без которых тоже никак не обойтись.

Так завещал мне, не на письме, не на словах, а в моей памяти, молодой человек в сюртуке и штанах в мелкую клетку, родившийся сто лет тому назад, фотография которого выпала из только что полученного письма. И этим заветам никогда я не изменял и не изменю; и если бы хотел, – не мог бы!

Тому назад лет пятнадцать, после долгой заграничной жизни, я объезжал в России знакомые губернии и города, связанные течением рек Камы, Волги и Белой. Люди ушли, города выросли, берега не переменились. Какие-то обрывки прежних связей все-таки остались: мумии прежних людей и их благополучные потомки. Из тысячи уфимских кузин осталась одна, но и та была во временной отлучке. Дёмы не повидал; говорят, что ее течение стало медленней, берега оголились, рыба помельчала и вывелась. Но ведь это обычно говорится про все реки и про все леса: «Ах, как было прежде и как стало сейчас!» Я же на всем пути по северу и востоку видел прежние лесные богатства, все еще неистощимые. Может быть, после их повырубили и извели нерадением, глупостью и «принудительным трудом»?

В двадцать втором году, когда был в Казани, Волга текла по прежнему руслу. Усохла ли – ведрами не мерил. Но на детей и внуков воды, как будто, должно хватить, а там увидится.

И вот я думаю: происшедшее не так уж страшно. Земля наша велика и обильна. Пока медведь не перевелся – ничто ещё не погибло; а про медведей говорят, что они даже расплодились. Вот это хорошо! Природа чинит прорехи и восстанавливает ущербы. И поля, как известно, во многих местах отдыхают под паром, пока ржавеют поломанные тракторы. Жаль напрасных усилий, но слава вольному произрастанию несеянных злаков и несаженных деревьев. Так рассуждаем мы, приречные, лесняки, охотники, рыболовы. И не препятствуем другим рассуждать совершенно иначе.

И всё это оттого, что уфимские кузины не вовремя мне подарили «Историю цивилизации в Англии» в жёлтой обложке. Немало над ней потрудившись, я поставил её на дальнюю полку, а с ближней – взял перечитать, в который раз, отцом подаренные томики Аксакова: «Семейную хронику» и «Записки об уженье рыбы».

Париж, 1933 г.

По городам

Выражаясь витиевато – память человеческая подобна путям летчика: она преисполнена провалов; выражаясь проще – она дырява. Далее уподобим ее подержанному костюму: колени просвечивают, на локтях совсем светло. Когда пишешь воспоминания, не слишком много присочиняя и ужасно много пропуская, лучше всего ссылаться на эти недостатки памяти и пропускать некоторые имена. Может быть, эти люди еще живы, и им будет неприятно, или за них огорчатся их близкие. Потому что нельзя же описывать только встречи с ангелами – люди разнообразны.

Лионский мэр осмотрел, изучил и понял СССР в восемь дней. Человек огромного таланта! Мы так не умели. Когда в 1916 году я вернулся в Россию после десятилетней эмиграции, моя газета предложила мне прокатиться по России – куда захочется и приглянется – затратив на это два месяца:

– Вы стали иностранцем – проветритесь и поучитесь.

Я выбрал северо-восток и Поволжье: Ярославль, Вологду, Вятку, Пермь, Уфу, Самару, Казань – и что еще успеется. Знакомиться должен был преимущественно с земствами и кооперативами. В легких воспоминаниях нет места для такого тяжеловесного материала, и я ограничусь записями случайных встреч, не бывших целью, а лишь попутных.

Ясно, что я не мог стремиться к встречам с начальниками военных округов, прямой обязанностью которых было меня арестовать и выслать. И между тем первый вечер в Ярославле я провел в семье генерала Качуры-Масальского, отличного старика, умершего в первые годы революции. Он был в числе первых, принявших февральскую революцию свободно и приветливо. Мне, собственно, памятна не эта встреча с ним, а более поздняя, через год, когда я приехал отдохнуть в деревушку на Волге под Ярославлем и прожил около месяца в его семье. Генерал, заваленный делами, наезжал в деревушку урывками. Мы гуляли, катались на лодках, ловили рыбу и по вечерам всей семьей неистово играли в «девятый вал». Однажды, приехав рано утром, генерал застал нас всех еще за картами: свою старуху-жену, дочерей, племянника и гостя. Лица наши были зелены и глаза

воспалены. Был гром и была молния: генерал кричал и бесновался, распекая нас за безобразный образ жизни. Это вместо того, чтобы пользоваться отдыхом в природе! Да и вообще безобразиие! Мы разбрелись в смущении и спали до обеда.

Вечером чинно гуляли с генералом, стараясь выслужить прощение. После ужина сидели и говорили о разумных предметах. Но разговор плохо клеился.

Генерал говорил:

– Когда целый день работаешь, природа – истинное спасенье. Я не против карт, я и сам играю, но нужно знать меру, а то получается черт знает что.

Он был, конечно, прав – и мы смиренно молчали.

Генерал продолжал:

– Чудесный вечер сегодня, и такая теплынь! Жаль только, что луны нет, а то бы хорошо на лодке. Если вы хотите, то поиграйте немного, я, может быть, и сам присоединюсь, но только на часок, а затем – все спать.

Мы ответили, что как-то не хочется играть, лучше так посидим.

– Жертвы ради меня не приносите, а то выйдет, что я – семейный деспот. Поиграть часок даже хорошо, приятно. Я только против злоупотребления. А так – пожалуйста, сыграем.

Часов в восемь утра он волновался:

– Черт его знает! В два раза беру, в девять никогда не выходит! Да сдавай же скорей, чего зря тасуешь! В половине девятого пароход, а я и не умывался. Но главное – какое систематическое невезенье! В два беру, в четыре бывает – в девять никогда!

На пристань он бежал впереди, мы за ним – провожать. С палубы пароходика кричал нам:

– Решительно требую – бросьте вы это безобразие! Деревня создана для отдыха. Хоть ты бы постыдилась – старая женщина! Черт знает что такое!

Тогда же мой летний покой был нарушен приездом курьера от ярославского прокурора:

– Просят вас приехать по делу.

Прокурор очень извинялся, что побеспокоил, но он получил телеграмму из Москвы от прокурора С.Ф. Стааля с предложением

разыскать меня и передать мне приглашение немедленно ехать в Петербург для участия в судебной комиссии. Долго – и некстати – рассказывать, почему меня вызывали. Решительно отказавшись, я поинтересовался, каким образом ярославский прокурор нашел меня в деревне. Он очень смутился.

– Видите ли... В Ярославле вас не оказалось. Я позволил себе прибегнуть к старым жандармским справкам, и оказалось, что в первый приезд вы посещали дом генерала Качуры; за вами тогда следили. Семья генерала оказалась в деревне – и вот я попытался...

Я поздравил его с находчивостью: старые методы пригодились и в новом режиме.

В Вологде и Вятке встречи чисто деловые, преимущественно с «третьим элементом». Не знаю, где эти люди и каков новый порядок их мыслей; не назвать их – ничего не выйдет, а называть не решаюсь. Пусть будет «провал в памяти», и перескакиваю на Пермь.

Н.В. Мешкова⁶, миллионера и революционера, я знал давно, чуть ли не с детства. Имя знаменитое. Трудно богатому войти в царствие небесное, и революционность Мешкова меня всегда смущала. А вот прекрасные здания университета он действительно создал, и я осматривал их под его руководством. Как раз в дни моего проезда через Пермь состоялось открытие университета. Торжественную речь произнес ректор петербургского университета. При словах «волею нашего монарха» он повернулся на каблуках к портрету с такой грацией, что я тоже повернулся на каблуках и вышел, опасаясь неожиданно для себя грянуть «Боже, царя храни». Я ведь только знакомился с Россией, еще не привык. На почетном месте сидел революционер Мешков.

И вдруг мне вспомнилось, что в дни моего студенчества я участвовал в ужине в честь Н.К. Михайловского в той же Перми; кстати, присутствовал и Мешков. Михайловский был тогда временно удален из Петербурга и делал турне в обществе «бабушки» Е.К. Брешковской⁷, имя которой, впрочем, не произносилось. Ужин дало ему пермское земство. И вот тогда

⁶ Мешков, Николай Васильевич (1851–1933) – пермский промышленник и пароходчик. Жертвовал большие средства на местное просвещение, а также на революционную деятельность. После Октября 1917 г. был консультантом Наркомата путей сообщения.

⁷ Брешко-Брешковская, Екатерина Константиновна (1844–1934) – участница революционного движения с начала 1870-х гг. С 1919 г. – за границей. Вошла в историю как «бабушка русской революции».

председатель либеральнейшего из земств сделал маленькую ошибку: в приветственной речи Михайловскому ввернул зачем-то обожаемого монарха и его непрестанные заботы о детском воспитании. Михайловский, отвечая, сказал, что такого тоста он принять не может, но что, вероятно, почтенный оратор хотел сказать другое, а именно... Хотя Михайловский действительно сказал «совсем другое», но предыдущий оратор сочувственно и согласно кивал этой поправке: «вот именно!». А потом, несколько злоупотребив короткими и длинными напитками, мы все пели «Варшавянку» и что-то вроде «Марсельезы». На другой день Мешков на собственном пароходе катал двух почетных гостей и снимался с ними на палубе.

Вспомнил я это – и внес в свои новые российские впечатления точную отметку:

– Окрошка, наше любимое национальное блюдо, готовится из наиболее несовместимых и неудобоваримых продуктов. Расхлебывать ее одновременно и страшно и истинное наслаждение; но необходима привычка, которую нужно приобрести, иногда с риском для здоровья и умственных способностей.

Поездка дала мне в этом отношении немало.

Обычно с первым визитом я являлся в земскую управу, откуда возвращался нагруженным книгами и брошюрами; «Русские ведомости» не удовлетворялись «поэзией» и заставляли сотрудников интересоваться и цифрами.

В провинции «знатного иностранца» встречали приветливо и почетно, а «эмигрант» звучало княжеским титулом. Мои дни и вечера были, конечно, разобраны.

В Уфе председатель управы просил непременно зайти вечером, когда окончится заседание съезда. «Останется кое-кто из интересных людей, и мы потолкуем» – «С удовольствием».

У дверей его кабинета меня поджидал скромный человек секретарского вида, типичный «третий элемент».

– Позвольте познакомиться. Я муж Марьи Петровны.

Уфа – родной город моего отца, который там похоронен. Марья Петровна – одна из многочисленных кузин, которой я не видал много лет, но очень любил в детстве.

– Ее нет, она в отъезде. Прошу вас пообедать и посмотреть ваших племянников. Моя фамилия – Цюрупа⁸.

Племянники очаровательны, и я засиделся до вечера. Будущий народный комиссар земледелия был очень любезным и хлебосольным хозяином. Позже, когда он жил в Кремле, а я в Чернышевском переулке, мы не встречались. Он умер – пусть земля будет ему легкой.

Я вовремя вспомнил, что обещал председателю управы зайти поболтать с ним и интересными людьми и поспешил отбыть эту повинность. Председатель встретил словами: «А мы уже ждем вас. Пожалуйста».

Отворил дверь – и ввел меня на эстраду в зал, полный народу, земское собрание осталось «поболтать» в полном составе.

– Господа, вам, конечно, будет интересно послушать сообщение приехавшего из Европы...

В жизни я, как и каждый человек, много раз был в глупом положении и много раз «докладывал» с эстрады. Но этот случай был, вероятно, рекордным. Передо мной сидело собрание почтеннейших старцев – земских гласных, не очень доверчивых и желавших услышать всю правду о Европе и войне. Я набрал воздуха в легкие, поднял руки над головой и бросился в омут. Я не думаю, чтобы это было позорным, но не желал бы, чтобы это когда-нибудь повторилось. Нырнул, вынырнул, поплавал саженками, полежал на спине, опять нырнул – и кое-как выкарабкался на берег. Грома аплодисментов, во всяком случае, не было. Уходя, я дал себе слово подробно осведомляться, в чем заключается в провинции «чашка чаю», а кроме того, посидеть вечером и обстоятельно написать экспромт на все подобные случаи, чтобы впредь не позорить честь заезжего знатного иностранца. Уфа мне не понравилась, хотя раньше я очень любил этот город, его сиреневый дух, его Белую и особенно его Дёму.

Самый большой заряд земской литературы я получил в Самаре; секретарь, очаровательнейший человек, был любезен послать его мне в гостиницу, откуда я переправил все в Москву вместе с десятками кустарных изделий, накупленных в дороге. И, конечно, я принял приглашение провести вечер у секретаря.

⁸ Цюрупа, Александр Дмитриевич (1870–1928) – советский государственный и партийный деятель, с 1918 г. – нарком продовольствия.

Это был Клафтон⁹, впоследствии расстрелянный; один из культурнейших людей в Самаре и в России, умница, европеец, интереснейший собеседник. Мы провели вечер вдвоем в его удивительной холостой квартире, убранной по-восточному – целый музей экзотики. Пили изумительное вино и ели фрукты, каких я никогда больше не видал – из Ташкента и Самарканда. Третьим в нашей компании был Будда, статуэтка волшебного резца. Прислуживали нам многоцветные драконы и аисты, со стен смотрели на нас китайские палачи и незначительные боги. Клафтон был путешественником и коллекционером; но и в земстве он был самым деятельным и знающим. Книги мне не понадобились – разговор с ним дал больше. А так как я рассказал ему об уфимской «чашке чаю», то он избавил меня от подобного же случая и в Самаре.

Стараюсь представить себе, как погиб этот человек, – и не вижу его иначе, как с улыбкой «знающего» на лице, родственной улыбке великого Будды. Но как мог бы он жить в новой России – этого представить себе невозможно. Не потому, что он не мог бы «принять», а потому, что его не приняла бы всеобщая «уравниловка». Такого не пригнешь и не пришлифуешь. Но пуля берет и таких – и его убили.

Были и еще города и встречи после Самары. Со мной было самопишущее перо, умевшее пользоваться цифрами набранных земских сборников и кооперативных сводок; то, что пишу сейчас, оставалось в памяти неиспользованным, как личное и несерьезное. Таким оно, конечно, и осталось, но между нужным и ненужным стерлась прежняя грань, и иная мимолетная встреча кажется ценнее обстоятельно описанного события. События ушли – и в дымке воспоминаний остались только лица: лбы, бороды, носы, характеры, души. Право на некоторое внимание, несомненно, принадлежит и им.

Париж, 1933 г.

⁹ Клафтон, Александр Константинович (1871–1920) – земский деятель, публицист. Расстрелян в Омске по приговору Ревтрибунала.

Времена

Детство

При иных закатах солнце, опускаясь, красит прощальным светом облака на западе, и этот свет бежит до крайних границ востока, а там на одну минуту распускается роза. Это – наше воспоминание о детских годах, и нужно им дорожить, оно мимолетно. Оно дается в утешение уже не имеющим будущего.

Далекое прошлое всегда – сказочная страна. Может быть, я родился в жалком городишке, о котором нечего рассказать, но я беру не палитру и кисти, а набор цветных детских карандашей и приступаю к работе. Я рисую приземистый дом в шесть окон с чердаком и с двух сторон протягиваю в линию заборы, за которыми непременно должны быть деревья, может быть липы и тополя, но во всяком случае черемуха, дерево самого раннего цветения. Мне ее не изобразить черточками, потому что тут все дело в горьком аромате, только недавно стаял снег, дворник сметал его с крыши, а ледяные сосульки откололись и упали сами, вкусные конфеты, от которых зябнут и румянятся пальцы в варежках, а на губах остается шерстяной вкус. Для начала – для весенних дней – никаких, ни ярких, ни мешаных, красок не нужно, и на севере мы начинаем с белого и черного: черное пробивается сквозь белое тальными островками, а золото солнца ненарисуемо и неописуемо, его сам представь и предположи. Этим начав, мы потом сразу переходим на музыку, слушаем капели и ручейки, и как вздыхают и кряхтят снега и льдинки, и как везде и нигде гомонят птицы, обычные наши вороны, галки и воробьи, и прилетные голоклювые любимцы Герасима Грачевника,¹⁰ и красноперые голосистые щеглята, и скворцы, для которых на каждом дворе ставились домики на высоких шестах. Этот гомон слышно даже сквозь двойные оконные рамы, и вообще весна не дожидается, чтобы вышли на нее посмотреть, а врывается сама и в щелочку, где отпала замазка, и в печную трубу, и на чердак, и бегом по лестнице в намокших валенках. Ей ждать некогда, потому что уж очень много

¹⁰ День Герасима Грачевника (4 марта) считался сроком прилета грачей: в народе говорили, что "Герасим Грачевник грачей пригнал".

предстоящих дел. Мать говорит: поди погуляй, да надень калоши, валенки промокнут, и по лужам не бегай, – и я, конечно, по лужам не бегаяю, а топчусь в ручейках, пока в ногах не захлюпает холодная вода. На другое утро черное побеждает нестойкую белизну, а на улице перед домом оттаивает и вскрывается весь навоз, накопившийся за зиму, и тогда впервые появляются путаные цвета, из которых потом мы будем выделять красное к красному, зеленое к зеленому, все на свои места; конечно, и белое оставим – и вот расцветает черемуха.

Все это, несомненно, так и было, и мне было когда-то и три, и два года, но пишет не память, а воображение, и пишет не по архивным залежам, а лишь подбирая цветные камушки отшлифованных прибором ощущений и подрисовывая их наблюдениями над другими детьми, тоже в валенках и варежках, тоже лакомками до ледяных сосулук. Вчера над французским полем я видел грачей, голоносых и чёрных с синим отливом, и нежность памяти перенес на них, а солнце было действительно то же самое и повернутое тем же боком. Крепко опершись на крючковатую палку с острым наконечником, я через грачовую сеть взглянул на дальний лесок и тут, без всякой связи линий и красок, вспомнил, что не могло быть у дома, в котором я родился, двух примыкавших к переднему фасаду заборов, потому что этот дом был угловым, и я родился за стеклом крайнего левого окна, так мне рассказали, и ясно вижу себя розовым комочком в пеленках, открывающим плаксивый беззубый рот. Этот дом стал вращаться в землю со всеми окошками, в том числе и с крайним, а когда врос окончательно, то на его месте выстроили дом каменный; и все, и мать, и отец, и братья с сестрами, и ледяные сосульки, так и остались под землей, и я это видел своими глазами, когда вернулся после десятилетнего скитания по Европе и пожелал взглянуть на самую родную для человека точку земли, самую его настоящую родину в полметра земной поверхности. Все было чужое, и не стоило ехать тысячу верст, чтобы на это чужое смущенно и недоуменно смотреть.

Помню, однако, что улица была широка и по самой ее середине шла огороженная низким палисадом липовая аллея, которая у нас называлась бульваром. На пересечении поперечных улиц она прерывалась, и каждый ее отрезок с обеих сторон замыкался калитками. Так она шла из конца в конец города, и это

значит, что от опушки пригородного леса до соборной площади, откуда был вид на Закамье – с высокого левобережья нашей замечательной полноводной стальной реки. Если я начал с описания родного дома, в котором жил только маленьким, раньше всех возможных ясных воспоминаний, то только для того, чтобы не упустить реки и леса, моих настоящих родителей. Весь с головы до ног, с мозгом и сердцем, с бумагой и чернилами, с логикой и примитивным всебожеством, со страстной вечной жаждой воды и смолы и отрицанием машины, – я был и остался сыном матери-реки и отца-леса и отречься от них уже никогда не могу и не хочу. Если отречься, то придет и заберет нянина пособница бука и защекочет в темному углу, или, по-нынешнему, зацепит железными челюстями подъемный кран, заверещит лебедкой, черкнет по небу и горизонту крутым поворотом и выбросит на людной площади, где темные каски бьют с размаха обманутых и голодных людей, помочь которым я уже ничем не могу, так как утратил веру в рай из железобетона. Это страшное и досадное виденье я заслоняю любимейшими картинками, к которым возвращаюсь мыслью, куда бы ни забросила меня действительность. Нижний край зеркала реки был украшен деревянной резьбой пристаней и барок, верхний отделялся зелено-синей полосой от воздушного ничего. Мы, тутошние, рождались в просторе, ковшом пили воздух и никогда не считали себя ни царями, ни рабами природы, с которой жили в веками договоренной дружбе. Я радуюсь и горжусь, что родился в глубокой провинции, в деревянном доме, окруженном несчитанными десятинами, никогда не знавшими крепостного права, и что голубая кровь отцов окислилась во мне независимыми просторами, очистилась речной и родниковой водой, окрасилась заново в дыхании хвойных лесов и позволила мне во всех скитаньях остаться простым, срединным, провинциальным русским человеком, не извращенным ни сословным, ни расовым сознанием; сыном земли и братом любого двуногого. По другую сторону города, от реки вглубь, сейчас же за заставой с орлами, начинался лес, почти не рубленный и, конечно, нечищенный, так как для стройки и роста домов хватало береговых природных богатств и еще много пригоняли сплавов с севера. Между столбами заставы начиналась и дальше уходила прямой гладью в тысячеверстие, лишь поднявшись и сбежав через хребет Уральских гор, укатанная почтовой гоньбой и утоптанная арестантами нескончаемая дорога,

которую мы звали Сибирским трактом. Ближний отрезок этого тракта я знал с самых ранних лет: и особенно на его четвертой версте поворот налево, на плохую просельную дорогу, сначала в лес, потом ржаными полями, скатами, взбегами и перелесками – в деревню Загарье, где летом мы жили на даче, а попросту в пятидымной дереvушке, в крестьянской избе, нависшей над склоном, заросшим душистой клубникой. Эту деревню я помню, как зарисованную в альбоме, хотя не видал ее больше полвека; и если бы попал в нее сейчас, то никогда не узнал бы, хотя бы она не переменилась: картина памяти моей нарисована детским воображением и взрослыми к нему поправками, моей литературной мечтой, не нуждающейся в реальном. Но не мог не быть скат к речке Егошихе, и лес за нею не мог не стоять глухой стеной, и была, конечно, поблизости от дома черная, прокоптелая хибарка – баня, из которой мужики выходили красными и шатаясь от угара, – этого всего никак не придумаешь. И было еще многое, о чем непременно надо бы вспомнить и рассказать, чтобы каждый мог мне сочувствовать и втайне завидовать.

Кроме нас, никто в той местности из городских людей не жывал, – да было и негде, все избы считаны; только верстах в пяти был частный хутор (у нас не говорили имение) моей крестной матери Марьи Павловны, жившей с кухаркой и кучером, которые окружали ее заботами и льстивым поклонением, потому что считали себя ее прямыми наследниками: родных у нее на всем свете не было никого. К этому хутору от нас не было проезжей прямой дороги, а ходили, как сейчас помню, – сначала через речку, потом на косогор и на большую поляну, дальше тропинкой елового леса до межевой ямы, той самой, в которой нашли корову, высосанную беглым арестантом, еще дальше с полверсты, по опушке над кручей, и тут выходили на дорогу колесную, и уже можно было увидеть вдали Марьи-Павловнин хутор, бревенчатую избу, чисто сложенную и забитую не клочковатой, а жгутом подвернутой паклей. У Марьи Павловны был настоящий шкаф с зеркалом, были венские стулья и буфет, выше меня ростом. Сама моя крестная была крупной, громкоголосой, деспотической женщиной, в городе ее боялись, почти ни с кем, кроме нашей семьи, она не зналась, нигде не бывала, пила много кофею, кажется, была богата, откуда родом – не знаю, а по фамилии Керен, может быть, по мужу немка, но говорила она очень хорошо, по-московски.

Когда я был совсем маленьким, она сказала мне, что откажет мне в своем завещании тысячу рублей, и пока дала зеленую трехрублевку, на которую я не знал, что купить. Больше я от нее ничего не получал, и умерла она как-то нечаянно, ни когда, ни почему – не помню; я в то время уже читал Достоевского.

Про арестанта, который высосал корову, рассказывали мужики. Он держал эту корову в яме три дня, даже подкармливал ее травой, а чтобы она не мычала, обвязывал ей морду гибким прутом. И все-таки она мычала, и по мычанью ее нашли, а арестант успел убежать. Мужиков я не понимал. На то, что беглый (у нас говорили – варнак) высасывал корову, они не обижались и на ночь выставляли на крыльце чашки с кашей и вареную картошку, чтобы несчастненькие могли покормиться, не обижая ничем честных людей. И в то же время ходили в лес на облаву за варнаками и, поймав, заворачивали им лопатки и повязывали руки за спину. Может быть, так они поступали только с убийцами (полголовы брито) и с теми, кто воровал крестьянское добро. Мой отец, когда приезжал из города на дачу, всегда мрачнел, узнав о поимке мужиками арестанта, и ворчал, что вот не своим делом они занимаются. А между тем мой отец был членом окружного суда по уголовному отделению, значит – и судил, и приговаривал. Мужикам нашей деревни низкопоклонство было неведомо, они помещиков никогда не знали; но и ласковости их не помню. В хвойных лесах ласковость не к месту и жизнь была суровой. Зайцев ловили силками и отдавали нам почти задаром, потому что в тех краях зайцев не ели, скармливали их кошкам; заяц поганый, а зла от него много: огороды портит. Я не помню ни песен, ни хороводов, может быть, потому, что мы жили в деревне всегда в страдное время, когда крестьянину не до песни. Все были поголовно неграмотны, и, когда я, пятилетний чистенький мальчик, лежал на траве с книжкой, ребята, завязив в носу палец, часами стояли поодаль. Потом, накопав червей, мы бежали на речку ловить уклеек на согнутую булавку, если только мать соглашалась пустить меня с ними. Но больше всего я проводил время в одиночестве, обедаясь клубникой на косогоре.

Был праздников праздник и торжество из торжеств, когда приезжал отец, на два-три дня, а раз в лето на две недели. Он всегда что-нибудь придумывал. С ним мы ходили в далекие прогулки, часто по лесу до самого кордона – до военного караульного поста в

глубине леса, где, впрочем, никогда ни одного солдата я не видал. В этих походах с отцом я понял и полюбил лес, его тайну и его величие. Я узнал от отца, что темные орешки, которыми усыпан лес, это заячьи покидки и только по свежим может учуять зайца собака; но зайцев было в лесу столько, сколько в городе на неглавной улице прохожих людей. На ёлках было столько же и еще больше белок, которые прямо нам на голову сыпали шишечную шелуху. Волки летом держались далеко от людских жилых мест; медведей отец не велел мне бояться, они на человека не нападают, они очень добрые, питаются медом, ягодами, кореньями, да и не встретишь их иначе, как в очень глухом лесу без дорог и тропинок. Птиц отец называл по именам, но их было так много – самых разнообразных, и больших и маленьких, – что запомнить я не мог, только знал, что самая большая, испугавшая меня на опушке, где от ее взлета закачалась осина, была глухарь, впрочем, уже знакомый мне по оперенью, потому что в городе часто приносили глухарей с базара. Так как мой отец не был охотником и брал с собой в лес только револьвер-бульдожку и компас, то больше мы занимались растениями и цветами, собираньем которых он увлекался даже больше меня. Он привозил из городу кипу серой рыхлой бумаги, нарезанной большими листами, вдвое сложенными, и мы составляли гербарий. Мне было жалко, что белые весенние цветы в засушенном виде всегда желтеют: майники, ландыши, грушовки, линея, подснежник, розовая кислица, лесной анемон, прелестный сибирский княжик и тот ароматный столбик, который по-местному назывался римской свечой. Мы собирали папоротники и старались в них разобраться – кочедыжник, ужомник, стоножник, орляк, щитник, ломкий пузырник, дербянка. Было у нас великое разнообразие мхов – и точечный, и кукушкин лён, и волнистый двурог, и мох торфяной, и царевы очи, и гипнум, и прорастающий рокет. На полянах цветов было бесчисленно, так что даже, отчаявшись собрать все, мы вдруг равнодушно отвертывались от их красоты и яркости и отдавали все внимание только злакам – пахучему колоску, лисохвосту, трясунке, перловнику, мятлику, костеру, гребнику и сборной еже. Возвращаясь домой через речонку, я набирал на болотце букет желтых купавок, которые очень любила мать, а если попадались крупные незабудки, тамошней нашей голубизны, то и их приносил матери, у которой были голубые глаза, ко мне не перешедшие: у меня глаза отцовские.

Но самым любимым нашим спортом был грибной, и тут все свои великие знания отец передал мне целиком. Я даже в раннем детстве не понимал, как можно ошибиться и принести домой поганку! Или как ложную лисичку не отличить от настоящей, при всем их кажущемся сходстве! Одно – масляник, и совсем другое – козляк. И рыжая волнушка все же не рыжик! Рыжиков мы также различали по сортам, и домой приносили только самых бутылочных и булабочных, потому что рыжиками были полны наши еловые и пихтовые леса. Головы боровиков нанизывались на суровую нитку и сушились на зиму, на Великий пост; белый груздь солился в кадушках, и наше дело было только набирать корзины, а остальным ведала Савельевна, наша строгая кухарка, которой мы все боялись, а мать перед ней немножко даже заискивала. Но Савельевна приезжала в деревню только ближе к осени, как раз к грибам, а всегда была с нами моя нянюшка, Евдокия Петровна, мастерица по части ягодного варенья. Она никогда не упускала случая наварить побольше клубничного, потому что в городе клубники не достанешь никогда, а если и достать бы – не тот аромат, как на нашем косогоре. А впрочем, скажу просто и решительно: нигде в мире такой клубники, как наша, я никогда не встречал, и вообще эту ягоду немногие знают и путают с другими. И в Европе полевой клубники нет, разве что в Скандинавских странах. Если мне скажут: «Она есть!» – то я, прищурившись, ядовито спрошу: «Может быть, у вас растет и морошка?» – и человек увянет от смущенья. А я ему вдогонку: «Вы даже и до брусники не додумались, хоть и изобрели парламент!»

Сколько ни читал я воспоминаний о детстве, у всех кроткая мать и строгий, умный отец: от отца мозг, от матери сердце. Так это, вероятно, полагается. У меня тоже мать была кроткая, то есть добрая и мягкая по характеру женщина, но и в отце не было ни капли строгости, а умными были оба; и мать, хоть и институтка, была достаточно образованной и всю жизнь по-своему училась и была отцу хорошей подругой. Я не помню ни одной ссоры между родителями, ни одного не только грубого слова, но даже слова упрека или недовольства, и я не знал в детстве, что бывает и иначе. У меня были три сестры и брат – все старше меня. Не помню, наказывали ли их за что-нибудь; меня наказали один раз, не знаю за что, но, вероятно, за что-нибудь исключительно серьезное, потому что наказание было жесточайшим: я был лишен свободы. Слезы

лились в три ручья: плакала мать, плакал я и плакала моя старшая любимая сестра, которую посадили вместе со мной в чулан, чтобы мне одному не было страшно. Слезы матери я объясняю тем, что ей не могла быть свойственна жестокость, и этот опыт наказания, почему-то придуманный, может быть вычитанный, был для нее невыносим и противен. Сестра плакала из сочувствия к матери, ко мне и к себе, – ей было уже лет тринадцать. А я плакал или потому, что не признавал себя виновным, или же предчувствуя, что это первое лишение свободы будет повторяться всю мою жизнь. Вряд ли мое заключение продолжалось больше пяти минут, но это все равно – впечатление о пережитом осталось навсегда: четыре стены, за которыми идет жизнь, и я из этой жизни изъят; полное бессилие и страстное желание перестать существовать; отрицание права кого бы то ни было так поступать, пусть даже матери. Кажется, я бил ногами в дверь, и сестра не смела меня сдерживать; затем ослабел и впал в отчаяние. Много лет спустя я точно так же бил ногами и кулаками в дубовую дверь Таганской тюрьмы в Москве, выбил дверную форточку и оконные стекла, – когда с тюремного двора часовой выстрелил в окно в одного из заключенных. Я и теперь нередко просыпаюсь от удара кулаком в стену, когда мне снится тюрьма; а иногда, наоборот, проснувшись, добродушно смеюсь, потому что мне кажется, что таких случаев не бывает, что человека нельзя запереть против его воли, это только глупые рассказы, и в действительности не существует ни замков, ни границ, мы только шалим и подшучиваем друг над другом; в полусне я потягиваюсь, удобнее перекидываю подушку и опять засыпаю: просто лежал как-нибудь неудобно. В университете я изучал право – государственное, уголовное, гражданское, изучал философию права (циник профессор Зверев увлекательно говорил о свободе воли), хорошо сдавал экзамены, стал адвокатом. Не будь в моем детстве чулана, я мог бы сложить для себя из всех этих книжных кирпичей сносное жилище, пробив в нем окошечко с решеткой, и спокойно глядеть на мир, как смотрят многие отличные люди. Этого не случилось, и, когда муха бьётся в стекло, я спешу отворить окно и помочь ей вылететь; и даже если это не муха, а комар, напившийся моей крови, – всё равно! Не потому, что я такой милостивец, – я, может быть, прихлопну его ладонью прежде, чем он успеет меня укусить, жизни лишу, но свободы лишить не способен: свобода в триллион раз ценнее жизни, это я раз навсегда решил и за себя, и за

комара! Моя мать напрасно плакала – я благословляю её воспитательную ошибку: но хорошо, что она никогда ее больше не повторяла, могло случиться обратное.

Я завидую – хотя и не верю – тем, кто рассказывает о своей жизни в стройном порядке, год за годом, как будто справляясь по календарю и регистратору, – от мягких шелковых волосиков до щетины на щеках, от детской курточки до теплого халата и от коротких штанишек до той поры, когда они постепенно доходят до пят заглаженными макаронами и человек, теряя приятные иллюзии, вырастает в стоеросовый кантовский императив¹¹. Моя жизнь не росла ни тополем, ни подсолнухом, а ветвилась кустом спиреи¹², начисто отмирая в старом побеге и заново вырастая от подземного корня. И потому ее картины не собраны в аккуратный альбом, а перепутаны во множестве папок, старых, новых, пыльных и обтертых тряпочкой. Не всегда разберусь, что пережито и что вычитано, что думал и видел мальчик – и что ему подбросил растратчик жизненного капитала. Ставлю в вазочку с водой букет нащипанных цветов и нарезанных зеленых веток, но, может быть, сирень я обломил студентом, когда влюбился в армянку, жившую на Никитской улице; а лютик сорван детской рукой, просто за то, что его лепестки блестящи и навощены солнцем, тогда как розу сам вывел из черенка в позапрошлом году. И в детских воспоминаниях такая же, конечно, путаница, которой мало помогает чисто зрительная память (образы, образы и образы!). Сквозь голубое стеклышко этой памяти я вижу себя трех-четырёхлетним на дворе того же дома, под ручку с девочкой-однолеткой; мы идем важно, и наши лица серьезны: первый роман. Кто-нибудь научил нас так гулять, и я ощущал это как мой долг перед слабым существом, нуждающимся в моей защите. Не игра, не забава, а предвидение трудности и сложности жизненного пути. Пока идешь прямо – все просто, но при поворотах мы топтались, сталкивались и наступали

¹¹ М.А. Осоргин соединяет идиоматический эпитет к словам "дурак, болван" и т. п. с центральным принципом основанной на понятии долга этики Иммануила Канта (1724-1804), родоначальника немецкой классической философии, выразив тем самым свое во многом ироническое отношение к существованию некоей всеобщей морали, будто бы определяющей практическое поведение людей.

¹² Спирея латинское название повсеместно распространенной на Урале таволги, растения с белыми или розовыми (красными) цветками, собранными в своеобразные зонтики-метелки.

на ноги, а нельзя было терять устойчивость и уже нельзя разделиться. Ее называли моей невестой, и я принимал это со спокойной серьезностью. Затем она вдруг исчезает из памяти, не оставив даже имени, и двор делается ареной страсти: с мальчиками мы играем в бабки¹³. Язык, приспособленный только к домашнему, обогащается новыми словами – гнёздами, битками, свинчатками, гвоздырем, – гораздо больше слов, чем знает даже мама. В начале игры мы конаемся, подкидывая бабки, и мой панок (боевая бабка) ложится жохом, конкой, плоцкой, ничкой, и от этого зависит, кому начинать. Играли в поджошку, в пристенок, в краснокудак, игры азартные, и мне случалось проигрывать начисто и стоять, гордо сдерживая слезы, и потом, вернувшись в дом без единого гнезда, чувствовать себя глубоко несчастным. Длинной грабелькой крупье забирает золото или костяшки, одним подбрасывая, других оставляя ни с чем. Бритая и будто бы равнодушная рожа ставит кучки на номера и на дюжины; потерявшая облик крашенная дама пытается красное и черное, брошен шарик на бесшумную вертушку, и вы следите за его потерявшим всякий смысл бегом, потому что последнее поставлено и бесславно уплыло и теперь только приходится играть в бесстрастие, чтобы затем, зевнув правдоподобнее или взглянув на часы, уйти с приличным спокойствием. Никакое небо не улыбнется, и не прольется ни золотой, ни серебряный дождь, и еще много сложностей, может быть унижение, гадкое до отвратительности, но только потому, что судьба против вас, а сама страсть жива, свернулась комочком и рада в любую минуту снова расцвести и увлечь. Мать не догадывалась о моих переживаниях, иначе ее объял бы ужас; а я подкапывал для предстоящей писательской жизни понятие о взлетах, падениях, о страсти и катастрофе, о чете и нечете, о пресности маленьких и ровных мещанских благополучии. Нужно было прожить сто тысяч чертовских русских лет, какие прожило одним духом мое поколение, чтобы усомниться даже в игре, даже к ней стать равнодушным, хотя все же менее, чем ко всему другому.

¹³ Автор вспоминает терминологию дворовых игр своего детства: бабка - кость надкопытного сустава ноги у животных; гнездо - общее количество бабок на кону (партия игры) или у игрока; панок - бабка, которой бьют (отсюда гвоздырь - от "гвоздить", т. е. сильно бить), боевая битка, для тяжести заливалась свинцом (свинчатка); конаться - определять очередность участия в игре; поджошка (правильнее: поджежка), пристенок (от "пристенять"), краснокудак (иначе, по Далю, катушки) - разновидности игры в бабки.

Но и теперь, если бы сумасшедший мир попросил меня устроить наконец его судьбу, как мне кажется лучшим, – я бы предложил ему сыграть в орла и решку: по крайней мере разом!

Но может быть, игорная страсть была у меня в крови. В какие времена, в какие исторические периоды Русь, Россия и СССР не горели игорной страстью: в кости и в зернь при Грозном¹⁴, в фараон при Катерине¹⁵, в банк при Александрах, в железку по обе стороны гражданского фронта в 18–20 годах, в шахматы и ныне и присно? Дома у нас по воскресеньям играли в херсонский вист, в преферанс и классический винт: отец, мать, Марья Павловна и барон Зальц, председатель суда, огромный человек, куривший сигары. Мать играла осторожно, отец безнадежно, Зальц плохо, Марья Павловна всегда на выигрыш и потому вечно бранилась. По углам ломберного стола стояли подсвечники, пепельницы, лежали очиненные мелки, а после роббера зеленое сукно вытиралось тряпочкой, намоченной в водке. Брат играл с сестрами в короли, нянька учила меня играть в зеваки. Если мать ремизилась, что случалось очень редко, то весь стол пел: «Вот опять угобжена¹⁶ – Андрей Федрыча жена!»; а когда у Зальца на руках предвиделся шлем, его лицо так наливалось кровью, что не требовалось и заявки. Играли с двенадцати часов дня, в четыре обедали (гусь всегда с яблоками, а индюшка с брусничным вареньем), а кончали к десяти вечера, когда детям пора было спать. Играли на малые копейки, вкладывая в игру страсть на миллионы. Играли во всем городе, в каждом доме, и в редкой квартире сквозь опущенные гардины не сквозили две свечки. В кухне Савельевна играла с дворником в подкидные дурачки и в акульку. Не было в те времена ни радио, ни кино, ни публичных лекций о путях России; сейчас все это есть – и играют в бридж, презренное искажение старого, благородного винта. Разница одна: в те времена не возводили отличной карточной забавы в науку и не писали о ней умных книг, а пики ласково называли пикандряшками.

¹⁴ По книге знатока исторического быта русского народа М.И. Пыляева "Старое житье" (СПб., 1897), "зернь небольшие косточки с белой и черной сторонами. Выигрыш определялся тем, какою стороною упадут они, будучи брошены".

¹⁵ Здесь и далее: банк, вист, преферанс, "железка", винт, подкидные дурачки, акулька, короли, зеваки и т. п. - азартные карточные игры.

¹⁶ От старорусского "угобжати" - в значении одарить, наделить.

В лице этих ближайших друзей и партнеров моих родителей вторгался в наш домик внешний мир; сверх того, он появлялся под личиной портнихи, прачки, сапожника (готовой обуви не носили, да и была ли она?), почтальона и доктора Виноградова, который приглашался только в серьезных случаях, а обычные болезни мать лечила липовым цветом, клюквенным морсом, спермацетной мазью, паутиной, касторкой и каплями Иноземцева, справляясь в домашнем лечебнике. И были еще два явления, отражавшие для меня загадочность внешнего мира: водовоз и судебный курьер.

Водовоз был настоящим и изумительным зимой: летом мало замечался. В большие холода (а они доходили у нас до сорока градусов) в ворота въезжала обледенелая лошаденка, тащившая на обледенелых санях такую же бочку, а сбоку шла совершенно твердая, такая же ледяная, не вполне человеческая фигура в тулупе, которая от сильного удара должна бы разлететься со звоном на куски: но ноги и руки у человека почему-то продолжали двигаться. Его голова была обвязана тряпками поверх шапки, весь мех которой, как и борода человека и его усы, превратился в белого ежа, растопырившего колючие сосульки. Навстречу ему, тоже обвязанная, но мягким, выходила с ведром Савельевна, и тогда ледяной дед, не сгибаясь, влезал на сани и стеклянным огромным ковшом, не имевшим никакой формы, вычерпывал из верхнего стеклянного отверстия бочки густую воду со льдинками и звонко лил ее в принесенное Савельевной ведро, а она, одной рукой подобрав юбки, другую с ведром отставив крутой дугой, шершавила валенками по снегу к сеням, где стояла кадка для воды. Я, укутанный башлыком так, что только для глаз оставалась мохнатая белая щелочка, смотрел через эту щелочку на водовоза, и он, вместе с бочкой и с лошадьёю, казался мне единым целым, отлитым изо льда, так что было необъяснимо, как он может шевелиться. И ещё смотрел на чёрные глаза лошади, тоже окружённые иголками, и на ее седую бороду, окатываемую двумя струями пара, выходявшего из ноздрей. Между лошадьёю и человеком разница была только в том, что лошадь стояла на четырех ногах и у нее был хвост, облитый выплесками воды и похожий на расколотое берёзовое полено. Как ни был величествен водовоз, но никогда в обычных детских думах я не мечтал стать таким же; иное дело – судебный курьер, ежедневно приносивший отцу бумаги.

У курьера были светлые пуговицы и фуражка с цветным околышем. Он представился мне исключительно изящным человеком и очень важным. На кухне он не стоял, а садился и громко разговаривал с Савельевной, которая тоже его уважала. Няня здоровалась с ним за руку и звала его по имени и отчеству. Я спрашивал мать, почему курьер не приходит по воскресеньям играть в карты; она ответила как-то уклончиво и недостаточно понятно. Я знал, что мой отец, барон Зальц и курьер – это и называется судом, где делают арестантов. Но окончательно меня завоевал курьер в день моего рождения, когда он доказал свою способность летать по воздуху. Отец меня любил и баловал – самого маленького из детей. К именинам, к рождению, на Рождественскую елку я получал от него самые замечательные подарки, всегда те самые, о которых мечтал и проговаривался. Однажды перед моим рождением отец уехал на «сессию» – куда-то в уезд кого-то судить; так бывало раза два в год, и его отсутствие продолжалось подолгу, так как поездки были дальними, на лошадях по огромной нашей губернии. И хотя я не был корыстным, все же день рождения без отца терял большую долю приятности. И вот, помню, в самый день утром, часов в девять, меня вызвала Савельевна в кухню, где оказался отцовский курьер, вручивший мне большой пакет, будто бы только что привезенный им от моего отца. В пакете были подарки: альбом для рисования, краски, цветные карандаши. Было приятно, хотя я в этот раз больше мечтал о коньках и лобзике для выпиливания. Ровно через час опять пришел курьер с новым подарком от отца: это был лобзик, к нему пилки, дрель и тонкая ольховая доска. И это опять послал отец из своей «сессии». Еще через час у меня были молоток, стамеска, буравчик, подпилочек и отвертка, все нашитое на картонном листе, и каждый раз курьер говорил, что «папенька кланяются и спрашивают, понравился ли подарок». Подарки мне очень понравились, но я не понимал, как же это так курьер все время ездит к отцу и обратно, а говорили, что это очень далеко, двое суток езды на санях. Я его об этом спросил, и он мне подтвердил, что на санях действительно суток двое, не меньше, но что он летает на крыльях прямым путем без объезда, как ворона, туда-обратно без минуты за час. И действительно, еще через час он привез мне деревянные коньки с острой железной полоской, такие, что можно их подвязывать под валенки и кататься – хочешь, по льду, а то и по

снегу. Мать слов курьера не подтвердила – она никогда меня не обманывала, – но посоветовала мне спросить папу, когда он придет, как он присылал мне подарки. В этот день мои руки были изрезаны, истыканы, провинчены и распилены; из большого пальца, особенно сильно пострадавшего, была сделана белая куколка, и катанье на коньках было отложено до завтра.

Не помню, была ли у меня игрушечная лошадь; вероятно, была. К сожалению, были оловянные солдатики – гнусная игра, развращающая детское сознание: с тем же успехом можно дарить виселицы и гильотинки. Но ничто не увлекало меня так, как плотничество, столярничество, выпиливание – всегда под отцовским руководством; он же приучал меня к уходу за растениями, и, при тамошних морозах, у нас был дома устроен «зимний сад»: большая комната в два света, в ней пальмы, фикусы, лимоны, кактусы, много цветущих растений. Что привито в детстве, то остается на всю жизнь, и я не очень затруднился бы стать Робинзоном: ничего, по-моему, кроме удовольствия!

Я научился читать пяти лет и в семь сам прочитал изумительнейшую книжку «Робинзон в русском лесу»¹⁷; автора не помню, но лучшей детской книжки не было никогда написано. Она меня завоевала и заполнила целиком мое детское сознание. Все это, конечно, хорошо, все эти благородные английские мальчики, лорды Фонтлерой¹⁸, принцы и нищие, хижина дяди Тома, особенно твеновские Томы Сойеры и Геккельберри Финны, увлекательно, забавно, полезно, но все это появилось потом и было выдумкой, тогда как русский Робинзон со своим приятелем жил в лесу где-нибудь поблизости от нашего города или от деревни Загарья, а уж если по совести говорить, то это был я сам, хотя и до слез было жаль расстаться с матерью, отцом, няней, Савельевной, курьером и

¹⁷ Речь идет о популярном в конце прошлого века произведении для детей О. Качулковой, выдержавшем несколько переизданий. В советское время книга не выходила очевидно, в силу "классового подхода": заблудившиеся в лесу герои сверстники, но помещичий сын Сергей Александрович именуется Робинзоном, сын же дворовых Вася как бы и вовсе не берется в расчет, довольствуясь ролью своего рода дядьки при барчуке. Впрочем, сословные отношения не помешали зимовавшим в лесной хижине мальчишкам собирать ягоды и грибы, сеять рожь, отбиваться от волков, шить себе теплую одежду и т. д. (см. соответствующий пересказ в тексте Осоргина).

¹⁸ Лорд Фонтлерой - герой одной из самых популярных детских книг рубежа веков "Маленький лорд Фонтлерой" (в иных изданиях - Фаунтлерой), принадлежащей перу американской писательницы Френсис Элизы Бёрнетт (1849-1924).

водовозом. Это я выстроил хижину и частокол от волков, и я сеял рожь, собирал и сушил грибы и делал зарубки в лесу на деревьях, отыскивая путь к жилым местам, хотя мне совсем не хотелось возвращаться домой. Какая красота в этом сожителстве с лесом, какое счастье делать все своими руками, быть полновластным хозяином неизвестного мира, смело противостоять опасностям, создавать все из ничего! И когда мальчики выбрались из леса, где прожили, кажется, несколько лет, я им не завидовал: я бы предпочел там остаться навсегда. Я и сейчас отдал бы в обмен на их хибарку и их затерянность – пять частей света и в придачу библиотеку стариннейших книг, но с условием, чтобы никогда над моей головой не пролетал аэроплан и чтобы не проник в мою медвежью глушь даже обрывок газеты. И я, конечно, не возьму с собой мирового сыщика и сплетника радиоаппарата. Лишь одно неперемное условие – моему Робинзону необходим русский северный лес, со снегом, медведем и рыжиками.

Одна из моих временных хижин помещалась под отцовским письменным столом, но это было раньше, чем я прочитал замечательную книжку. Стол был приставлен к стене, так что получалось убежище, крытое и очень удобное. Ноги отца мне нисколько не мешали, и мои, вероятно, мешали ему гораздо больше. Ковер был мягким сиденьем, корзина с сорной бумагой – предметом жилой обстановки, а никаких дел и развлечений не требовалось: я просто мечтал. О чем? Дети мечтают иначе, чем взрослые. В их мечтах нет определенных, ясно обрисованных желаний, они не облакают их в единый образ будущих ощущений. Мечта ребенка – сложное из отзвуков пережитого его предками и дальних предчувствий будущего, она нереальна и по преимуществу музыкальна, слагаясь из шорохов, голосов, дыхания, донесшегося лай собаки, звякнувшего блюдечка в столовой, – всё это ловится ухом и рождает гармонию и образы. Мы свои мысли думаем и придумываем – ребёнок свои допускает и видит, сам им ничем не помогая. Большой письменный стол отца превращается в пещеру, размытую в скале вытекавшей из нее подземной речкой, и волосатый человек вползал в нее осторожно, не задев отцовской ноги и опасаясь натолкнуться на пещерного медведя; здесь он доглядывал вчерашнюю кость убитого камнем утконоса и при первом извне донесшемся шорохе заползал вглубь, впотьмах пробираясь по руслу речки до каменного уступа, кончавшегося

площадкой. Осколком сталактита он рисовал на стене изображение самого страшного зверя, и это было для него необходимостью, зовом искусства, а не поисками Бога, как объяснит потом его ублюдочный потомок. Журчанье речки было для него чудом музыки и сливалось с его сонным храпом. Исчезнув в прошлом, он переносился в будущее, над его головой шуршали страницы отцовских деловых писаний; от сорной корзины пахло окурками высыпанной в нее пепельницы. Стараясь не глядеть на подсудимого, свидетели хмуро утверждали, что слышали угрозы и видели, как парень шатался вокруг деревни, а тетка слышала и крик убиваемого, и, когда присяжные, недолго посоветовавшись, представили свое заключение, арестанта увели обратно под свод тюремной камеры. Потом, миновав заставу с орлами, он шел в кандалах по широкому тракту, и по обе стороны стенами стоял хвойный лес. Наклонившись, отец спросил: «Ты что там делаешь, Мышка?» – но Мышка не отвечал. Сильно хлопнула дверь, шаги умолкли, лампочка, заключенная в клетку, еще качалась под потолком над койкой, хлопанье дверей в камерах все отдалялось, и Марк Твен, поля которого были исписаны карандашом, рассказал любознательному газетчику, что у него был брат-близнец, и их обоих купали в ванне, и один из них утонул, так что до сих пор не известно, который именно, он или его брат. Чиркнула спичка, осветив уголок пещеры, и ее своды раздвинулись, а наверху, в проломе базилики Константина¹⁹, на римском Форуме, заголубело небо. Я сидел на камне и слушал звуки города; в этот час на Форуме туристов не бывает, они обедают по отелям, и это – лучший час для созерцаний и ухода в себя. Но сильно затекла согнутая нога, пришлось протянуть ее по ковру, а рука отца нащупала мою голову и потрепала за хохолок на затылке, который никакой помадой не примазывался. В Августеуме, тогда еще не перестроенном, Сафонов²⁰, без дирижерской палочки, пальцами и

¹⁹ Здесь: базилика Максенция, называемая так по имени затеявшего ее строительство римского императора Максенция М. Аврелия (окончена в 315 году Константином) - один из выдающихся памятников мировой архитектуры, среди прочих подобных сооружений (базиликой римляне называли торговый или судебный зал) выделялась своими исполинскими размерами.

²⁰ Василий Ильич Сафонов (1852-1918) - пианист, дирижер. Много гастролировал за рубежом, где выступал в лучших концертных залах. Обладая отточенной мануальной техникой, ввел в музыкальную практику дирижирование без дирижерской палочки.

кулаками управлял оркестром, который играл симфонию Чайковского, и я страдал, что слушаю ее в чужой стране. Когда же закрыл глаза, о борт парохода, шедшего с потушенными огнями, стали ударяться волны монотонной восточной музыкой, хотя мы шли к берегам Норвегии. Потом была крыша также мерно стучавшего поезда, и это длится очень долго, мелькает много границ, пока, свернув из улицы в улицу, я не оказываюсь перед низеньким домом с мезонином и шестью окнами. Я прижимаю к стеклу нос, он сплющивается, и я вижу в комнате стол, за столом сидит и пишет человек с небольшой бородой. В комнате облака дыма от папиросы, тихо и уютно, и я опять вползаю на четвереньках и устраиваюсь под столом на излюбленном местечке, под защитой больших ног в спальных туфлях, чтобы обдумать впечатления поездки по многим странам, о которых никогда не слышал, так как я очень маленький и мне предстоит пережить и отца, и мать, разливающую чай, и этот дом, и этот город, и эту страну, и даже эти строки. Тогда я поворачиваю валик пишущей машинки, вынимаю исписанную страницу, присоединяю её к накопившейся стопочке и, встав, с утомленным удивлением смотрю на полки книг, на громоздкие словари, на свои большие руки и на дверь, в которую я выйду, и тогда все исчезнет. Что-то я позабыл, или что-то было упущено. Да, это – когда Марк Твен показал журналисту висевший на стене портрет мальчика, может быть его собственный, и сказал: «Бедный Вилли!»

Другой конец улицы, как я сказал, уходил к соборной площади на крутом берегу Камы. С этой рекой в моей памяти связано лучшее, что в жизни было, хотя та вода ушла в море и возвратиться не может. В половодье она на много верст заливала дали, и по торчавшим из воды верхушкам деревьев можно было дойти до горизонта. Люди, дома, плоты становились маленькими и бессильными, случайным мусором, не попавшим в течение, а на небе не хотел остановиться ледоход облаков. Показав свое величие и свои возможности, вода начинала медленно сбывать, возвращаясь в берега, и на ней появлялись пароходы и лодки, на нашем берегу закипала жизнь для всех, кроме тех, кого привозили на тюремных баржах, выгружали на берег серыми стадами и выстраивали в поход – в сибирскую каторгу и ссылку. Их собирали по всей России, не согласных быть такими, как все, и не нарушать тысячи статей и параграфов, записанных в толстых книгах отцовской

библиотеки. Из этих книг я делал иногда железную дорогу, раскладывая их в ряд по полу из комнаты в комнату длинной полосой и шагая по переплетам так, чтобы ни одного не пропустить. В молодости мой отец был деятельным участником судебных реформ, и в жестяной коробке, где лежали его прокуренные мундштуки и трубки, старые перочинные ножики, куски столярного клея, цепочки, кремни, отбившаяся от стада костяная шахматная королева, компас, лупа, шампанская пробка, медные гвоздики и еще много прекрасных вещей, можно было отыскать и два наградных креста с какими-то датами шестидесятых годов, и их он держал в футлярах и берег, тогда как его Анны и Станиславы²¹ валялись в общей куче забавных и ненужных предметов. Он никогда не носил никаких орденов и называл их коровьими колокольчиками. Он был чиновником в провинции, потому что был отцом пятерых детей. У него было имение, которое он отдал старой матери и сестрам. По своим общественным взглядам он оставался шестидесятником-либералом, и в дни Александра Третьего это пресекало карьеру. Он всю жизнь рвался к земле, но не как к реальному, а как мы, нынешние, рвемся к возврату на родину, которая тем милее, чем недоступнее. То, что он рассказывал мне, маленькому мальчику, о наших уфимских землях, о степях, о Бугуруслане, о рыбной ловле, о перелёте птиц, я даже не всегда и не целиком понимал и понял только взрослым, понял, что отец рассказывал это самому себе, будоража свои воспоминания и свою любовь к родной ему с детства природе. Когда я стал хорошо читать, – но еще до гимназии, – он подарил мне сочинения Аксакова²², и посеял моему любимого писателя, пред русским языком которого я благоговею. Это были мои первые настоящие

²¹ Ордена Российской империи, уже низшие степени которых (4-я для ордена св. Анны и 3-я для ордена св. Станислава) давали право личного дворянства.

²² Имеется в виду полное собрание сочинений Сергея Тимофеевича Аксакова (1791-1859), вышедшее в шести томах незадолго до описываемых событий (СПб., 1886), "Багров-внук" - "Детские годы Багрова-внука", автобиографическая повесть писателя, продолжение его "Семейной хроники" (с. 504). М.А. Осоргин, приходящийся родственником С.Т. Аксакову, высоко ценил писателя-классика, до конца своих дней считая его "единственным в своем роде и непревзойденным мастером русской речи". Многие сюжетные мотивировки осоргинского "Детства" прямо восходят к воспетой Аксаковым сердечной атмосфере родового гнезда, где человек и природа, дети и родители жили в гармонии и согласии.

большие книги – на смену «Робинзону в русском лесу». С Аксаковым мы были в родстве, и это, конечно, повышало мой интерес к «Багрову-внуку». И хотя я был сыном великой Камы, но с детства равнял с нею в святости имена Дёмы и Бугуруслана, конечно – несравнимых с ее величием. Дёму я увидел в тот год, когда отец, выполнив свою мечту (а ведь все это было так трудно!), поехал на родину первый раз после многолетнего отсутствия и взял с собой меня. Мне хочется рассказать об этом дальше – сейчас мысль связана Камой. Тут между нами может начаться взаимное непонимание, потому что я не могу представить себе большую реку иначе, как живым существом не нашего, чудесного измерения, пожалуй – как божеством. Тут и впечатления детства, и позднейшая тоска по сладким водам, и, конечно, самовзвинчивание: вместо простой беседы – пенье. Но я готов идти даже на насмешку – а любви не изменю. И вот Кама для меня как бы мать моего мира, и уж от нее все пошло, и реки меньшие, и почва, на которой я стою. Я допускаю, конечно, что существуют реки еще более великие, – как существуют у других семей свои предки; таковы сибирские реки для сибиряков. И это мои ближайшие родственники и мои единомышленники. И мое семя вычерпано с илом со дна реки Камы, и потому я северянин, блондин, всебожник, поэт, анархист и старовер. У нас, людей речных, иначе видят духовные очи; для других река – поверхность и линии берегов, а мы свою реку видим и вдаль, и вширь, и непременно вглубь, с илистым дном, с песком отмелей, с водорослями, раками, рыбами, тайной подводной жизни, с волной и гладью, прозрачностью и мутью, с облаками и их отражением, с плывущими плотами и судами и с накипью и щепочками, прибитыми к берегу. Воду, которую мы отпили и в которой до локтя мочили руку, перегнувшись за борт лодки, – мы эту воду потом пьем всю жизнь, куда бы нас судьба ни забросила, и подливаем ее для цвета, вкуса и сравнения и в море, и в горное озеро Неми близ Рима, и в священный Иордан, и в Миссисипи, и в светлый ручей, и в Тихий океан, и в Рейн, и в каждую европейскую лужу, если в ней отражается солнце. Это очень трудно объяснить и еще труднее понять, если иной человек сотворен иначе и водою не крещен. Ведь вот все живое вышло из океана, мы это знаем, а многие ли это могут чувствовать? Моя мистика связана с моей рекой, и потому я не могу просто рассказать, что вот таковой она,

река, была для меня в детстве, а потом я купался в других водах, и вот остались воспоминания, – это все не то, тут ни при чем и возраст, и прожитая жизнь, и я посеючас покачиваюсь в душегубке на мертвой зыби, и в борта лодки хлюпают камские струи, а небо надо мной шатер моей зыбки, и я, уже старый, все еще пребываю в материнском лоне, упрямый язычник, и плыву, и буду так плыть до самой моей, может быть и несуществующей, смерти. В этом чудесном слиянии со стихией я слышу все, что происходит в воде: веселый визг стрелками мелькающих уклеек, тяжёлый храп столетней щуки, шелканье клешней тёмно-зелёного рака, хохот резвящихся пескарей, пересыпанье песчинок, – а надо мной, в высоте, степенный разговор кучевых облаков, караваном возвращающихся из ночной подзвездной прогулки. У моей лодочки было своё название, я сам её красил и смолил, она ничего не боялась: ни пароходных валов, ни пребывания над бездной, ни окрика с надвинувшихся плотов, ни потери вёсел, – потому что я сам бросил их за борт, чтобы, испытывая судьбу, подгрести к ним голыми руками, а в стальной воде мелькнул кольцом огромный угорь, похожий на змею. Верстами тремя выше по течению был дикий островок, на нём кустарник и много птиц, и в девять лет я мечтал о том же, о чём мечтаю сейчас, – о жизни без тени несвободы, об оазисе без прав и обязательств, о такой точке земли, где солнце заменяет часы и достаточно одного своего голоса. Вытащив на отмель лёгкую лодочку, я насквозь пронизывался счастьем Робинзона и шел заново исследовать свой мир, хотя знал его достаточно. На острове всегда было прохладно, даже в самый жаркий день, и было жутко до сладости, без города, без людей, без моста в прежнее, по которому можно было бы вернуться бегом под отчий кров, – от жилого меня отделяли речные бездны. Я приплывал сюда ради этой жути, которую нужно было преодолеть, глядя на жизнь незнакомых с нею птиц, купавшихся в нагретом песке. И когда я возвращался к оставленной лодке, чтобы плыть обратно, это было все равно что в горах подойти к самому краю пропасти, заглянуть в нее, потом зажмуриться и склониться над бездной. Столкнув лодку в воду, я не успевал лечь на дно, как прибрежные кусты уже прощально убегали, а птицы становились маленькими точками. Лежа навзничь, я плыл теперь по небу на самолете, – еще не было тогда никаких самолетов, кроме рассказанных в сказках. И я снижался только тогда, когда доходил

до ушей шум города или стук паровозных колес. Вдруг став благоразумным мальчиком, я садился за весла и с середины нашей огромной реки, как с холма, скатывался к населенному и деловитому городскому берегу.

Продёрнув цепь в кольцо и защёлкнув висячий замок, я чувствовал большую усталость – от солнца, от ослепления водой, от впечатлений. Дорога на крутой берег. Первые шаги просты – как детство; круча начиналась дальше, и, чтобы не идти в обход, по дороге, я взбирался по тропинке, вытоптанной на подъеме ногами молодых. В глазах бельмами прыгали блестки воды, ладони щемило от весел. На самом верху ждала навозная пыль набережной: вот мы после сказок вступаем в самую обыкновенную, рассказанную и затасканную жизнь. Здесь она несложна, но будет утомительнее в других городах и свяжется с ними в путаные узлы, будут знакомые и незнакомые улицы, люди разных одежд и языков, новые реки и притоки рек, остатки истории, заваленные новыми наслоениями событий, огненным вихрем будет сметать людей, и все это совершенно не нужно. В объезд крутизны тянется обоз ломовиков, увозя с пристаней чайные цыбики, свертки рогож, ящики с надписью: «Верх», «Осторожно»; мостовая булыжная, балаганы с золотой воблой, мылом, лаптями, сухарным квасом и кислыми щами; и есть и будут еще портовые набережные с вереницей кабачков, шатающимися матросами, афишами на чужих языках, гудящей толпой, запахом моря и пота, чередуются города севера и юга, белая и черная кожа, светлые и темные глаза, блеск магазинов, вывески банков, театры, человеческая икра в колясочках, газетные киоски, гарь войны, груды и завалы ничем не оправдываемых человеческих страданий, камерная музыка, деланная улыбка знаменитостей, сутолока быта, проповеди, международные выставки все это впереди, но без всякой передышки, сейчас же, за поворотом улицы провинциального русского города, спящего в передней культуры, пыльного, играющего в преферанс и винт с прикупкой и гвоздем. Ради всего этого неразумный мальчик расстался с лоном полноводной родной реки, с островком своих настоящих владений, с обществом птиц и чистейшим золотом незапылённого солнца. Дорога домой идет мимо почты, через тополевы театральный сад, минуя гимназию, которая уже в будущем году начнет свою дубильную работу: выколочит детское чувство, вобьет на смену латынь, таблицу

умножения, растлит обрывками ученой лжи и пустит по миру нравственным нищим, рабом в колпаке царя природы. Ближайшей осенью я на приемном экзамене не сделаю в диктовке ни одной ошибки, и учитель русского языка, дохнув табаком и водкой, скажет: «Молодец, будешь писателем!» – кони взовьются, и колесница жизни помчится по ухабам, пока не окажется, что это были только розвальни, влекомые караковой клячей. Сразу, из трех великих стихий: земли, воды и воздуха – в неверие серого и наскучившего быта. И, вычеркнув написанное наудачу будущее, опаленный солнцем, с порванными коленками, я возвращаюсь домой, и мать облегченно вздыхает: «Боюсь я этих твоих катаний!» Я говорю: «Знаешь, мама, я видел в воде огромного угря, совсем как змея!» И она ласково старается пригладить мой непокорный вихор. Скоро из суда вернется отец. Как хорошо, что всего остального еще не было!

Самое главное в моём детстве – мой первый дальний выезд, – не пытаюсь объяснить, почему в нем нет нужной отчетливости. Мне кажется, что мы дважды были с отцом в Уфе, на протяжении двух-трёх лет; но иногда память уверяет меня, что он умер в первую поездку, едва увидев свой родной город. Все равно: он не повез меня в наше имение, о котором много мне рассказывал. И тогда, и теперь в моем представлении все эти любимые отцовские места стали картинами из детских лет «Багрова-внука», знакомыми мне до мелочей. Каждый сам создает свой рай, и мой был создан в полном согласии со страницами Аксакова, – но с прибавкой и своего, ранее облюбованного и возведенного в святость. В Каму влилась Белая, в Белую – Дёма, а к елям, пихтам и прозрачной аскетической лиственнице прибавились необычайно могучие буки и вязы оренбургского и уфимского края. Я так вчитался в «Семейную хронику», что не всегда мог сказать, что случилось со мною и что с тем мальчиком, родившимся при Екатерине, который лишь на 65-м году жизни стал писателем и день за днем записал впечатления раннего детства. Мой отец казался мне милым добряком, женатым на блестящей уфимской красавице, молчаливо страдавшей в степной глуши и давшей мне жизнь. С ними я, еще ни разу не побывав дальше деревни Загарье, уже давно мысленно совершил все дальние поездки из симбирской вотчины в угодыя и приволья башкирцев Уфимского наместничества, из Казани в новое Багрово, с переправой на «посуде» через Каму повыше Щурана,

лошадьми на Татарский Байтуган. Я помнил имена местечек, где такой же, как я, мальчик гуливал или уживал рыбу, – Антошкины мостки, Малую и Большую Урему, Потаенный колок и Кивацкий пруд; и когда я действительно увидел Уфу и закинул удочку в воды Дёмы, все это было мне давно знакомым и родным, и я не удивился, когда отец повез меня показать своим родственникам и их фамилии оказались хорошо мне известными по аксаковской книге. Мне особенно было памятно и приятно, когда погладили меня по голове старики Нагаткины, потомки тех, которые с такой лаской отнеслись ко всеми затравленной матери Багрова-внука, – но мне они, конечно, казались теми самими, все еще живыми и по-прежнему добрыми, а когда я вел под ручку к столу крошечную, сгорбленную старостью мою родную бабушку, родом Осоргину, фамилия которой позже присоединилась к моей родовой, – я помнил, на каких страницах любимой книги встречалась мне эта фамилия, как и фамилия моего отца.

По Каме мы плыли ранней весной, когда с двух берегов доносились соловьиные хоры, – но и в хоре каждый соловей пел свое и для себя. В Пьяном Бору, где пересадка на Белую, пробыли сутки на пристани, ожидая бельский пароход. Здесь, опять как «тот мальчик», я с увлечением ловил рыбу, бросавшуюся целой толпой на едва задевшую поверхность воды наживку; передо мной на много верст расстилалась гладь изумительной Камы, а на крутом берегу гудел бор. На реке Белой даже в эту пору были песчаные перекаты, и, пока облегчали и перетаскивали пароход, мы с отцом проходили целые версты берегом, где я десятком детских объятий вымерял толщину древесных стволов у нас, в лесах хвойных, таких гигантов не было. В Уфе нас ждала цветущая сирень, которою был напоен воздух по течению реки. Отец был счастлив и показывал мне, потерявшемуся от новых впечатлений, все, что он любил и знал, и теперь все это я также знал и любил по-настоящему, а не только по книжке. Но все-таки в детском моем сознании так спутались картины этого первого путешествия, что я вижу себя только урывками, не отдавая себе полного отчета, в какой приезд я видел это и этих и в какой-то и тех. Мелькнул и исчез старый дом моей бабушки, где мы, вероятно, жили, и на смену ему вырос дом новый, где жили семьи моих теток и где отец, простудившийся еще в дороге, скончался так внезапно, что вызванная телеграммой моя мать прямо с парохода проехала на кладбище. Тут в страницы моей

жизни впутываются черные невнятные строки: сначала шепот и хождение на цыпочках, потом в большой комнате постель, около которой я сижу на стуле с книгой, не зная о важности подошедшей минуты, потом кто-то говорит мне на ухо: «Оставь книгу, посмотри!» – и мои глаза встречаются с глазами отца, с последним, что в нем осталось живого, и дальше память моя опять теряется в мути и кошмаре тех дней. Я просыпаюсь и вижу, как на постели, уже пустой и накрытой одеялом, вдруг приподымается и садится белая фигура, я кричу от страха, и из соседней комнаты вбегают моя кузина, – постель снова пуста, а из открытой двери доносится монотонное чтение. Я опять засыпаю, и наутро комнаты наполняются людьми, мне незнакомыми, много людей на обширном дворе, и каждый человек подходит ко мне, гладит по голове или что-то говорит, и я знаю, что это потому, что умер мой отец, но мое горе и страх мой подавлены торжественностью, так что я уже не мальчик, а взрослый человек, центр общего внимания, и это заставляет меня держаться с некоторой важностью. Подходит ко мне седой строгий человек, подает мне руку и говорит, что он знал моего покойного отца еще маленьким, как вот я сейчас, и что если моя мать и сам я согласимся (он говорит со мной на «вы»), то он готов быть мне отцом, дедом и опекуном. Я расшаркиваюсь, как меня учили, и мне кажется, что все это из книжки, во всяком случае, не совсем настоящее, как и все, что кругом происходит. Того же странного старого человека я вижу позже в разговоре с моей матерью: она не может удержать слез и только отрицательно качает головой, а он тихо ее убеждает и смотрит очень добрыми глазами. Потом мать обнимает меня и громко спрашивает: «Разве ты хотел бы расстаться со мной? Ты хотел бы быть богатым?» Я рыдаю, жмусь к матери и ненавижу доброго человека и в то же время продолжаю думать, что это из книги, которую я читал, – но не помню из какой, и тогда старик почтительно целует матери руку и уходит. Все это обрывки памяти, которая проясняется только с тех дней, когда я оказываюсь в кругу множества моих кузин и кузенов, молодых и веселых, школьников и студентов, гораздо старше меня и все-таки моих близких друзей. Мать уехала, оставив меня в Уфе до конца лета. Я кажусь себе гораздо более взрослым, и моя летняя жизнь проходит между чтением и веселыми прогулками пешком и на лодках. И вот тут с необычайной ясностью я вижу огромный костер на берегу реки Дёмы – ночь, огненные дуги

бросаемых с берега в темную воду головешек, хоровое пенье, смех и прекрасное лицо кухни Манечки, в которую я откровенно влюблен и от которой не отхожу ни на шаг. У неё голубые глаза и прекрасные каштановые шёлковые волосы. И вообще я счастлив.

Такой, то жуткой, то сладкой и радостной, мути и яви полны мои уфимские воспоминанья, в которых я никогда не разберусь, да и не хочу разбираться. Полудействительные, они вразброд, цветными пятнами развешаны в картинной галерее, куда я иногда убегаю от ясных и разлинованных, аккуратненьких записей взрослой жизни. Они – как цветные шарики, подбрасываемые опытной рукой и мелькающие в воздухе скрещением забавных дуг, как переводные картинки, наляпанные в детском альбоме по системе, понятной только собственнику. Я не люблю калейдоскопа: в нём стёклышки располагаются с обязательством строгой симметрии; много приятнее коробка с разнообразными по величине и окраске, по ободкам, по количеству дырок пуговицами, костяными и перламутровыми, железными и обтянутыми материей, пухлым шариком и сплюсненной монеткой; и каждая пуговица – часть портрета того, на чьей одежде она была или будет пришита. Река Белая – действительно белая, хотя и течет в зеленых берегах. А на Дёме, в самом устье, летом застревают в песке и тине огромные коряги; в лунную ночь мы высаживались на них с лодки и располагались в живописных группах – по шесть-семь человек на одной коряге. Отмахнув рукой эту ночную живопись, я в узкой и черной лодке с уютным балдахинном подъезжаю к разукрашенной цветными фонариками небольшой барке, в центре которой стоит пианино, и между пьядеттой и островом Св. Георгия слушаю затасканную, но в этой обстановке всегда свежую серенатину, пока гондольер вертит свою сигаретку; потом мы отплываем от слишком сладких звуков в глубины и ответвления большого венецианского канала, потому что сегодня хочется чувствовать себя беззаботными туристами. Поезд пролетает над блюдами и глубокими чашками норвежских сладких вод, и горный поток сталкивает в них завернутые в кружевную пену стволы строевого леса трубочки со сливками в воде червленой стали. По лесному озеру в верховьях Камы мы стараемся не плескать громко веслами лодки, а за нами тянется крепкая бечева с оловянной ложкой, к которой припаян стальной крючок, и схватившая его непуганая рыба дергает с такой силой, что лодка вздрагивает от удара. Последними взмахами

покрасневших от холодной натуги рук мы кидаем тело к скалистому берегу, к знакомому уступу, который то выныривает, то скрывается под водой, и, если удалось схватиться, прибой уже не сбросит обратно в волны, а и сбросит – не беда, только понадобятся еще усилия в игре голубыми водами Средиземного моря, ставшего приветливым после стольких лет знакомства. И вот, отфыркиваясь и стараясь откинуть налипшие на глаза волосы, я карабкаюсь на бережок узкой, но глубокой речонки в Звенигородском уезде, таща пойманную щуку за леску, которую пришлось отцепить от путаницы корней на самом дне, – а ради этого как не броситься в воду уже взрослому человеку во всем рыболовном наряде, дорожа минутой и добычей. Это не я швыряюсь – это жизнь швыряется картинами, навороченными ею, чтобы не о чем было жалеть, когда часы начнут бить полночь и склонится фитиль оплывшей свечи. Он всегда со мной, альбом памяти, образов и выдумок. В окно его первого прочного листа вставлен дагерротип на серебряной пластинке, но я не могу разобрать черт лица и не помню, кто на нем изображен. Дальше прозрачной бумагой заклеен карандашный портрет деда по отцу, бритого, в татарской ермолке, халате и с длинным чубуком, – может быть, потому я и люблю татар, что считал татаринном своего деда, хотя он был стариннейшего русского рода, гораздо более старого, чем бабушкин. Еще дальше – ряд выцветших фотографий, много раз показанных мне в детстве с неизменным повторением: «Это папа, а это папа с мамой, а это мамы папа и мама». На пластинке слоновой кости изображена красками девочка с перетянутой талией, и тот же самый портрет я вижу на обложке книги, изданной о «вещах человека»²³ и написанной там же и тою же рукой, которая пишет сейчас эти строки. Постепенно свежеет бумага фотографий и лица становятся яснее, кринолины сменяются турнюрами и плечевыми буфами, мужские галстуки бантом вытягиваются и прячут концы за вырез жилета, появляются мундирчики школьников и фартучки гимназисток, попадают чаще люди в очках и пенсне, снятые не в рост, как старались сниматься прежде, а лишь по пояс, и далекое прошлое через вчерашнее делается близким и настоящим. И по мере того как я листаю альбом (или десять, или сто альбомов), мне

²³ По названию сборника прозы М.А. Осоргина, вышедшего в парижском издательстве "Родник" (1929).

делается дороже прошлое, в котором так путаются лица и так много глубоких провалов, – чем безупречные отметины настоящего, рассеявшегося барином на примятых и намученных плечах. Я перевожу стрелку часов на вчерашний полдень, думая этим обмануть время. Я перестал любить жизнь, – это звучит трагически и актерски, но я действительно перестал ее любить, и причин слишком много, чтобы их перечислять; главная из них – необратимость детских моих воспоминаний к имеющим уши слышать: двери на засове и обиты войлоком. Но я слишком горд, чтобы подавать жалобу в тюремное окошко. В моих детских воспоминаниях отец и мать заслоняют сестер и брата; вероятно, потому, что я был на десять лет моложе брата и на четыре – младшей сестры; между мною и ими была пустота, образовавшаяся смертью двухлетнего Вани, и я был слишком маленьким для их компании. Много соединило нас позже, уже в годы взрослости, но и это оборвалось на перекрестке дорог: моя увела меня на запад. Я помню в детстве только крашеный пол нашей залы, посыпанный тальком: два раза в зиму у нас собиралась гимназическая молодежь. Но я лишь болтался под ногами – меня укладывали рано спать. Ни тени зависти к старшим – мой мир был особым и чуждым шума: книжки, столярные и слесарные инструменты, пересадка растений под руководством отца, строительство замков ребяческой фантазии. Только одно было общим для нас всех: мелодия пенья. Отец, если не был занят своими бумагами, измышлял какое-нибудь рукоделье (иногда сложное: мы с ним заново обивали мебель, делали рамки для картин, чинили замки, мастерили резные шкафчики) и неизменно что-нибудь напевал. Мать, занимаясь хозяйством, приятным голосом пела романсы, иногда по-польски (она воспитывалась в Варшаве). Брат был по-настоящему музыкален, немного играл на рояле и обладал прекрасным баритоном при абсолютном слухе; любили петь и сестры по преимуществу что-нибудь чувствительное или русские песни. Не отставал и я, легко схватывая мотивы из опер или старинные песни, теперь уже всеми забытые, про Ваньку-ключника²⁴, злого

²⁴ Популярная в народе песенная баллада, известная во множестве вариантов. Долгое время была запрещённой, так как "затрагивала" влиятельную аристократическую фамилию: Ванька-ключник в песне назван любовником княгини Волконской, повешенным по приказу князя. "Злым разлучником" герой песни стал в тексте Всеволода Владимировича Крестовского (1840-1895).

разлучника, или про то, как «прогремела труба, повалила толпа» и как палач, блеснув топором, показал толпе «ту головушку неповинную», – не знаю, почему у нас в таком ходу были песни арестантские и революционные восьмидесятых годов; может быть, потому, что в нашем городе жило немало ссыльных и от него начинался этапный сибирский путь. Мой репертуар вольных – как говорили тогда – песен пополнился краткой уфимской жизнью, где мои старшие кузины были стриженными и на берегу Дёмы распевались студенческие песни; там я впервые был поражен перекличкой «Слушай!» в знаменитой тюремной песне «Как дело измены, как совесть тирана, осенняя ночка темна»²⁵ – ее любил напевать и мой отец, чиновник и член уголовного суда. Я думаю, что не словами, а звуками была вспахана во мне почва для будущих благодатных всходов (благодатных – это совсем серьезно!), вызревших позже в тюрьмах, ссылках, при всех режимах и всех обстоятельствах, – и так до сего дня; как обидно, что сей день – уже закатный! Если бы можно было повторять путь пройденный, я повторил бы его без колебаний, не потому, что он хорош, а потому, что иного перед нами не было и неизбежностью своей он до конца оправдан. Голосом старческим певала и моя няня Евдокия Петровна – про стоявшую во поле березоньку и про не белы-то снега; только на свой лад и своим мотивом. Отчасти эта её музыкальность была причиной того, что я, ещё четырехлетним, собирался на ней жениться, но получил отказ и ломтик арбуза с правом проглотить косточки. В третьем классе гимназии я завёл гармонию и играл на ней как виртуоз, с таким дрожанием звуков, что младшая сестра даже плакала: она очень любила вальс «Невозвратное время». Но меня не учили музыке, так как несколько хромала моя латынь.

Время, конечно, невозвратное, но плакать не о чем. Внезапно, по смерти отца, наша семейная жизнь свернулась: исчез зимний сад, комнаты стали маленькими. Брат был казанским студентом, две сестры вышли замуж и уехали. Их жизни не входят в эту повесть о самом себе. Не связанный хроникой, я крутым поворотом возвращаюсь к первым дням гимназической учёбы, к фуражке с огромной тульей и гербом, к ранцу с бело-жёлтыми разводами то ли оленьей, то ли коровьей стриженной шкуры, к длинному, на рост,

²⁵ Строки из песни "Слушай!" на стихи Ивана Ивановича Гольц-Миллера (1842-1871).

пальто, в полах которого путались ноги, к грубой шерсти башлыку, который у маленьких напяливался на фуражку, у старших, в сложенном виде, защищал только уши, а у семиклассных и восьмиклассных стариков заменялся белым, кокетливым и красивым, треугольно опускавшимся на спину, а концы висели спереди свободно – немалая вольность. Ноги зимой в глубоких резиновых калошах, хотя и в них пальцы зябли, не то что в валенках, не полагавшихся по форме. И хотя нас рядили солдатиками – сальной пуговкой, как звали нас уличные мальчишки, – и хотя обучали военной гимнастике и сдваиванью рядов, но зато не соблазняли сознания позднейшей бойскаутской дребеденью, нашивками, знамёнами, дисциплиной и девизом «Будь готов», – может быть, просто по глубоко штатской провинциальной лени. Все мы, школьники, наши родители, наши учителя, – вся страна знала, что гимназия есть необходимое зло, что в ней усердно преподается то, что не нужно и не будет нужно, и опускает все то, что может понадобиться в жизни. Мы обламывали зубы о латинские и греческие орехи, склоняли, спрягали, учили назубок исключения, старались запомнить, сколько легионов отправлено Цезарем туда-то и как протекали анабазис и катабазис²⁶; мы навсегда отпечатывали в мозгу пифагоровы штаны, генеалогию прародителей, призвание варягов, происшествия в семействе Романовых, мысы, носы, полуострова и проливы, стрекозу и муравья, с одинаковым усердием затверживали «андра мой эннепе», «не льпо ли ны бяшетъ»²⁷ и слова с буквой ять, – но, окруженные почти девственными лесами, не обязывались отличать злака от овощей и слизняков от млекопитающих: естествознание было изъято из гимназической программы, за исключением легенды о земных тварях, попарно втиснутых Ноем в его достопамятной ковчег. В нашем «физическом кабинете», где мне довелось побывать лишь раз, вращался стеклянный круг перед площадкой, сев на которую можно было ощущать, как дыбом поднимаются на голове волосы: граница наших физических познаний. В изучении российской словесности мы были прочно прихлопнуты крышкой гоголевской Коробочки, зная по слухам, что

²⁶ Отглагольные существительные (с древне-греч.), обозначающие, соответственно, восхождение, подъем и сходжение, спуск.

²⁷ "Андра мой эннепе" - начальные слова поэмы Гомера "Одиссея", данные в русской транскрипции. "Не льпо ли ны бяшетъ" - начало "Слова о полку Игореве".

Гончарова звали Иваном Александровичем, а Кольцов был прасолом. Затем нас отправляли по университетам. Но было во всем этом одно преимущество: полное сознание, что гимназия не способна ничему научить и что поэтому каждый, не желающий остаться неучем, должен учиться сам, не считаясь с программами и не обращаясь за советом к протухшим и спившимся с круга учителям. А когда к нам ненароком попал в учителя греческого языка будущий профессор истории Николай Рожков, выразившийся членораздельно, мы приняли карельскую березу марксистского лба за подлинные сократовы шишки, и немалая часть его учеников уверовала в прусского бородатого бога.

Мне было не трудно учиться; поступая в первый класс гимназии, я уже знал начала латинской грамматики, так как был подготовлен матерью. Но к одному не мог быть подготовленным в семье: к бессмыслице гимназического преподавания, и она была для меня источником великих страданий. Я легко решал арифметические задачи с многозначными числами, но столбенел и терялся, если в их условии говорилось, например, о крестьянине, купившем кусок шелковой материи в 427 аршин и 3 вершка по 4 рубля 81 копейке за аршин, из которых 1 аршин 17 вершков он истратил на кафтан, 221 аршин 1 вершок на юбку жены и остаток обменял на овес, приплатив 11 копеек, сколько пудов овса он получил, если пуд стоит 53 рубля 20 копеек? Я приставал к матери с вопросами, зачем крестьянин шил кафтан из шелка и почему так много пошло на юбку? Она старалась убедить меня, что это только так, для трудности, и что крестьянин тут ни при чем, а нужно просто вычесть кафтан и юбку из куска, помножить на стоимость аршина и разделить на стоимость овса, – но я так не мог, мне мешало лицо крестьянина, хозяина нашей дачи в деревне Загарье, зимой носившего меховую шапку, и я не мог представить себе его жену в такой огромной шелковой юбке. Когда же мы заучивали наизусть – Авраам роди Исаака, Исаак роди Иакова, Иаков роди Иуду и братьев его, Иуда роди Фареса и Зару от Фамари, – никак я не мог проникнуться святостью Евангелия от Матфея, так как невольно представлял себе нашу кошку, котят которой дворник трижды в год уносил топить. Я был очень способным дома, когда мать готовила меня к поступлению в гимназию, тем более что присутствовал при ее уроках со старшими детьми, многое запоминал и после воспринимал легко; но гимназия не только

убивала всякую жажду знания, но и развивала тупость восприятий. Помню, как однажды, не одолев какой-то юбки в 200 аршин и зубрежки грамматических исключений, я почувствовал себя глубоко несчастным, заживо замученным и осужденным на гибель человечком, лег на пол, разрыдался и так заснул. Я лежал в той яме, где арестант высосал корову, и боялся поднять голову, так как меня преследовали Иуда и братья его и хотели заставить писать мелом на черной доске, и это были древляне, которые привязали к верхушкам деревьев Святополка Окаянного за то, что он не решил задачи, и теперь хотели также разорвать и меня. Лежать было очень холодно, лодку качало, под голову забралась скользкая рыба, пальцы мои были перемазаны в чернилах, и я стал тоненьким голосом звать мать, а громче крикнуть никак не мог, что-то застряло в горле. Вдруг стало хорошо, точно пригрело солнцем; мать подняла меня, довела до постели, и я опять заснул крепко, сладко и без страшных снов. После этого несколько дней меня не пускали в гимназию и не заставляли учить уроки, – и этих дней было достаточно, чтобы вдруг все стало гораздо проще, Фарес и Зара прочно утвердились в памяти, а Святая Ольга мне даже понравилась своей замечательной хитростью, и я перешел во второй класс с похвальным листом. Вглядываясь в даль жизни, я вижу себя в Неаполе очень жарким летом, в дрянном отеле. Я приехал по делу, но еще в поезде почувствовал страшную головную боль, свалившую меня в постель. Со мной не было никаких лекарств, и не было сил поднять голову, встать и позвонить. Мигрень дошла до такой степени, что я, навалив на голову подушку, выгнул тело, напрягся и старался воткнуть голову в твердый тюфяк. Думать ни о чем не мог, но весь был проникнут ощущением своего одиночества и грядущей гибели, глухо рычал в подушки и боялся переменить положение. Потом на какое-то время я потерял сознание, а когда очнулся, боль сразу ослабела и еще через несколько минут совсем прошла. Я встал с осторожностью и боязнью, увидел, что за окном уже темнеет, почувствовал голод, – и этот вечер в Неаполе был самым приятным и очаровательным за мое долгое знакомство с нелепейшим из итальянских городов. Было поздно идти по делам, знакомых не было; я поднялся фуникулером на Вомеро, дошел до монастыря Камальдоли и смотрел оттуда на Неаполитанский залив и на город. Я совсем не был одинок, всюду горели огни, зажженные людьми, меня окружал

живой мир необыкновенной красоты, и уже в полной темноте я угадывал знакомые очертания берегов, городков и двугорбого Везувия. Радостно изумляясь своему блаженному состоянию, я уголком мозга вспомнил такой же странный переход от ужаса и кошмара к покою и ясности – это было связано с муками гимнастика и как будто пригрезившейся материнской лаской. И когда в Москве я лежал на заплеванном полу Всероссийской Чека, в так называемой конторе Аванесова, ожидая отвода для меня и других более уютного помещения, была минута, когда мне хотелось умереть от отвращения к глупому обезьяньему миру; увидав доску, лежавшую под нарами, на которых мне не нашлось места, я подложил ее под голову, заснул, а через полчаса уже улыбался, когда дородный сытый латыш, разводивший нас по камерам, на ломаном языке назвал «несознательными буржуями» меня и моего товарища, поделивших годы своей молодости между тюрьмами и эмиграцией. Нужно только немножко отдыха, немножко отдыха, – и опять можно жить и даже смеяться. Если бы, падая с отвесной скалы, мне удалось уцепиться за ветвь дерева, над ней нависшего, и тем отсрочить гибель, – я бы, думается, нашел время полюбоваться прекрасным видом на окрестности. Почему же жизнь не дает нам больше таких передышек? К концу учебного года, утомленные нелепостями и зубрежкой слов, имен, правил и формул, пропитанные дрянным воздухом гимназии, мы держали еще экзамены, проигрывая весну и лучшее молодое солнце; и все же наступал, наконец, день, когда Малинины, Буренины и Евтушевские²⁸, негодуя и раскорячившись, летели под стол или рвались в клочья и мы кубарями скатывались с обрыва к реке и докрасна обжигались на беспощадном солнце. Только три месяца каникул и были подлинной жизнью; остальное время – бездарным и злым издевательством над маленькими будущими людьми. Поразительная страна! Ее тюрьмы были образцовыми школами, рассадниками не только сознательности, но и образования; ее средние школы – во всяком случае в провинции – были подлинными тюрьмами, с восьмиклассной пенитенциарной системой. Какое плодородие почвы и какая крепость духа потребовались, чтобы эта страна, вздрогнув и потряся весь мир, не надорвала себе сердца!

²⁸ А.Ф. Малинин, К.Б. Буренин, В.А. Евтушевский - авторы тогдашних гимназических учебников и сборников задач по арифметике, алгебре и физике.

Я не присягал на верность последовательной строчке, не будучи ни отрывным календарем, ни зингеровской машинкой. Наш мозг не фильм, а светочувствительный песок, и я, взяв горсть, пропускаю его струйки между пальцами. Вспомните, что вы на днях видели во сне: школьную парту, невыученный урок. Я видел речку Егошиху, хотя она, может быть, давно высохла, и только линия смородиновых кустов напоминает, что тут была влага. Мы были усталыми старичками на уроках географии, мы стали малыми детьми в политических спорах. Детство не возраст, а настроение. После десяти лет блужданий по пятнадцати странам Европы я подъезжал на пароходе к городу, в котором родился. У самого города через Каму был переброшен оскорбительный мост. Там, где была рощица, а после – фабрика, из казарменных зданий вырос университет, на открытие которого я приехал. Молодые люди подбелили виски и важничали ревматизмом. Говоривший приветственную речь столичный профессор повернулся на каблуках к всемилостивейшему портрету²⁹, волею которого вспыхнуло на крутом берегу высокое просвещение; впрочем, он воздал честь и местному богачу³⁰, давшему на благое дело свой дом и свои деньги, как раньше он охотно жертвовал на организацию революционного террора; я знавал его молодым – теперь он был сед, но очень бодр. Он не верил ни в сон, ни в чох, ни в птичий грай, но ему нравилась сибирская вольность: через хребет Урала ее избытки перекатывались сюда. Старый терапевт, лечивший и меня в раннем детстве, показал мне сокровища археологического музея, собранные его любовью и страданием: и сасанидские блюда, и клыки мамонта. С земским деятелем мы вспомнили, как чествовали в клубе заезжего Михайловского, которого никто из чествовавших никогда не читал, но это не препятствовало уважению: человека преследовали, значит, его нужно было почтить. Университет был открыт – тому доказательство кучка безусых студентов, еще не вкусивших храма науки. И тогда я отправился бродить по городу, улиц которого не узнавал, но отмечал в памяти низенькие, еще не перестроенные дома. Тут, против театра, на площади, раньше

²⁹ Выступление с приветственной речью при открытии в Перми университета товарища министра просвещения В. Т. Шевлякова (доктора зоологии) отличалось, насколько можно судить по отчету в прессе (см.: Пермская земская неделя. 1916. № 39. 1 окт.), официальным характером и сопровождалось троекратным исполнением гимна "Боже, Царя храни!".

³⁰ Речь идет о Николае Васильевиче Мешкове, купце-миллионере, общественном деятеле и меценате.

казавшейся мне огромной, устраивался зимой каток. Губы гарнизонных музыкантов прилипали на морозе к медным трубам, у мальчиков, бегавших «гигантским шагом», свистал пар из обеих ноздрей. Я тоже умел выделывать на льду фигуры и однажды шлепнулся прямо к ее ногам: возможно, что ее звали Женей или Катенькой, точность уже не важна, если ее внук не хуже меня скользит по льду на американских коньках. Но сейчас было лето, и пух тополей устилал дорожки сада снегом, мягким и теплым. Этот пух я собирал в кучки и горки, гуляя с мамой или с няней; потом я размахивал его ногами, спеша с удочками через сад, мимо почты, мимо балаганов с золотой воблой, по крутой тропинке на берег, где у пристани привязана моя лодочка. Потом, фланируя без цели, празднуя безделье, я внезапно остановился посреди пустынной аллеи и понял, что это и есть счастье: на мне была совершенно новая, не тронутая солнцем фуражка студента. Тополя разрослись и стали огромными, аллеи сузились, люди перестали быть знакомыми, а я был несколько слишком наряжен, в черной паре, сшитой в Лондоне и пригодившейся к торжеству открытия храма просвещения. Европейец вернулся в захолустье. Вечером я был зван на пельмени в тот же самый домик на Екатерининской улице, к двум старым девам, моим сверстницам по гимназическим годам, – насквозь пронизанный поэзией родины. Я присел на скамейку, и мимо меня прошел очень серьезный и деловитый мальчик с замотанными удочками. Жизнь продолжается.

Отходя от пристани, пароход гудит совершенно так же, как и в те года. Он делает крутой поворот, так как стоял носом против течения. Берега и город, в котором я никого не оставляю, быстро пробегают большим обратным кругом, и отрывистым сердитым гудком мы предупреждаем недалнюю рыбацью лодочку; я всегда считал за честь такой сигнал, отгребался небрежно и кричал: «Ладно, проедешь, места много!» – а по проходе повертывался носом к крутым валам: лучшие качели в мире! Как бы мне найти тот прекрасный тон равнодушия и опыта, которым я, войдя в рубку, заказывал стерлядь кольчиком и в ожидании читал литографированные лекции по римскому праву? А в Пьяном Бору – две дюжины раков. Дальше – перекаты реки Белой, – но не будет ни духа сирени, ни сладости липового цвета, – не та пора. Мне предстоят деловые визиты и доклад об европейских военных настроениях. Еще ждет могила отца, которой я не найду, как не

нашел могилы матери. Ко мне подойдет незнакомый человек и скажет: «Вы помните свою кузину Манечку? Я её муж». Я помню очень молодую девушку, при которой я состоял рыцарем! «Приходите к нам сегодня пообедать». Я приехал из Рима через десять и более столиц, воюющих и нейтральных, и вот я, наконец, не на шутку взволнован.

И вдруг все кружится, взлетает и падает; вместе со всеми кружусь и падаю я. По крыше дома в Чернышевском переулке с противной монотонностью бьёт пулемет. Когда, наконец, выходят газеты, в списке народных комиссаров уфимское имя³¹. В детских воспоминаниях «кузина Манечка» освежена недавней уфимской встречей, но московской встречи я не ищу; и, однако, Москва не Тихий океан, в котором носятся щепочки, и мы встретились. Я ей сказал: «Нет, я к вам не приду, хотя всегда рад тебя видеть». Она была уже пожилой, но такой же красивой женщиной, как была всегда. Я пояснил: «Помнишь, когда я был малышом гимназистом и приезжал в Уфу, вы, старшие, брали меня с собой на Дёму, где мы раскладывали костры и пели песни. Однажды позвали к костру старика башкира, накормили его, и он пел нам свою песню. У меня на давнее прошлое такая хорошая память, что я не только мог бы напеть тебе мотив, но и слова помню, башкирские и совершенно мне непонятные. Он пел, зажмурив глаза, а в паузах широко к как-то удивленно открывал их. И был кто-то, кто записывал и слова, и мотив. Но это так, между прочим. И конечно, я лучше помню слова русских песен, которым вы меня научили, – о вольности весёлой, о славном труде; и еще тюремные песни, тоже замечательные. Между прочим, я недавно сидел в тюрьме, ты, вероятно, слышала об этом; но и это не важно. Я вообще очень благодарен вам за то, что вы меня, мальчика, научили любить свободу и ненавидеть тюрьмы и дворцы. Когда я был в Черногории, король этой карликовой страны пригласил меня к себе на прием, но я отказался. «Где вы живете?» Она ответила тихо: «В Кремле». Мы обнялись и простились; в моей памяти я остаюсь ее рыцарем. Спустя несколько лет, в Берлине, я получил городскую открытку: «Мы здесь». Но в этот день я уезжал в Италию и не мог даже ответить. Я очень любил когда-то Италию, в то время свободнейшую из стран, и остаюсь ее преданным рыцарем; но больше в ней не бываю.

³¹ Речь идёт о первом наркомпроде Александре Дмитриевиче Цюрупе (1870-1928), с которым М. А. Осоргин встречался осенью 1916-го.

Не изменять никогда детской и юношеской вере – и тогда не нужно справляться по карте, какими проселочными дорогами и тропинками пролегает путь. В книжке «Робинзон в русском лесу» мальчики испугались и заплутались, но пришли туда, куда и стремились первоначально: в безлюдную глушь, к прекрасной, полной значения жизни пионеров, детей природы, ее учеников и друзей. Она развернула перед ними свою книгу, в которой было записано все, что стоит на полках и в шкапах библиотек всего мира, и еще очень многое, что в этих книгах пропущено и недогадливо запутано: все, что было, что есть, и что будет, и что неложно. Для тысяч и тысяч людей эта истина только малопонятная фраза; они пожимают плечами, думая, что им предлагается всю жизнь есть зеленый лук, запивая железистой водой. Им, в общем, нравится чужое чудачество, но деловые бумаги не пишутся стихами; природа – это отложной ворот, гвоздика, насморк, лягушки и обратный билет; это, во всяком случае, несерьезно, даже если связано с куроводством. На неудобном столе они пишут целую стопку открыток: «Здесь чудесно! Ну, а как вы?» Ранней весной в лесу нет центрального отопления; солнце и дождь равно требуют зонтика. Радостно говоря «уввы!» – они расцветают надеждами на старые встречи и за две станции полной грудью вдыхают городскую пыль; немножко обидно, что пропустили заметную панихиду, – и жадно жуют газетный лист. Когда мой отец приезжал в деревню, мы шли с ним открывать новые родники и пили воду из резинового стакана. «Ты знаешь, куда бежит эта вода?» – «В речку». – «А из речки?» – «В Каму». – «А из Камы?» – «В море». – «Ну, а из моря?» – «Из моря куда-нибудь в океан». – «Может быть, она и добежит до океана, а может быть, просто – смотри! – И он показывал мне на облако: Вон она возвращается к нам!» И я знал и знаю, что все возвращается и снова уходит, что гибнет растение – но возрождается в зерне; что путь пролетевшей пчелы повторит другая, что вечен перелетный возврат птиц. Все, что мне позже открыли книги, что я принял из них и не отверг, – все это было раньше вышито зеленой гладью на клубничном косогоре, роилось и жило подо мхами, под древесной корой, в бесчисленных норках, прыгало по веткам, стояло звонкой песней над крестьянским полем, расцветало на воле и увядало без времени в детском кулаке. И когда на углу Никитской, в большой круглой аудитории, уверенный бархатный голос убежденно бубнил о праве, я слушал с вниманием

и думал о том, что выше всего выдуманного нами: о счастье расти на поляне свободным злаком, стремясь вверх и стелясь по ветру с другими. В дни революции площадь Казанского собора в Петербурге заросла травой, – но и раньше я собирал цветы на московской мостовой. Я видел фотографии ангорских храмов, стены которых просверлены вековыми деревьями и скрыты ползучими лианами. На римском Форуме я сидел под шестью дубами в развалине домика Цезаря; их неразумно спилили, но они прорастут в развалинах палаццо Киджи, и вырастет лес среди камней Московского Кремля, где рос он и прежде. Отец не мог сказать мне неправды: все возвращается. И детской вере я не хочу изменять.

Это было ровно полвека тому назад. Сидя у пюпитра неудобной и непривычной школьной парты, так что ноги едва касались пола, я выписывал на листе линованной бумаги слова, которые диктовал гулявший по зале учитель русского языка. Нас было много, вихрастых, серо- и кареглазых, одетых в домашние курточки и блузы, подпоясанных кушаками и цветными поясами, пришедших на первый в жизни экзамен. Кроме экзаменатора в зале сидел апатичный директор гимназии, доставал из носа малые шарики и сыпал на пол, таким я после знал его все восемь лет. Наши отцы и матери трепетно ждали где-то в соседних классах, познакомились и говорили о том, как трудно, хлопотно и дорого дается воспитание детей. Мы писали (и не забудьте – по старому правописанию), что «бѣднѣй дрѣвосѣкъ сѣяль мелки хмель в зеленомъ лѣсу мачехи, а Глѣбъ и Андрей сидѣли на ели и Блѣхлѣбъ, доколѣ имъ не объявили, что, прежде чѣмъ спуститься, имъ доведется помолиться». Нам сообщали «свѣдѣше, что женитьба лѣкаря нравится великому дѣдушке Сергѣю, занятому ведением дѣлъ въ течете шестнадцати лѣтъ. Мальчикъ Петенька вонзиль занозу в ноготь сестренки, но она не заплакала ни разу. Митенька стал клясться, что постлалъ постель одѣялом и ушелъ въ поле».* Мы узнали вообще много интересного, выраженного нужнейшими словами и самыми трудными в русской грамоте. Наконец, написав что-то про «мельницу, мѣль и ветхого Ыздока», про «кожаный чемоданъ и запеченную ветчину», мы поставили точку, и учитель отобрал наши листы с проставленными фамилиями. Я вернулся к матери, озадаченный зеленым лесом мачехи и шестнадцатилетней деятельностью великого Сергея, и мы более часа ждали решения

своей судьбы; от этого решения зависело, купят ли мне на пути домой гимназическую фуражку.

И вот, когда я припомнил и пересказал матери все продиктованные фразы, учитель русского языка вызвал меня и мою мать в залу, погладил меня по голове чернильными пальцами и, дохнув мне в лицо водочным перегаром и табаком, сказал, что я не сделал в диктанте ни одной ошибки и что я буду писателем. Мать была горда и счастлива, хотя мечтала, что я буду прокурором, я же хотел стать лесничим, но пока думал только о фуражке с серебряным гербом, в которой я вернусь домой.

И всё-таки он оказался пророком, пьяный и опустившийся человек, доведший нас от буквы «ять»³² до Стефана Яворского³³ и передавший другому, с которым мы доползли до Собакевича. Я не сержусь на них, ничего нам не давших: мы сумели пойти своей дорогой и уже читали Белинского, когда крестик в учебнике словесности ещё не запятнал страниц, посвященных Ломоносову. Мы лениво слушали то, что нам говорили, и легко угадывали все, что замалчивалось. Не сделавшись лесничим, я остался сыном северных лесов, полжизни прожившим в кислоте средневропейской и южной природы, но не изменившим очарованьям детства. Став писателем, я не написал ни одной книги, где бы символ моей веры не был высказан языком лучшего и единственного учителя моей юности – русской природы, – в тех пределах, в каких мне этот язык доступен.

И эти строки случайных и беглых воспоминаний – только поклон той же далекой стороне: небу, воде, лесам, красной гвоздике и душистому майнику; людям, там жившим и живущим; духу вольности, который вернется, как все приходит, уходит и

³² Ять - одна из четырех букв русского алфавита, изъятая из употребления согласно Декрету от 10 октября 1918 г. "для упрощения орфографии". Многие выдающиеся литераторы того времени выступили против подобной реформы. К. Д. Бальмонт даже написал сонет "Гонимым", где каждой из утраченных букв посвятил прочувствованные слова. В частности, про "ять" там было сказано:

Изменчивого Е расцвет и скрепа,
Лицо в лицо, глядит на честных Ъ,
Того лишь варвар не сумел понять.

Осоргин с заметной теплотой вспоминает о былой традиции правописания.

³³ Стефан Яворский - русский церковный деятель, публицист (1658-1722). Сочинения Яворского изобилуют метафорами и аллегориями, схоластичны - все это делало их труднодоступными для восприятия последующими поколениями читателей.

снова возвращается на этой земле. Теням предков и неслышному зову друзей.

Юность

Я пытаюсь вспомнить о годах своей юности, хотя не очень ясно, что разумеется под этим словом, какой отрезок нашей жизненной дороги. Как это никто не догадался делить жизнь на трехлетия или пятилетия, каждое со своим ярлычком, – не было бы путаницы, и, главное, качества и настроения одного отрезка не позволяли бы себе вторгаться в неподобающую клетку. Как вы смеете, уже спускаясь по склону, уже почти спустившись, уже перед окошечком расчётной кассы, ощущать себя моложе и жизненнее, чем полагается вашей категории? Моя зима все еще бесснежна, а головы тех, кто могли бы быть моими детьми, запорошены снегом. Они пытаются уверить меня, что на долю их поколения выпала тяжкая участь, что их несозревшими подхватил ураган событий, унес и выбросил на чужие берега и что это так рано сделало их стариками. Я верю им, сочувствую им, жалею их, хотя мое поколение пережило вдвое больше и в тысячу раз тяжелее. И я утешаю: молодость может вернуться, ведь это не возраст, а мироощущение! В жизни, духовно богатой, переживается несколько возвратов, и невозвратно только детство, – но ведь не хотите же вы прыгать козлятами? И обратно: бывают люди без юности; их поезд минует эту таинственную станцию зарождения самостоятельной мысли и страстного наката неразрешимых вопросов. Пожалуй, в нынешней спешке прямые поезда удобнее и экономнее. Спешили и мы, но тогда еще не гнались за рекордами скорости и техника была невысока.

Младенчество, ребячество, детство, отрочество, юность, молодость, возмужалость, взрослость, зрелость, возраст средний, почтенный, преклонный, старость, дряхлость – что еще? Какое множество верстовых столбов! Подъем сложнее склона и богаче оттенками, и труднее всего, кажется, определить, где начинается и где кончается юность. Часов в десять утра я проходил аллеей городского сада – в день праздничный, свободный от гимназических уроков, – сад был пуст, только что подметен сторожами, освещен косыми лучами солнца, приятен, свеж, голосист птичьими напевами. На повороте в боковую аллею меня

остановила волна воздушной мысли – накат неожиданного, показавшегося великим открытием: цель жизни есть сама жизнь! Это могло явиться в долгом ходе скрытых и путаных размышлений, но не могло свалиться с ветки липы случайным подарком. Я читал русских и иностранных классиков ни один из них не дал мне этой простой формулы, хотя мог незаметно к ней подвести. С полнотой переживались драмы, помнились прекрасные ответы и умные слова, но детство, еще вчерашнее, не ставило ясного вопроса о цели и смысле человеческой жизни. Его выдвинуло утро и очаровало самостоятельностью, ниоткудаостью моего открытия: цель жизни в самом ходе жизни, в движении, а не в какой-то последней точке. И я не знал, что из учебников философии, мне еще незнакомых, ласково кивают старики разных веков и поколений, домыслившие то, что юноше шепчет утренний ветерок. Я был поражен и взволнован: как это замечательно! Детство осталось за плечами наступила юность. Дома не заметили, что вернулся уже не тот мальчик, который вышел в курточке сурового полотна, подвязанный ремненным поясом: явился новый юноша, предчувственник будущего, обладатель тайны, которая ляжет в основу строительства жизни. На мелком и быстром теченье ручейка блеснули зернышки золота, потом опять набежал песок, – все равно: я уже видел малый свет, который дается новопосвященным.

Я не о себе пишу – какой смысл писать о себе! Я хотел бы даже писать не о мальчике из северных лесов, будущем землепроходце. Если бы я не боялся аудитории (или – не жалел её), я писал бы даже не о маленьком человеке, а вообще о существе, вступающем в жизнь. В живой природе есть существа без юности – и с длительной, непонятной для нас юностью. Есть отряды крылатых, которые, едва освободившись из кокона, уже делаются совершенными взрослыми особями – и летят скорее полюбить и погибнуть. Есть мушки, самцы которых подстерегают самок у выхода из небытия в бытие и, помогая им разорвать кокон, не оставляют им ни мгновенья девичьей жизни, – а после кладки яиц уже стережет смерть. Есть мотыли, детство и юность которых длится семнадцать лет в земле в форме личинки, а жизнь взрослая, окрыленная, меньше недели. Есть человеческие дети со старой душой, и есть старцы, доносящие до гроба, не расплескав, кубок молодых чувств, испытый до дна и все-таки полный. Став в сторонке, будто бы бесстрастный, а на деле взволнованный и

смущенный величием жизни наблюдатель, страстью познания пьяный всебожник, мальчик, впервые попавший в кинематограф, – я, в сочетании чешуйчатых пятнышек, в отливах жучьей брони, в изгибах членистых тел, в зеленом лаке хлорофилла, бутонах, шипах, подземном и надземном всепожирании и всесотрудничестве, в полетах, ползании, стойком внедрении корнями, завидуя тысячеглазую мухи и антеннам последней букашки, – ищу понять и познать, как это случается, что просыпается семя и разматывается клубок жизни, у каждого свой, но единый в своем бесконечном разнообразии, роднящий меня с бактерией, мокрицей, плесенью, слоном и Шекспиром? О какой говорите вы цели, не зная не только причины, но и причины причин? О каком добре, не имея ни в пространстве, ни на земле, ни в себе самих точки опоры? О какой истине – кроме искомой и ненаходимой? Вглядываясь в эту жизнь со всею пристальностью, доступною хрусталику глаза, я вижу только вечный путь с цветным фейерверком символов, скользящих отметок на замкнутом круге, но я не вижу ни концов, ни начал, и в вихре нагромождающихся гибелей и кажущихся рождений я, к несказанной радости духа, в награду за его пытливость, – не вижу смерти: её нет! Сейчас я могу изложить это какими-то хоть и сумбурными, но внятными словами; тогда, в первый день моей юности, конечно, не мог – даже самому себе. Но если бы я мог сейчас испытать хоть сотую долю того счастья, какое дала мне тогда зарница непостижимой истины! Тогда она была свободной – сейчас оплетена беспомощной речью.

Мы говорим здесь о юности, о рождении сознания, – я не обещал биографических событий, они нужны мне только для иллюстраций. Но я легко могу их выдумать. Так, например, завязав в узелок мое открытие, первую настоящую драгоценность, уже не детскую игрушку, я отправился с нею по свету на поиски пробирной палатки. Где-нибудь, во дворце, в подвале, в музее или на бирже, должны быть абсолютные знания и абсолютные ценности; мне надо знать, сколько золота в моем куске руды. Я был хорошо воспитанным мальчиком, и, входя в кабинеты мудрецов, я шаркал ножкой и вежливо показывал принесенный образец. Обычно мудрецы осматривали меня с ног до головы, бросая беглый взгляд и на то, что они принимали за игрушку, и, будучи очень заняты, отсылали меня к странице такой-то, строка такая-то общедоступного учебника, где подобное открытие было описано,

доказано и опровергнуто, затем вновь подтверждено и оставлено под вопросом до следующего издания. Я пытался лепетать, что важность, собственно, в том, что это я, мальчик, открыл для себя самого и что мне хочется, чтобы вместе со мной порадовались, и тогда они шутливо отсылали меня в столовую, где меня поили чаем со сладкими пирожными. Но как быть? У меня был только один гимназический приятель Володя Ширяев, о котором я дальше расскажу; но Володя, конечно, не авторитет, он тоже едва проснувшийся юноша. Я мог сослаться на отца, никогда не подсказывавшего мне формул, но научившего меня смотреть на облако и думать о воде, которая, испарившись, вернется в родственные ей камские волны. У отца были чины и ордена - может быть, это подействует на не оказывающих мне внимания мудрецов? Прошло много лет, как я ушёл из дому со своим свёртком. Полмира я, во всяком случае, обошёл; с миллионом людей, во всяком случае, перекинулся словами; среди них оказались лишь единицы поэтов, обладавших тайнослухом и тайнозрением, способных созерцать с юношеской простотой и доверчивостью, так, чтобы новооткрытые Америки виноградными лозами сыпались прямо в наивно разверстый рот, чтобы сердце трепетало в лад со всей мировой жизнью. Их очень мало, таких людей; остальные проверяют север по компасу, время по карманным часам, нравственность по кодексу обязательных полицейских распоряжений. Их штанишки на помочах, их галстуки завязаны бабочкой, и все, что есть в них отличительного и замечательного, указано в их паспортах. Наученный долгим опытом, я привык не говорить о серьезном серьезно, чтобы не завязать ног в тягучем тексте их логических построений, и трехкопеечными парадоксами снискал себе доброе имя не слишком вредного шутника. Свёрток юности моей остался нетронутым и нетленным, – его не нашли и не отняли даже при обысках. Поэтому мне нетрудно, развязав узелок, ясно увидеть перед собой картины моей юности, не богатой событиями и отнюдь не счастливой. Я не думаю, чтобы я был исключением, и считаю пустой фразой первую строку фашистского гимна: “Giovinezza – primavera di bellezza”³⁴. Кто-то придумал и сказал, что юность –

³⁴ Молодость – весна красоты (итал.). Считать пустой фразой первую строку фашистского гимна - хорошо знавший Италию и сохранивший любовь к ней на всю жизнь, М.А. Осоргин с отвращением относился к режиму Муссолини, а также всему, с ним связанному. В частности, и к песне "Джовинецца".

счастливейшая пора жизни: попугаи повторили, и понятие вошло аксиомой в наше представление. Юность – переход из богатейшего, цельного детского мира в угрожающую пустоту, которую очень немногим удастся оправдать и заполнить не совсем скупыми и досадными образами. Юность – пора болезней роста – и тела, и сознания. Под грудой вопросов бьется и копошится маленький человек, руки которого непомерно длинны, ноги заплетаются, голова не имеет покоя; ломается его голос, и его уже беспокоит пол. Юношеское тело уродливо возраст, по преимуществу обнаруживающий близость нашего родства с обезьяной. Не ребенок и не взрослый, обязанный быть и тем и другим и не быть ни одним из них. Несчастный объект непонимания родителей и покушения педагогов. Сказки оказались вздором, внешний мир перестал стесняться показывать свою грязь; идола и идолчики, с рекомендательными письмами, настоятельно требуют остановить на них выбор; ни в одном возрасте так не сказывается власть запахов – черемухи, мускуса, гниения. Матери и сестры оказываются женщинами, отцы подозрительны по глупости и рабским привычкам. Внезапно выясняется, что у героев бывает насморк и геморрой, у писателей запоры, у богов наследственное тупоумие. И наряду с этими страшными разоблачениями – органическая жажда жизни и тяга к познанию, которое лишь сахаринном посыпает бродящую мозговую мякоть и этим сладким обманом несколько притупляет горечь растущего в юноше сознания. Процесс, почти столь же болезненный и мучительный, как рождение, – этот переход из спокойствия небытия в суетливый и, скажем по совести, неубедительно устроенный мир.

Чтобы пережить и перетерпеть эту ломку, нужна взаимопомощь. Я оглядываюсь по сторонам – всякой формы носы, уши, волосы бобриком или с косым пробором, серые и голубые глаза, у некоторых намеки на усы. С двумя братьями-близнецами, Андреем и Митей, меня соединяет в приятельстве легкомыслие: мы презираем девочек и ищем их внимания. Но я ухаживать не умею, я преувеличиваю в скепсисе, в иронии и резкостях, боясь быть неинтересным (худой, белесый, ни пушинки над губой). Мои приятели проще и пользуются успехом: здоровые, веселые, откровенно глупые, в форменных пальто серого офицерского сукна. Их можно различать только по родинкам на лице: у одного на сантиметр ниже, чем у другого; все черты, голос, походка, даже

строй мыслей без малейших отличий. Они влюбляются в одну и ту же, а так как их нельзя не путать, то «ухаживают» они по очереди, и когда одному надоест, его замещает другой. Тогда это казалось мне забавным – сейчас большинство людей кажутся мне близнецами. В пятнадцать лет – мой первый роман. Неуклюже сталкиваются руки, пальцы жмут пальцы с боязливой осторожностью, и в долгих прогулках (зимой ноги превращаются в ледышки) мы говорим обо всем, кроме любви. Но, расставаясь, мы обмениваемся записками, сложенными в комочек, где сказано все, – и как сказано! С какими литературными оборотами, с какой глубиной чувств, с каким красивым обнажением души, непременно страдающей, непонятной, неудовлетворенной! Затем новая встреча, рукопожатие, разговор о пустяках, нравится ли вам Достоевский. Так как необходима трагедия, то однажды (в лермонтовский период) я говорю ей (не пишу, а прямо говорю), что я только смеялся: мое сердце не создано для любви. Правда, мне сказали, что она – уморительная толстушка и не может идти в сравнение с восьмиклассницей Тосей, так что я действительно разлюбил. Она съедает несколько серных спичек и подробно описывает мне (почтальоном ее сестренка), как ее спасли. Спичкам я не верю, но – «как мало прожито, как много пережито»! Я подал сочинение на заданную тему о русской женщине по Пушкину и Лермонтову, – сочинение размером в «общую» клеенчатую тетрадь, потому что уж женщин-то я, конечно, достаточно знаю! Превосходная тема для шестого класса гимназии! Дрянь мальчишка расшаркался перед героинями, отшлепал отечески и Онегина, и Печорина. Что вы хотите: литература – особь статья, смешивать ее с жизнью не приходится. Получил пять с плюсом, и сочиненье было прочтено в классе вслух. Братья-близнецы получили по тройке с минусом; а пятерку кроме меня только Володя Ширяев, создавший «неувядаемый образ» княжны Мэри (прямо на зависть!); я разработал преимущественно Татьяну. Из гимназии мы возвращались вместе, разговаривая просто и серьезно, как люди, друг друга способные понимать, и условились дважды в неделю читать вместе, начав с Шекспира. Мучительно стараюсь припомнить – почему с Шекспира, ну, почему именно с Шекспира? Одним словом – с Шекспира. Шекспир здорово пишет!

Сначала мы читаем Шекспира вслух по очереди, потом пробуем пустить «на голос», поделив между собою роли. Володя –

представитель критической мысли, я – романтик, но по этим признакам не всегда легко делить роли, тем более что большинство пьес нам не знакомо. Женщин (как практический знаток женского характера) беру обычно я, хотя леди Макбет исполняет Володя. Отелло тоже я. Гамлета мы проходим дважды; Володя в роли датского принца хорош, но слишком язвителен, и во второй раз он берет на себя Офелию и тень отца. Второстепенных мы разыгрываем по жребию. Я очень одобрен Володей в роли короля Лира – и весь следующий день брожу скорбно, седой, задавленный тягостью лет, так что мать предлагает мне лечь пораньше и выпить липового цветку. У нас только одна книга, и мы читаем, сидя рядом, причем Володя близорук. При монологах один из нас овладевает книгой и может актерствовать, бегая с нею по комнате. Тень отца Гамлета забирается на стул – как-то правдоподобнее. Но случается, что мы оставляем книгу и отдаемся потоку мыслей, и вызывают их не сцены, а какая-нибудь одна фраза, одно словечко этого изумительного Шекспира. В воскресенье мы идем на кладбище сейчас же за городской заставой, среди хвойного леса. В дальнем его конце кладбищенский сторож одиноко ковыряет землю для новой могилы. Его зовут Трофим, и он не циник, как те могильщики, а набожный и добрый старик. Мы молча наблюдаем за его работой, ожидая, что вот-вот его лопата выбросит череп: «Бедный Йорик!» Каждому из нас хочется первым сказать эти слова, но черепа все нет. Володя говорит: «Мне нравится в Шекспире, что у него все герои высокого роста, то есть не прямо, а вы понимаете, представляются такими великанами». Мы с Володей на «вы», а на «ты» я только с Андреем и Митей. Я говорю: «Шекспир чувствует страсть и замечательно изображает, а вот доброты в нем нет никакой». Могильщик Трофим говорит: «Вы, баричи, все тут бродите и смотрите, а видали вы змею на плите?» – «Какую змею?» – «Есть старая плита, ей годов сто ли, двести ли, на плите змея кольцом и много написано. Я, конечно, неграмотный, а люди говорят, что отец проклял дочь и про все ее дела написал. Вот какой был человек, непримиряющий!» Мы ищем и находим плиту. Она бронзовая и наполовину протравлена зеленью. Змея закусилась своим хвостом, и в круге написано церковнославянскими буквами. Поскольку мы способны разобрать, ни о каком проклятии дочери

не говорится, и похоронен тут бригадир³⁵. Года разобрать не удастся, длинная надпись туманна, слова необычны и много выгравированных знаков: лестница, треугольник³⁶, слитые в пожатии руки, череп и кости, пятиконечная звезда. Плита наклонна, так как один ее край приподнят выросшим рядом с нею кедром, корни которого внедрились и под плиту. В своей старой части кладбище, бывшее раньше лесом, снова стало миром хвои и кустарника, часть могил затянута мхом, деревянные кресты уже давно сгнили и упали, и уцелели только каменные и гранитные памятники и несколько часовенных склепов. Птицы, белки, заячьи покидки и холодок даже в солнечный день. Часто нога проваливается в старую могилу, давно осевшую, а рядом розовые колокольчики ползучей линией обвили двойной каменный скат – крышу вросшего в землю низкого шестиконечного креста. Володя наклоняется и смело подымает землистого цвета предмет, может быть, действительно осколок черепной коробки, и я, на всякий случай про себя, шепчу: «Бедный Йорик». – «Сделаю себе из этого пепельницу», – равнодушно говорит Володя, начавший в этом году курить. Я чувствую зависть к спокойствию Володи и тем же тоном прошу: «Позвольте мне на минуту!» – и, когда он подает мне темный предмет, я, с видом археолога и натуралиста, привыкшего к подобным находкам, откусываю край и, спокойно выплюнув, говорю: «Несомненно – истлевшая кость, вероятно, бывший череп». Всю дорогу меня поташнивает, но все-таки я горд победой. Володя это чувствует и при расставанье великодушно говорит: «Если хотите, возьмите себе».

Дважды, а летом и трижды в неделю мы читаем вслух русских классиков да здравствует великий Маркс³⁷, не тот, бородатый прусский идол (о нем в девяностые годы мы еще не слыхали), а Маркс – издатель «Нивы», давший в приложениях к ней все лучшее в русской литературе. Недостающее мы добываем в городской

³⁵ Бригадир - бригадный начальник, военный чин 5 класса табели о рангах, промежуточный между армейским полковником и генерал-майором. Упразднен в конце XVIII в.

³⁶ Перечисляются знаки, символизирующие принадлежность усопшего к одной из масонских лож. Таким образом, можно судить, что захоронение сделано до 1792 г. - года запрещения масонства в России специальным указом Екатерины II.

³⁷ Речь идёт о русском издателе и книготорговце Адольфе Федоровиче Марксе (1838-1904). Особую известность имела издаваемая им "Нива" - иллюстрированный еженедельный журнал для семейного чтения, который выходил в Петербурге с 1870-го по 1919 г.

публичной библиотеке, где нам покровительствует стриженная библиотекарша в очках и писатели-художники чередуются с Белинским, Писаревым, Добролюбовым, – никак не можем найти Аполлона Григорьева. В гимназии мы слышем начетчиками, и учитель словесности сильно нас побаивается. Я, сверх того, иду за отменного чтеца и, выступая на гимназическом акте, читаю посвященные Екатерине стихи. Императрице подали пасквиль, в котором ее оскорбляли «как женщину, как мать», и она «пасквиль тот взяла и написала с краю: «Что здесь, как женщины, касается меня, я, как царица, презираю!» Голосом, бровями, всей фигурой я выразил такое величавое презрение, что меня подозвал попечитель учебного округа, почтивший своим присутствием наш акт, и, подав мне пальцы для пожатия, сказал: «Прекрасно, молодой человек, отличное стихотворение, пишите и дальше – у вас талант!» Я робко пробормотал, что это стихи не мои, а Апухтина. «Ну, конечно, знаю, что Пушкина, но прочитали вы прекрасно!»

Володя решил, что если он провалится на экзамене в институт путей сообщения, то станет литературным критиком. Мне предстоял юридический факультет (отчасти в уступку желанию матери), но настоящая, мечтаемая дорога наметилась ещё в седьмом классе, когда редактор петербургского журнала написал мне: «Милостивый государь, ваш рассказ принят и пойдет в ближайшем номере. С совершенным почтением». В этом рассказе, о котором ничего не знал даже Володя, молодая девушка упала в воду и утонула, а ее отец сошел с ума и бегал с дикими возгласами по полям и лесам. В следующем рассказе предстояло матери зарубить топором своего грудного ребенка, а самой повеситься. Пока в одной большой приволжской газете была напечатана моя статья об оперном сезоне, а в местной нашей газете – трогательный некролог. Началось!

Как же могло быть иначе – страстная тяга сопричислиться малым звеньшком к великой цепи творящих. Писатель – существо необыкновенное, его читает и слушает вся страна и даже другие страны, и по смерти ему ставят памятник. Он, конечно, страдает – ужасно страдает по всякому поводу, и без этого у него ничего бы не вышло. Его преследуют, гонят, потому что он обличает зло; но лучшие и избранные стоят за него горой и готовы погибнуть вместе с ним. Впрочем, мы читали и критиков, так что понемногу стали разбираться в ценностях: все-таки Лермонтов, знаете, не Пушкин!

И зачем это Достоевский написал «Чужая жена и муж под кроватью»? Недаром мы начали с Шекспира! Мы не просто читали произведения, мы видели их авторов. Портреты, которые я в то время для себя создавал, остались навсегда – разве что Пушкин раньше казался мне брюнетом. Высокое почтение не служило препятствием некоторой фамильярности образов. Лермонтов, например, был почти что гимназистом, самолюбивым, задорным, но по натуре робким, больше всего похожим на Грушницкого, никак не на Печорина. И смерть его не казалась трагедией, как смерть Пушкина: просто – пропал ни за грош из-за простой рисовки. Но зато когда он в своем новеньком офицерском мундире приподымался на цыпочки и пел – пелось вместе с ним и даже хотелось тоже писать стихи. Пушкин, наоборот, никогда не казался мне шутником, может быть, и потому, что на портретах он всегда серьезен. «Дубровского» мог написать только очень строгий и очень страдающий человек. «Капитанскую дочку» я часто перечитывал – и она мне казалась (и сейчас кажется) выше всего, написанного Пушкиным. И еще я думал, что Пушкин очень мучился своим малым ростом и обезьяньим лицом и что ему, вот такому, приходилось бороться с красивыми и высокими людьми и побеждать их умом и талантом. И зачем он женился на женщине, рядом с которой он казался смешным и безобразным! Наталья Гончарова была моим личным врагом, – Володя относился к ней снисходительнее, хотя тоже не уважал. К Тургеневу мы оба питали искреннее расположение: с ним было просто – улыбающийся и радушный человек, охотник, любитель природы; жаль, что он не бывал в наших краях и описывал какие-то благоустроенные лесочки с игрушечной дичью – но зато как описывал! В его романах герои были людьми слабыми, бесхарактерными, хорошо одевались и катались по заграницам. В Асю я был влюблен по-настоящему, и ее именем была названа моя лодка. На месте господина Г. я бы обшарил весь мир и Асю отыскал! Но поступил он с Асей, по-моему, очень благородно. Княжна в «Первой любви» мне не нравилась – ломака и неприятная особа. Но Джемма в «Вешних водах» могла соперничать с Асей. Обо всем этом Тургенев рассказывал с усмешечкой старого, вспоминающего человека, и вот таким писателем (темные брови, волны мягких седых волос, благородный взгляд) мне очень хотелось быть. Но у Достоевского в глазу – на всех портретах нездоровая капелька,

неблагородное, как у невыспавшихся или запойных. Достоевский приходил к нам, сидел подолгу, целыми ночами, и говорил много и дурно обо всех, заплетаясь языком, теряя слюну; когда же он начинал кого-нибудь хвалить, то сейчас же у этого человека обнаруживалась болезнь, и оба они извивались на полу в падучей или кашляли прямо нам в лицо. Несколько месяцев подряд мы читали двадцать четыре тома Достоевского, от «Бедных людей» до «Дневника писателя», – тяжелые месяцы моей юношеской жизни, полные первых нечистых мыслей, на какие ни один другой писатель не наводил; к счастью, мы читали его больше летом, в дни каникул, когда можно было купаться, а воздух закамского берега смывал с души липкий налет. Великого инквизитора читал Володя – резким взрослым голосом, и я проваливался в глубокий колодезь безнадежности и не мог выкарабкаться. Позже, уже студентом, я перечитывал Достоевского один, гораздо сознательнее, с увлечением, долгими ночами в московских студенческих Гиршах и Палашах, и тут, в нездоровом воздухе большого города, уже не боролся с ним, а плыл по течению мутных волн, пока опять тот же «Дневник писателя» не оттолкнул меня от него, зачеркнув в нём всё, за что он признан мировым писателем. Я потерял веру в его правду – и расстался с ним навсегда.

Нашим любимцем – моим по крайней мере – был в то время Гончаров, спокойный и чистый, уверенный рассказчик. Даже «Фрегат Палладу» мы одолели без скуки и усилий и не прочь были ехать с Гончаровым и дальше. Он приходил к нам без спешки, садился в большое кресло, перелистывал страницы своих книг холеными руками, и рядом с ним, положив ему на плечо головку, усаживалась Марфинька, а Вера всегда сидела поодаль, прислушиваясь и не произнося ни слова. И мы отлично знали, что бабушка – это Россия и что Волохов, озорной человек, только храбрится, а сам очень страдает, – хотя сейчас мне трудно объяснить, почему нам тогда так казалось. Было странно, что Вера гораздо умнее Райского, со стороны которого было некрасиво бросать ей в окно букет белых цветов. Обрыв был поблизости от деревни Загарье, где в дни моего раннего детства мы живали летом (после смерти отца уже не приходилось), но барской усадьбы я не видал и не знал – только по книгам, по Тургеневу, по Аксакову и вот теперь по Гончарову. Мысленно я стоял над обрывом и ждал возвращения Веры, чтобы сказать ей, что Волохов ее не любит и ее

не стоит, что он просто очень самолюбивый бездельник и всему его оригинальничанью грош цена. Но вряд ли Вера послушала бы гимназиста! Вообще я Веры побаивался, а на Марфиньку заглядывался, когда она ластилась к бабушке или прыгала козой.

Когда же приходил к нам неистовый Виссарион Белинский, мы слушали его с жадностью, особенно Володя, готовивший себя если не в инженеры, то в критики. Оценки Белинского казались нам непреложными и окончательными; на его щеках горел чахоточный румянец, и также горели его слова. Он писал, лёжа на диване, и в полуотворенную дверь были видны пришедшие жандармы. Он был человеком безо лжи, судьёю строгим, умевшим восхищаться и готовым обрушиться за малейшую писательскую неправдивость. Мы одолели его том за томом, – и это, вероятно, было самым полезным нашим чтением. Наученные им, уже не верили Писареву, человеку холодного ума и злой мысли. И в нём, и в Добролюбове, и особенно в Чернышевском чувствовали какой-то отталкивающий душок; это были обиженные люди, не искавшие добра и желавшие непременно уколоть, посмеяться над лучшими. Некоторые их мысли вызывали нас на раздумье, казались смелыми и основательными, но только Белинский внушал нам полную веру, и только он сам казался настоящим поэтом. Вероятно, мы и не читали бы Писарева и Добролюбова, если бы одно упоминание их имен не вызывало ужаса на лице нашего гимназического словесника.

Мы читали не только русских классиков и критиков. Вообще мы читали вдвоём и поодиночке – катастрофически много, пользуясь тем, что гимназические уроки – кроме древних языков – не представляли для нас обоим ни трудности, ни интереса. Я глотал Диккенса, Володя Виктора Гюго, конечно – в переводах. Золя, в то время ещё модный, нас не захватил, Бальзака мы просто не усвоили. Гёте мы читали вместе. «Фауста» пустили «на голоса», но, кажется, напрасно затратили время. В последний год мы читали Толстого – и всё, раньше нами прочитанное, отошло на задний план. Если Володя ещё мог о нём «рассуждать», то я был раз навсегда побежден и поставлен на колени. «Войну и мир» я перечитывал сейчас же после прочтения нами вслух. То же было с «Анной Карениной». С большим трудом мы раздобыли «Крейцерову сонату», кажется даже в гектографированном списке, так как в городской библиотеке её не было. Моими любимыми рассказами Толстого были «Альберт» и «Холстомер», и их я знал

чуть не наизусть. Толстой не приходил к нам, как другие; он царил где-то над нами, в величавых пространствах, громадный, босой, всеподавляющий. Даже с его героями нельзя было обращаться запросто, как с Обломовым, Райским, Лаврецким, как с Онегиным, Печориным и даже Гамлетом и тенью его отца. Герои Толстого были уже не людьми, а великими образами, и казалось невероятным, что вот через год я буду студентом в Москве и, может быть, пройду мимо дома, где зимой живёт Лев Толстой; о том, что я могу увидеть его самого, никогда не думалось: можно ли встретить Гомера или Шекспира? Я действительно никогда не увидал Толстого – огромный минус в моей жизни, незаполненная пустота, почти преступление, но не вина; я не видал также Байкала, ледяных торосов, устья реки Лены, не видал тигра на свободе, не подымался в стратосферу, вероятно, не увижу больше России. В юности Толстой был для меня величайшим открытием; его творчество и по сей час для меня кажется непостижимым; вижу, как пишет Пушкин, как творит литературный колосс Диккенс, но не могу увидеть, как из-под пера Толстого появляется маленькое слово «пожалуйста» Пети Ростова, что нужно для этого сделать, как это почувствовать, на какой бумаге изобразить, кем быть и каким образом после этого обедать, смотреть на людей бровастыми глазами, ссориться, отдыхать на лавочке в Ясной Поляне, а не вознестись попросту на небо и не посмотреть рассеянно на весь писательский мир с ближайшего облака? Впечатления юности остались в дорожном узелке, с которым я обходил мудрецов, – и расстаться с ними я не хочу и не могу. Все-таки совсем без богов жить невозможно, без чудес скучно, без чувств чрезмерных закиснешь в грамматической бесспорной фразе. Лев Толстой был и остался российским чудом, весь целиком: великий, несчастный, несуразный, каменная глыба, мужик и барин, поэт и корявый проповедник, брюзга и неустанный искатель истины.

До нас не доходили толстовские религиозные писания, и нашей веры он не колебал и не утверждал. Ее утверждала наша изумительная северная природа; ее расшатывала и уничтожала в нас гимназия. Моя мать была верующей женщиной, но верила она по-своему и несколько смущенно – для себя, никому не навязывая своей религии, даже детям; в церкви бывала редко, дома молилась уединенно, скромно выпрашивая у Бога разные нетрудные вещи для детей. Все, что в религиозном культе картинно, красиво и

приятно, у нас соблюдалось: рождественские елки, троичные березки, пасхальные куличи, лампадки перед образом в правом углу, вкусные рыбные и грибные блюда в великий пост. Мы, дети, были верующими, поскольку это традиционно и нетрудно и поскольку не приходило в голову рассуждать. Искореняла религию гимназия, с ее обязательными посещениями церкви, молитвой перед уроками, преподаванием того, что преподаваться не может, и священным ужасом перед вопросами. Церковь была привлекательна для нас тем, что в неё приводили гимназисток: налево ряды наши, направо – их. Мы красовались и переглядывались. Особым шиком было прислуживать в церкви, стоять в алтаре, выходить с кружкой и проходить по рядам гимназисток. Из алтаря было удобно подглядывать в щелочку, и мы пользовались разрешением посещать алтарь «для лучшего изучения церковной службы». Именно здесь юношеской вере наносился самый серьёзный удар созерцанием закулисного неблаголепия. Шепча молитвы, священник время от времени, вытянув из-под ризы красный клетчатый очень грязный платок, набивал нос табаком. Дьякон пальцем смазывал себе в рот из чаши остатки причастия, а палец вытирал где-то в тайниках своей сложной одежды. Постоянно случалось, что священнослужители переругивались, переходя вслед затем на торжественный тон декламации. Приглядевшись к порядкам в алтаре, мы, со своей стороны, под руководством более опытных, покушались на бутылку с превосходным церковным вином, так как заготовленную «теплоту» обыкновенно также допивал сам дьякон. Но и вообще – трудно было проникнуться ленью службы, которую отправлял наш законоучитель, человек уже старый, неисправимый пьяница, сизоносый, неотесанный и исключительно глупый; кстати, ему поручалось и наше политическое воспитание, и иногда, хитренько нам подмигнув, он говорил в классе: «И еще бывают социалисты; это значит, что все твое – мое, а что мое, так это мы еще посмотрим». Мы его терпели, так как меньше четверки он никому не ставил, а на уроках отвечали ему, без стеснения читая по книжке. Разумеется, из озорства задавали ему вопросы: «Как мог Иона не задохнуться во чреве китовом?» – и он неизменно отвечал: «Ежели Бог захочет, братец мой, так и ты кита проглотишь и не поперхнешься! Для Него это – пустяковое дело!» И если некоторые из нас дотаскивали до университета какие-то остатки

религиозности – или, может быть, суеверия, – то причиной этого была потребность в поэзии, отзвуки веры детской, семейные традиции и прежде всего – целостность восприятия нашей прекрасной северной природы, полной нерасказаемых и непостижимых тайн. Порывая с ней – порывали и с последними загадками примитивного детского мира, отвергая богатство сказки ради дешевки научной истины. Процесс естественный, законный, правильный, за которым по мере роста духовной жизни человека следует или не следует новое «хождение в алтарь» и отвержение нового жречества, но уже без возврата к прежней и наивной вере, в лучшем случае – строительство собственного храма неведомому богу или богам.

Мы поссорились с Володей из-за какого-то маленького житейского вздора. У него был злой язык, у меня опасная взвинченность нервов. Стычка произошла при свидетелях, и это осложнило положение. Будь на его месте другой, я бы, вероятно, вызвал его на дуэль, как и случилось у меня с другим гимназическим приятелем: мы дрались за городом на револьвере (был только один), заряженном порохом, но с резиновыми пулями; раненых не было. Но в наших отношениях с Володей полушутовство было неуместно: мы друг друга уважали и считали взрослыми. Было брошено несколько колких и вызывающих слов, сделавших разрыв неизбежным. Время было учебное, встречи ежедневны, но о примирении не могло быть речи. Только что перед этим мы начали читать «Разбойников» Шиллера, и очень хотелось продолжать. Сидя в классе на уроке физики, я видел, что Володя написал и изорвал записку; перед уроком я также написал и изорвал записку. Во время перемены я подошел к нему и, не обращаясь прямо, произнес в пространство: «Не думаю, чтобы личные отношения могли препятствовать культурному общению, впрочем – не знаю». Володя искривил губы презрительной улыбкой и ответил: «В известных вопросах я также выше личных отношений, и, если мой ува-жа-е-мый враг готов, мы можем закончить “Разбойников”. Располагаете ли вы временем сегодня вечером?» «Оставьте при себе уважение, которое я не могу вам ком-пен-си-ровать, и в половине седьмого я буду иметь честь посетить ваш дом». – «Гарантирую вам гостеприимный прием», – ответил Володя, и мы повернулись друг к другу спинами. Оба мы испытали немалое удовольствие, что нас слышали товарищи: им не

мешает знать, как должны поступать культурные люди. В назначенное время я был у Володи, мы ограничились вежливыми полупоклонами и в один присест, читая по очереди, отмахали «Разбойников» и поспешили начать другую пьесу. Получилось нечто вроде сказок Шехерезады: «...и на этом месте Шехерезада прервала свой рассказ, так как пришел рассвет... когда же наступила следующая ночь, Шехерезада продолжала: – Известно тебе, повелитель правоверных...» Так продолжалось недели две, пока нас окончательно не примирил ожесточенный «принципиальный» спор, так нас разгорячивший, что на прощанье мы по ошибке обменялись самым дружеским рукопожатием. А так как на этот раз мы забыли начать новую вещь, то на лестнице, провожая меня, Володя крикнул вдогонку: «Что вы скажете, кстати, о Байроне?» – и я спешно ответил: «Считаю его заслуживающим нашего внимания!» – «Тогда я возьму в библиотеке».

Мы не были начетчиками и, при всем увлечении литературой, не забывали о развлечениях, – времени хватало для всего. Нынешняя молодёжь отдаёт много времени спорту, о каком в девяностые годы мы не знали. В летнее время нашим спортом были лодки и прогулки в лес, в зимнее – катанье на коньках; но, конечно, ни гонок, ни призов, ни иного рода соревнований. Ещё процветал бильярд, игра, гимназистам воспрещённая; Володя им не увлекался, но с другими приятелями я часами и днями (даже с рекордом двадцати четырех часов непрерывной игры) сражался в маленьком кабачке у Левушки, жадного и очень набожного старичка, жившего доходами с гимназистов. Бильярд был похож на сильно подержанную таратайку, нужно было знать все его уклоны и личные качества, и я гордился тем, что дважды, играя в «пирамидку», взял партию «с кия», не дав удара противнику. Я очень благодарен бильярду: он спас меня от иных, менее невинных юношеских развлечений, процветавших в затхлой гимназии провинциального города. Но больше всего благодарен лодке, с которой был связан тесной дружбой с детского возраста; река была для меня едва ли не большим, чем семья, чтение и даже мои литературные опыты, была моим счастьем и моей философией, всем тем, чем для страстного летчика должен быть воздух. Простившись с рекой, я простился не с одной юностью: также и с чистотой и ясностью созерцания, с безошибочностью ответов, с первым ощущением движения как самоцели, с радостным бытием в

вечности. Взмах вёсел – как взмах крыльев, ветер не угонится за дыханием, все движется, вырастая и умаяясь, между зеленой глубиной и голубой высью летит свободная душа, рассекая воду и воздух, и это и есть правда, это и есть творчество, раскрытие тайн вверху и внизу, ясное, все утверждающее «да», отрицающее землю, в которую так больно врастают ноги. Я не знаю музыки чище и совершеннее журчания воды у бортов маленькой лодки – на величавой Каме, моей крестной матери. Как жалко, что уже все слова сказаны и написаны все поэмы! И что не скажет нового даже тот поэт, влюбленный в свою стихию, который, бросив весла и встав во весь рост, просто ввергнется в ее объятия и там, на глубине, всеми легкими вдохнет холодную влагу – ради восторга и смерти.

Приятно иметь право и не иметь боязни впасть в некую восторженность, вспоминая о фетишах своей молодой жизни. Нам это разрешал Белинский и строго воспрещал Писарев; тайно сочувствуя первому, мы побаивались второго. В сущности, ничто с тех пор не переменялось: на страже чувств стоят надзиратели, подымающие белую палочку и дающие свисток, если машина слишком разогналась. Именно на рубеже веков – моя эпоха – появилось обязательство крахмальных воротничков для слишком вертлявой шеи: «Не говори слишком красиво!» Это было, вероятно, необходимо, так как тургеневские «Сенилия», стихотворения в прозе, слишком пополнились подражаниями. Поэты пушкинской эпохи могли бросаться с рыданиями в объятия друг друга, но тогда еще не носили быстро промокающих от дружественных слез жилетов. Мы уже учились быть сдержанными во имя «художественной меры», то есть своеобразного ее понимания, позже ставшего требованием нерушимого закона: наступил ледниковый период холодной чеканки стиля, изображения чувств подбором гласных и согласных. Но – чтобы и дальше говорить метафорами – человек, приучивший себя днем к корсету, даже и ночью боится свернуться калачиком. Нужно было много пережить, чтобы опять обрести право восклицать, когда воскликнется, и не бояться классных дам от художественной литературы. Законы искусства остались – если есть у искусства законы, – но чувство освободилось от крахмала. Я говорю это не для оправдания (перед кем?) выпадов собственной несдержанной лирики, а просто – вспоминая бурю и хаос мыслей, в которые ввергла нас читательская

страсть; я испытывал это особенно остро, так как рано начал писать и теребить волосы в творческом недуге. С одной стороны – «сталь мысли», с другой – сердечная требуха, и примирить это ох как трудно! Между моим первым романом написанным и первым напечатанным – расстояние в тридцать лет. Это объясняется, по-видимому, хорошим уроком, мною полученным в юности.

Редактор петербургского журнала, напечатавший мой первый рассказ, отравил мою душу «милостивым государем». Роман был неизбежен, и я писал его со всеми полагающимися надрывами, с вдохновением, разочарованием, отчаянием, всеми видами мук творчества. Совершенно не помню содержания, но любовь, коварство и неестественная смерть там, конечно, присутствовали. Не думаю, чтобы роман был велик размерами, и не утверждаю, что он был окончен, когда я почувствовал потребность прочесть его вслух бесстрастному критику. Впрочем, я искал, очевидно, не столько беспристрастия, сколько сочувствия, «понимания», и потому избрал слушателем не Володю Ширяева, способного на безжалостный анализ, а более интимного друга, Андрея, одного из близнецов, партнера по бильярдной части и по женскому вопросу. Андрей был польщен выбором и обещал мне самый искренний отзыв, даже если пришлось бы со мной поссориться, – польщен потому, что я предпочел его «начетчику» Володе. Он обещал мне также хранить тайну, пока, как он был уверен, мой роман не прогремит на весь мир. Мы назначили день, и я обеспечил ему бутылку пива, икрающую воблу и баранки – лучшие лакомства для торжественных случаев.

Вечер. Мое место за столом у керосиновой лампы; Андрей пристроился на моей постели, чтобы не мешать мне сосредоточиться, не быть в поле моего зрения; бутылка, стакан и тарелка с нарезанной воблой в его распоряжении на стуле. Комната хорошо натоплена, за стенами мороз. Рабочий медленно опускает занавес. Просят лиц посторонних не вмешиваться и, если им хочется, слушать издали, ничем не выдавая своего присутствия. Керосиновые лампы, вырезывая во тьме конус света, уделяли потолку только слабое мерцание, чтобы там могли кружиться тени – милые существа, навсегда загубленные электричеством. Если в комнате обитала муха, решившая пережить зиму, то она садилась на потолке в центр бледного светового круга, конечно – вверх ногами, но ей это было совершенно безразлично. Тени сгущались к

краям круга, упражняясь в неслышном танце, иногда разбегались по углам и попадали там в паутину. Но это только игра, пауки их не трогают. Пушкин, в длинном сюртуке, с тетрадкой в одной руке, жестикулируя другою, читает стихи другу Дельвигу или Арине Родионовне, которая вяжет чулок. В богатой гостиной ближе к столику, за которым сидит Гоголь, расставлены кресла, мягкие стулья и пуфы для дам, дальше – приглашенные, все – избранные люди, состоящие при литературе, и хозяин знает, что его вечер некоторым образом исторический, – Гоголь в ударе, читает прекрасно, и его пробор расчесан аккуратно. «Ты понимаешь, тут многое еще не отделано, и я сам не уверен...» У Андрея крепкие белые зубы, и он так вкусно чавкает воблу, что слышно, как похрустывают перекусываемые ребрышки; значит, икру он уже доел – плотную, красную, с желтоватой оторочкой жира. Буль-буль-буль из бутылки. «Я не позволю, – крикнул он, ударив кулаком по столу, – я не позволю, чтобы моя дочь, нежное, невинное существо, стала женой развращенного человека!» Мать сидит через комнату от нас и, вероятно, раскладывает пасьянс; она привыкла к тому, что у меня поздно, иногда за полночь, слышится чтение вслух, ей нравится, что мы такие умные, развиваемся, – скоро и в университет. «Петр схватил ее за руку и хотел привлечь к себе, но холодный взгляд молодой девушки сразу его отрезвил, и он разжал пальцы, услышав спокойно произнесенное слово «никогда!». Андрей перестал чавкать и поставил на стул стакан. Разве они, люди быта и маленьких делишек, – разве могут они знать, что испытывает художник, когда в уже совсем готовой картине ему не удастся последний мазок кисти, заключительная точка, которая вдруг оживит и осветит все, – и тогда на полотне заиграет жизнь и оно оторвется от мольберта и улетит ввысь, в мир недостижимый, лишь ему одному доступный! Вот тут – я сам чувствую, – тут не то чтобы фальшь, а какое-то напрасное подчеркивание, слишком парадное слово, уже не перечувствованная правда, а желание понравиться читателю, и если взглянуть ему в глаза, то увидишь его недоверчивую усмешку. «Заломив руки, как птица, готовая улететь, Ольга вытянулась всем телом...» Господи, какие же у птицы руки! И она уже дважды вытягивалась на протяжении одной страницы. Хотя бы Андрей крякнул или чем-нибудь возразил... Однако он перестал пить и есть как раз на самом сильном месте, стоившем мне больших волнений

и переживаний. Я приближаюсь к сцене, при перечитывании которой не всегда сам мог сдержать слезу, и я боюсь, что мой голос в этом месте сорвется, – автор должен быть бесстрастен. Огромный зал замер, каждое слово чтеца звучит как чеканное золото; его голос сух и отчетлив, как удары молотка, и, когда Ольга, застигнутая лесным пожаром, в пылающей одежде, споткнулась о ствол павшего дерева, – голос чтеца не дрогнул, но по рядам слушателей прокатилась волна вздохов, и в дальних рядах послышалось сдержанное глухое рыдание. Захлопнув тетрадь, молодой автор встал и, небрежно поклонившись, стал спускаться с эстрады. И лишь когда он взялся за ручку двери, ведущей в комнату артистов, в зале раздались бешеные рукоплескания, постепенно перешедшие в ровное посапыванье. Возможно, что Дельви́г посапывал и раньше, но поэт услышал это, лишь закончив чтение лучшего, что он написал. Шатаясь от усталости и пережитого, он подошел почти вплотную к низвергавшемуся со скалы водопаду и подставил свою разгоряченную голову. Это его отрезвило, и он, не взглянув на спавшего Дельви́га, прошел в комнаты Арины Родионовны. «Ушел твой приятель? – спросила она и, взглянув на меня поверх очков, которые она теперь надевала при работе, сразу поняла, что ее большой мальчик чем-то огорчен. – Уж не поссорились ли вы?» – «Нет, мама, Андрей еще здесь, он, кажется, заснул». – «Ну вот, зачем же вы так утомляетесь! – Маленьким пресс-папье, почкой уральского малахита, она разбила кедровый орех и положила в рот зернышко. Это всегда было ее любимым лакомством. – Постой, а как же он спит? Нужно бы постлать ему на диване в столовой, я сейчас дам простынь». – «Он не останется ночевать, и ты вообще не беспокойся». Автор «Мертвых душ» склонился над рукописью второй части. Развернув ее, он прочитал несколько строчек, затем схватился за голову и стал раскачиваться с мучительным стоном. В печке был еще огонь. Он открыл вьюшку, и угли в печке сбросили пепел и приветливо засветились. Не оглядываясь на стол, он протянул руку, взял рукопись и бросил ее на угли. От жара заворотились первые страницы, затем вся рукопись вспыхнула сразу веселым огоньком. Свет ударил в лицо спавшему, и Андрей, сладко потянувшись, сказал: «Ну как, кончил? А здорово, знаешь, написано! Ты не думай, я все слышал. Не хуже Лажечникова, ей-Богу!»

Описать в романе клопочущую страсть – это ведь совсем не трудно! Есть столько превосходных литературных образцов, столько приемов, столько прилагательных! Картины падения в то время заменялись двумя строками точек, а подробно описывались только нравственные страдания. К своему стыду и счастью, должен признаться, что мои собственные понятия о падении были чрезвычайно туманны. Теоретически технику падения я, конечно, знал – среди нас были «падшие», – но никак не мог совместить ее с чувством любви, которое должно быть трепетным и высоким. Тут была неувязка. На любовь бросалась некая тень: очевидно, любовь не очень приличное чувство и признаваться в нем не следует. В восемнадцать лет я был уже много раз влюблен, но, черт возьми, поцелуи мне не были ведомы. Мне кажется, что один раз я поцеловал руку Катеньке, хотя боюсь, что я только задел ее нечаянно, даже не губами, а щекой. Впрочем, я держался так, как будто все это мне не только известно, но и порядочно прискучило. Из-за Катеньки я и дрался на дуэли – из-за гадких слов о ней и обо мне. Когда мне было девять лет, моя старшая сестра – на восемь лет меня старше – выходила замуж. Я был очарован ее женихом, казавшимся мне идеалом мужчины. Однажды вечером, когда меня уже уложили спать, хотя у нас были гости, в мою комнату, освещенную лампадкой, тихо вошли сестра и ее жених; вероятно, им хотелось остаться вдвоем. Они сели на стулья против моей кровати и стали шептаться, боясь меня разбудить. Но я проснулся и смотрел на них с интересом. Вдруг жених быстро обнял сестру и хотел ее поцеловать; она ловко увернулась и погрозила ему пальцем, а у него, как мне показалось, отвисла губа и лицо стало противным; жениху сестры было уже за тридцать, ей семнадцать. Потом они ушли, хотя он пытался еще задержать сестру в полумраке моей комнаты. С этого вечера я перестал его боготворить и уклонялся от его шуток и ласк. В любви есть что-то стыдное. И действительно, над влюбленными смеялись, и они краснели. Объектом постоянных насмешек гимназистов был наш учитель немецкого языка, Шмидт, или Фукс, или еще как-нибудь, который был безнадежно влюблен в пухлую немочку, дочь учителя женской гимназии. Он был так влюблен, этот рижский немчик с тараканьими усами, что плакал, читая нам вслух стихи Шиллера и Гейне, и вытирал глаза платком, надушенным немецкой гадостью. И случилось, что я стал его соперником – совершенно помимо

своей воли; на гимназическом балу я танцевал с его любовью, и она не заметила его почтительного поклона. Он не только приревновал меня, но и искал случая меня оскорбить и унижить. Случай подвернулся легко, так как я терпеть не мог и отвратительно знал немецкий язык. Он стал ко мне придирается, вызывая всякий урок, передразнивая мое произношение, и однажды, распылавшись, велел мне выйти к классной доске и стоять около нее до конца урока. Это было настоящим оскорблением, потому что меня никогда никто не наказывал, даже в младших классах; одна такая попытка кончилась моим нервным припадком. Но поставить к доске восьмиклассника – это вообще было дерзостью. Я побелел и холодным голосом Ольги из своего уничтоженного романа сказал: «Я вызываю вас на дуэль и убью, как таракана!» Затем я медленными шагами вышел из класса и ушел домой. Из этой истории победителем неожиданно вышел я. Немец заявил директору, что честь заставляет его принять мой вызов на дуэль. Директор схватился за голову, вызвал меня и, догадавшись о моем настроении, торжественно мне обещал, что Фукс оставит меня в покое и будет спрашивать у меня урок только один раз в четверть и в тот день, когда я подам ему знак, «приветливо кивнув головой». Такое пристрастное решение было вынесено, очевидно, потому, что я, считая свои корабли все равно сгоревшими, подтвердил директору свое намерение убить в честном бою немецкого учителя. Условие было соблюдено, и в первый выбранный мною день я отбарабанил Фуксу вызубренную наизусть «Перчатку» Шиллера, мы, черт возьми, знали, что такое рыцарство! А он-таки женился на своей немочке, – в конце концов, симпатичный и невиннейший таракан! Уже студентом я был на его свадьбе, мы выпили брудершафт и пели гортанными голосами охотничью немецкую песню про старый лес.

Меня отвлекают эти сценки – но, может быть, они лучше рассуждений поведают о жизни чувств, о том, как слагаются в душе юноши представления о самом серьезном в нашей жизни – о любви к женщине, о любви вообще. Могу ли я удержаться от скромного образа любви материнской – постоянная забота издали, чтобы не стеснить юноши, которому хочется казаться взрослым; скрыванье бедности под белоснежно-чистой скатертью; неназойливая чуткость робких советов, как будто случайных, но всегда вовремя и кстати. Надломленная личным горем, – потому что она не может

забыть того, что для нас, молодых, быстро тушется интересами жизни, – для семьи держится прямо, блюдет достоинство, твердо надеясь, что вот и оставшиеся при ней дети выйдут в люди и тогда она замкнется в мир воспоминаний, тихо старея и готовясь отбыть для встречи с человеком, любовь которого определила ее жизнь. Когда умер мой отец, мать была – или казалась – еще совсем молодой, без единой морщинки, единого седого волоса, хотя уже была бабушкой. Такою же продержалась еще десять лет, несмотря на много горя, доставленного ей детьми, о чем не рассказывает. С утра в корсете, упрямая институтка, всегда одетая с изящной простотой, приветливая с гостем и прислугой, строгая и важная в отношениях с людьми, перед которыми другие заискивали, она ни перед кем не призналась бы, что ее сердце источено горем и что она безмерно устала жить. Такою она осталась и одна, когда я, последний из детей, уехал в Москву; приезжая на каникулы, я находил ее такой же выдержанной, готовой интересоваться всем, что занимает ее детей, читавшей столичные газеты и журналы и по старой привычке ежедневно занимавшейся четырьмя иностранными языками – французским, немецким, английским и польским, – знание которых она не имела случая применять на практике в провинциальном городе. Она состарилась в один год, даже в одну зиму – и умерла в тревожном пятом году, узнав, что я в тюрьме и мне угрожает казнь. Она уже была больна, и для меня нет полной причинной связи двух событий; но сыну, понявшему материнскую любовь, не поставят в вину того, что он в своей памяти, рядом с этой любовью, записал и чувство непримиримости к тем, кто как собственностью швыряется человеческими жизнями. Непримиримость навсегда, до сего дня, до смерти.

Я много раз замечал, что о наиболее отдаленном, о детстве, вспоминается с полной ясностью, какой годы юности не дают. Тот простой мир зарисовался домиком, елочкой, игрушкой, зайцем, у которого одно ухо опущено, горем, сверкнувшим молнией, – и опять небо ясно и мир улыбается, маленькой, любимой, единственной книгой, шуткой отца, первой выпиленной рамкой из крышки сигарного ящика, – вообще всем тем, что отчетливо своей первостью и дальше уже неповторимо в такой же радости. Мы часто шутя говорим детским языком – и никогда не подражаем ломающемуся голосу юноши. Помнятся сказки – и не помнятся пора их крушенья. Рисунок путается и теряет чистоту красок. Дым

из трубы уже не вьется штопором, у собаки хвост не загнут колечком, у первого портрета нет египетского глаза и турецкой брови, негнущаяся рука не растопыривает кисточкой длинные прямые пальцы. Образы юноши хотят быть возможно реальнее в своем шаблоне, и в них перспектива уже убивает прекрасный иероглиф изображений. Детский карман наполнен первичными ценностями личного значения: найденной пуговицей, закушенным яблоком, бабкой, мелом, огрызком карандаша, свистулькой, самостоятельно вырезанной из вишневой ветки; но юноша уже несет чемодан или швейцарский мешок с набором усвоенных истин, алфавитом склонностей, коллекцией дешевых парадоксов. Ему подобает быть немножко циником, забегать вперед в отрицаниях, прислушиваться к росту волосков на верхней губе, мечтать о пенсне и тросточке – символах взрослости. Моя ранняя молодость протекала в сравнительно счастливое время, когда не было кинематографа и площадок для отбивания головой кожаного шара, не было даже велосипедов; недотяпанность и простота провинции была, по крайней мере, цельной и не опошлялась мировым экраном, газеты не заманивали авантюрным подвалом. Не избалованные выбором, мы читали лучшее, что было в русской литературе, потому что оно раньше и проще всего попадало в наши руки. Но что давало нам увлечение литературой? Искусственные образы, прикрашенное словесными узорами изображение идей и чувств. Мы любили по Пушкину и страдали по Достоевскому, выписывая закругленную фразу там, где естествен только крик радости или горя, привыкая к прописям раньше, чем в нас слагался собственный язык для выраженья нами открытых чувств. Может быть, это вообще неизбежно в культурных общественных рядах, где кустарник и деревья непременно стригутся под гребенку – и сад предпочитается лесу. Но я все-таки жалею, что гимназия, город, литература отвлекли меня от природы, которая в ранние детские годы, особенно в летнее время, заполняла мой мир целиком; жалею и о том, что мало знал окраинные улицы, быт бедняков, желтый дымок спичечных фабрик, которых было несколько в наших окрестностях, и только раз побывал на пушечном заводе, где директором был отец моего одноклассника. Не знаю, ясно ли я выражаю свою мысль: мы несравненно лучше знали жизнь по романам, чем по личным с нею встречам. Вероятно, потому образы моей юности так бледны и так охотно забылись, и иногда мне

кажется, что прямо из ребячества я попал в университет. И потому я упрямо миную гимназический быт, о котором другие рассказывают так красочно и так хорошо. В моей памяти отчетливо сохранилась только одна картина – не столько в фактах, сколько в отголоске пережитых ощущений, и это – картина какого-то странного патологического массового взрыва, безрассудного бунтарства, вероятно вызванного припадком безнадежной скуки и жажды чего угодно, но только нового, хотя бы катастрофы.

Могла быть латынь, воображаемая прелесть «Георгик» Вергилия, или могло быть то, что у нас называлось физикой, – зубрежка формул без ясности смысла, без опытов, без общего понятия о месте этой науки в неуклюжей и закоптелой храмине наших познаний, тягучий и трудный вздор, безграмотно изложенный усталым пьянчужкой и повторенный нами. Могла быть всеобщая история, в которой что-нибудь восклицали проглотившие шпагу императоры и не было ни народов, ни страстей, ни революций, ни движения вперед, только листанье страниц с отметкой крестиком да мельканье годов и имен. Могла быть даже словесность, в которой прасол Кольцов был так же велик, как вчера был Крылов и завтра будет Гоголь, тоже родившийся в таком-то году и уже в раннем детстве почувствовавший свое призвание, а потом начавший творить писанные чудеса. Во всяком случае, был еще один нудный гимназический день в комнате со спертым воздухом и запахом крысы в испачканном мелом вицмундире. Могло быть все, кроме молодости и живых интересов, кроме правды, понимания и хоть сколько-нибудь живого слова. Потом был получасовой перерыв, принесенные из дому завтраки и продажа в коридоре мясных двухкопеечных пирожков. Так было с первого класса – и мы дотягивали восьмой.

В перерыве между уроками один из нас – это мог быть и я, мог быть не я, мог быть здоровый, больной, каторжник, герой, идиот, умница, безразлично, – один из нас, руки в карманах, не зная что делать: запеть, запить, плюнуть, утопиться – подошел к черной классной доске, орудию пытки и экрану бессмыслицы, и ударом каблука отшиб нижний колышек, на котором гильотина держалась в своей рамке. За минуту до этого ни у него, ни у всех остальных не было в мыслях разбивать плотину нашей мутной реки и взрывать тюремные стены. На треск повернулись головы, всколыхнулась

дремота, и молча, как по уговору, все стали бить ногами черную доску. Она оказалась белой внутри, и она была разбита не на куски, а в малые щепы. Кто-то, на чью долю не выпало отвести душу сильным ударом, красный от натуги, выламывал железную дверцу изразцовой печки, другому силачу удалось отковырнуть кирпич, – и голыми руками, спеша и ломая ногти, мы в несколько минут разнесли печь, разбили и сорвали с петель стеклянную дверь, столик, кафедру и принялись ломать ученические парты. На грохот сбежалась вся гимназия, и мальчики восторженно и понимающе смотрели на разрушение, которое уже не могло остановиться, – Бастилия должна была пасть. Похмельные и ошалелые, в разорванных блузах и с исцарапанными в кровь руками, мы вышли в длинный коридор, очищенный классными наставниками, которые также все попрятались. Даже в швейцарской не было сторожа, и мы, одевшись, разбрелись по домам, не обсуждая и не оценивая, что и почему произошло. Но мы и сами ничего не понимали. Я помню только одно – что на другой день я пошел в гимназию и что там были в сборе почти все мои одноклассники – притихшие, но спокойные. Мы могли ждать любой кары, но почему-то у всех была уверенность, что в этом положении и у нас, и у нашего начальства выход один притвориться, что ничего не произошло. Разрушенная классная комната была заперта; для нас, восьмиклассников, был отведен физический кабинет. Уроков не было – никто из учителей к нам не вошел. Малыши смотрели на нас, как на героев, в шинельной сторож помогал снимать пальто, чего никогда не делал; попавший мне навстречу в коридоре классный надзиратель первым вежливо поклонился. В конце первого часа, бывшего для нас свободным, вошел к нам инспектор гимназии, единственный человек, которого мы уважали, умный, пожилой человек, хотя мрачный, запойный пьяница. Видимо, он не приготовил речи и не знал, с чего начать. Помявшись, он угрюмо пробормотал, что сегодня занятий не будет, но хорошо бы с завтрашнего дня спокойно приступить к урокам, потому что не за горами и выпускные экзамены. Уже двинувшись к выходу, он прибавил: «Что случилось – то случилось, и уж лучше, и для вас и для нас, об этом не болтать». Мне показалось, что у него дрогнула скула, и все мы были смущены. Наш бунт, больной, бессмысленный, ни против кого лично не направленный, был замолчан и забыт. О нем, конечно, говорили в городе, но в «округе» или не узнали, или не

захотели знать – класс был на выпуске и скандал был бы чрезмерным.

Мне странно вспомнить, что только эта страничка гимназических воспоминаний осталась в моей памяти как событие значительное и – я бы сказал – светлое: гроза, очистившая воздух. Не будь ее – мы вышли бы из стен «казенного заведения» угрюмыми и мстительными юношами, не способными на прощение; сейчас я готов допустить, что не все и не всегда в нем было отвратительно и что какую-то крупицу признательности я все же могу к нему чувствовать, хотя бы за то, что оно научило меня не делать ошибок в словах с более ненужной буквой «ять» и катать наизусть «Слово о полку Игореве». В частности, я сохранил уважение к угрюмому, давно-давно покойному инспектору нашей гимназии.

На нижней поверхности древесного листа – белое пятнышко, ряд вскрывшихся восковых пузырьков, в каждом крохотный жучок. Иногда этот выводок расплзается, но при первой тревоге все сбегается в кучу и прячутся по своим ячейкам. Таков же выводок паучков, рыбок, похожих на прозрачные стрелки, цыплят – на золотые шарики. Приходит какой-то момент, кучка разбредается, и один не хочет больше знать другого. Однажды мы выпускали в лес ежат одного помета, живших у нас в комнате и спавших вместе в тулье старой шляпы, наполненной сеном. Уже подросшие ежики немедленно разбрелись по зарослям вереска и можжевельника в разные стороны, даже не попрощавшись; хотелось им крикнуть: «Слушайте, ведь вы можете больше никогда не встретиться! А встретитесь – не узнаете друг друга, братья сестер и сестры братьев!» Приходит день, и юноши, восемь лет просидевшие рядом в одной душной комнате, зубрившие одну и ту же нелепость, разбившие в щепы и мусор и эту комнату, и эту нелепость, быстро разбегаются по свету и теряют друг друга из виду. После, уже случайно, сталкиваются в потоке жизни отдельные щепочки и делятся впечатлениями. Андрей и Митя оба стали врачами. Толстый, лысый, обрюзгший, протухший карболкой лаборант говорил мне: «Да так, ничего особенного, живу; одно могу тебе посоветовать, если еще не поздно: не женись, брат, не стоит!» Случайно на ученом диспуте, совсем не по моей части, подходит близорукий и добродушный человек, профессор геологии, и спрашивает: «А не из одного ли мы с вами города? Мне ваше лицо

как будто тоже знакомо!» – «Ну, седина меняет человека, а вот классную доску мы, пожалуй, разбивали вместе». – «Очень, очень рад встретиться, – говорит крупный человек с отличным брюшком, – да вот, как видите, учу сограждан уважать законы страны. А как вы?» С трудом припоминаю, что это Петька, отчетливый лентяй и болван, кое-как дотянувший курс. В журналах стихи и проза за подписью знакомой фамилии, не часто встречающейся. Но неужели это тот самый мой сверстник и одноклассник? Если бы я хотел предсказать его судьбу, я отвел бы ему теплое место в акцизном управлении или пустил бы его по учительской части в дальнем губернском городе, женил бы его на доходном доме, но искусство... Я вчитываюсь в его творчество, захопываю книжку журнала и отвечаю: да, это он!

Три-пять встретившихся еще раз в жизни имен – из нескольких десятков. С одним мы не расстались и в студенчестве, делили комнату на Бронной, делились и обеденными купонами студенческой столовой. Однажды мы пошли на сходку в старое здание университета. Я выдержал час – но больше не мог: у меня был приступ разочарования в защите чести студенческого мундира. Я вышел во двор и увидел, что проход на Моховую загорожен полицейским нарядом. Тогда я прошел узким подземным коридором в переулок и услышал, как за мной забивают дверь. На Никитской мне встретились казаки. Все это происходило ежедневно и уже наскучило. Очевидно, нас арестуют и вышлют, как в позапрошлом году. Я собрал вещи в чемоданчик и уехал к сестре, оставив сожителю записку. Но он не получил ее: прямо из круглой залы университета он попал на сибирский этап и умер, не доехав до места ссылки. Он был слабого здоровья, сутуловат, близорук, никому не страшен, но верен своим взглядам. Без событий – жизнь его вычеркнула.

Я, конечно, очень забежал вперед в своих воспоминаниях о юности. Пропущены самые обязательные страницы, и я попытаюсь восстановить их в обязательном тоне. От пристани отходит пароход, и мать машет мокрым от слез платочком. Студенческая фуражка была куплена еще весной, и голубой околыш успел слегка выцвести. Граница юности и молодости, но еще искусственная: уезжает мальчик, которому очень хочется казаться взрослым. За обедом в пароходной рубке я велел подать большую рюмку водки (рыбная солянка, стерлядь колышком!). Едет в столицу бывалый

студент. На мне серый летний пиджачок – форму хочется заказать в столице. Несколько интересных девиц – с маменьками и одиночек. Три дня парохода – истинное блаженство. Появляется соперник: высокий красивый студент с кудрявой бородкой: впрочем, не выше меня ростом, но все-таки – с бородкой! Меня утешает то, что он держится не бойко и, видимо, хотел бы со мной познакомиться. Когда я выпиваю свою рюмку – она лишь вторая или третья в моей жизни, – он краснеет и заказывает пароходному лакею такую же. Это меня бодрит, – а может быть, бодрит рюмка, и я бросаю со столика на столик: «Вы в Казань, коллега?» «Коллега» – это такое слово, такое слово, что его красоты и силы и пояснить нельзя! Чтобы произнести его впервые, нужна смелость и некоторая привычка к актерству; я приобрел ее, читая вслух Шекспира. Нет, он едет в Москву, а пока подсаживается к моему столику, и мы спрашиваем еще по рюмке. Хотя камская вода спокойна как зеркало, но пароход начинает покачивать. Да, он москвич, юрист, третьекурсник, то есть он перешел на третий курс. А вы казанский? Нет, я тоже еду в Москву и тоже юрист: по правде сказать, я только что поступил в университет. Я не понимаю, почему он смущен, но нам, во всяком случае, весело. Мы выходим на палубу. У него новенькая фуражка, и он завидует моей, выцветшей и уже слежавшейся на голове. На пароходе мы, конечно, интереснее всех, и при нашем проходе девицы делают равнодушные лица. Впереди три вечера. Дело в том, что жизнь, в общем, занятная штука. Воздух возбуждает аппетит, и за ужином мы опять выпиваем по две рюмки, а после пьем пиво. Тут оказывается, что его имя Борис, что у него в Москве есть сестра в консерватории, прямо сказать – очень хорошенькая, она вам живо вскружит голову. И уж если говорить по чистой совести, то он не третьекурсник, а тоже только поступил в университет, но, знаете, коллега, только не смейтесь, – у вас старая фуражка, и я боялся оказаться молокососом, к тому же думал, что вы едете в Казань. Мы радостно смеемся и говорим так громко, что все улыбаются и тоже радуются за нас. Ох уж эти студенты – лихой народ! У Бориса отличный баритон, на пароходе пианино, и новая фуражка побеждает выцветшую. Но дело в том, что одна из девиц необыкновенно прилежно читает. У меня нет голоса, но отличный слух, и я напеваю: «Бесспорно, чтение дает нам бездну пищи для ума и сердца – но не всегда ж читать возможно!» Она силится не слышать, но кончается тем, что

бегущие мимо берега внимают нашей беседе о литературе, – и уж тут побеждает фуражка отцветшей голубизны. В Пьяном Бору превосходные раки. В Казани мы теряем общество девиц, но приобретаем новые знакомства. В Нижнем Новгороде парходные удобства сменяются третьим классом поезда, и стук колес не мешает нам перекликаться, сделав из верхних полок мягкие ложа, так как с нами едут для будущей жизни одеяла и подушки, – и московский вокзал выталкивает нас, благоговеющих, на Садовое кольцо. Да здравствует молодость! Да здравствует преддверие настоящей жизни! Я всматриваюсь в темноту пройденного длинного коридора и в далекой его перспективе вижу мелькнувший свет, заслоненный фигурами юношей, смело распахнувших дверь и бегущих сюда: но им не удастся сохранить на своем пути бодрую походку. Мне хочется подождать, пока они подойдут и пройдут мимо стариками, – и низко поклониться своим воспоминаниям.

Юноша крутит над своей головой веревку с привязанным камнем. Снаряд вырывается и летит по кажущейся прямой. Юноша слишком размахнулся, и камень летит над деревьями, вершинами гор, минуя границы, отклоняемый ветрами и вихрями, сшибаясь с препятствиями, теряя силу. Мы вступаем в область географии, которая так плохо преподавалась, но со временем поддалась практическому изучению. Я изучал прибои и приливы разных морей и ломал язык для чужих гласных и согласных. В жизни взрослой и сознательной вкусил больше от Запада, чем от родины, и для приветствий и проклятий завел особую тетрадку – много тетрадей, – не для чужих глаз и не для печати. Там люди, идеи и события наколоты на длинные булавки, крылышки расправлены, все пересыпано нафталином. Бабочки, мушки, осы, стрекозы и его благородие жук-усач. Там великие люди из энциклопедического словаря ходят в спальных туфлях и неизящно сморкают носы. Там идеи играют в свайку и топчутся на одном месте, и из пустого в порожнее переливаются и пересыпаются явления со звонкими заголовками. Когда же камень, обернувшись бумерангом, ударился о петербургскую мостовую, у моей двери остановилась странного типа походная коляска с солдатом за кучера и усатый офицер-фронтовик уверил меня, что он не кто иной, как Володя Ширяев, с которым мы прочитали все, что написали для нас человеческие гении. Он был в отпуске с фронта и, узнав о моем возвращении в Россию, поспешил возобновить гимназическое знакомство. Мы

отправились на Острова, где в большом ночном ресторане подавали только квас и лимонад, и, однако, посетители были пьяны больше, чем в мирное время. Мы рассматривали друг друга, кожу, волосы, улыбки, искали знакомых звуков в голосе и говорили обо всем, кроме войны: о черепае бедного Йорика, о Великом инквизиторе, о княжне Мэри и Марфиньке, о разбросанных по вселенной чертовых куличках и надеждах тридцатипятилетнего возраста. «Помните нашу знаменитую ссору? – сказал Володя. – Согласитесь, что это было очаровательно!» Я помнил ссору и помнил взрыв, уничтоживший классную комнату; этот взрыв повторился спустя год – мы этого еще не знали, но уже могли предполагать. «Через три дня кончается мой отпуск, – сказал Володя без всякой горечи. – Я очень рад, что нам удалось встретиться». Я не знаю, был ли он убит. Но он был талантлив, и невозможно, чтобы о нем, живом, я никогда более не слышал.

Контролёр с удивлением вертит в руках мой билет: на нем помечена начальная станция, но не указана конечная: «Куда же вы, собственно, едете?» Я должен бы пояснить ему мое первое открытие: цель жизни есть сама жизнь, и я не умею эту жизнь резать на аккуратные кусочки. Грудные дети часто бывают похожи на старцев, старики падки на юношеские шалости. Однажды у меня встретились за обедом молодой поэт и старый общественный деятель; разница в годах – свыше сорока лет. Я не сомневаюсь, что в борьбе на поясах или в успехе у женщин победил бы молодой. Но в оптимизме и в приятии жизни они менялись годами: мысли молодого отдавали шампиньоном, старик просился в петличку летнего пиджака. Первый горделиво нес бремя общественной благотворительности, второй терпеливо ее организовывал, живя своим трудом. Это было лет пять тому назад; с душевным холодом за одного, с радостью за другого прибавляю, что старик пережил поэта, погибшего бесславно. И я говорю огорошенному контролеру: «Если поезд не сойдет с рельсов раньше, я еду до станции Утомления, не предугадывая ее официального названия». Мы же условились, что жизнь не делится на отчетливые возрастные кусочки. Я только что снял свою первую студенческую комнату в Москве – конечно, на Бронной и шел с бутылкой купить керосину для лампы. У дверей пивнушки меня остановил студент без фуражки, со всклокоченной бородой, свирепым видом и добрыми глазами: «Почему ты идешь мимо, рыжая бестолочь?» Собственно,

рыжим был он, а никак не я, но я почувствовал прилив восторга и гордости. Он вырвал у меня бутылку, которую мне одолжила хозяйка, понюхал и сказал: «О юность, иди своей дорогой, но помни, что все пути ведут в Рим»; затем повернулся и с бутылкой ушел в Рим. Мне очень хотелось последовать за ним в приглядный кабачок, но я не решился. На цыпочках, высоко держа голову, я трижды прошел по Тверскому бульвару, от Пушкина до столовой Троицкой, – и мир был светел и полон надежд. Не эти ли минуты считать священным отплытием от берега юности в океан молодых переживаний? Ещё в круглом зале профессор Чупров не произнес своего бархатного «Милостивые государи!», еще не блестел полировкой под низкой лампочкой стол в Румянцевской библиотеке, еще Манеж на Моховой не говорил о пределах студенческой свободы. Новенькие фуражки, встречаясь на улице, отводили глаза, но сердца сияли приязнью – начало соборности. Мои руки вытягиваются и обнимают ряд зданий – и двор с нелепой куклой Ломоносова, и холод колонн университета в Риме, и Сорбонну, катящуюся по скату улицы Сен-Жак! С влажными складками крыльев бабочка высвобождается из кокона, – и предстоящий ей мир не меньше нашего; я хотел бы огромным карандашом зачеркнуть много строчек, страниц и книг и в прошлом, и в настоящем, оставив вне скобок только минуту ее первого вылета. Чистый звук струны, без развитого мотива, без дирижерской палочки, бесспорность неуловимого разумом и не отравленного стерегущим сомнением. В булочной Филиппова на Тверской пирожок стоил пять копеек, счастье бесплатно. В окнах книжного магазина ответы на все улыбались синими, серыми и желтыми обложками, московский ванька обожал свою лошадь и уважал седока, река деловито бежала под стенами Кремля, и у мостов ее вода, натываясь на камни быков, напоминала морщинками лапки у серых смеющихся глаз. И тут живут, и за рекой живут, как живет и вздымается в дыхании грудь всей земли, заселенной мудрецами и рыжей бестолочью. Потом – но только потом – эти камни, окна, книги, мосты, серые глаза, дышащие груди, бегущие через поля столбы, подводные лодки, лачуги и вавилонские башни, крохи познаний и бездны невежества, биржи, самолюбия, подвиги и все слова, предметы и понятия взорвутся, сольются в клокочущую кашу из металла и тел, испепелят веру, изнасилуют любовь и волосатая рука покажет наивной вековой

мудрости огромный кукиш с загнутым желтым ногтем, – но это потом, в темном холоде будущего, которое юноша приветствовал голубым околышем фуражки, – и был прав, не угашая слишком рано надежды, без которой жить нельзя. Когда обратно по бульвару я шел домой, забыв, что керосин не куплен, сидевшая на лавочке женщина с приветливой хрипкостью голоса бросила мне: «Коллега, дай папироску!» Неся свой восторг, я прибавил шагу и, поднявшись на воздух, плавным поворотом влетел в устье Латинского квартала.

Рано утром я стучу в дверь комнаты и бужу юношу, доставленного мною на станцию «Молодость». «Не позабудьте, – говорю я ему, – что сегодня ваша первая лекция и вы делаетесь “милостивым государем”». Его глаза сияют. Я пожимаю ему руку, желаю быть кузнецом своего счастья и, спускаясь с лестницы, вижу котенка, играющего клубком. Клубок разматывается, и настоящее уходит в прошлое. Моя задача выполнена, мне некуда больше спешить, и я возвращаюсь в это прошлое, шагая по шпалам железнодорожного пути. На слиянии двух рек, Волги и Оки, меня задерживает раздумье и излишек досуга. Водяная поверхность покрывается салом, побережье белеет, – и по льду, лениво вытянувшись, располагается санный путь. Тогда я меняю маршрут и иду на Самару и Уфу. На станциях продают кустарные изделия из чугуна, слюды и каменной соли: рядом чертик и Евангелие. Наполнив ими дорожный мешок, я палкой помогаю себе взобраться на отрог Урала – хотя и на ровном месте уж не обхожусь без легкого посоха. Какие-то воспоминания связаны с Челябинском, – кажется, здесь мы немножко скандалили, отправляясь в первую ссылку. На горном перевале столб: «Европа – Азия». В Екатеринбурге с детской страстью я люблюсь переливчатыми камушками, горками горного хрусталя и почками малахита. Черные прожилки на темной зелени пробуждают непонятное беспокойство, и мне хочется скорее добраться до еще более знакомых мест. Обратный столб «Азия – Европа», потому что раньше был только этот кружной путь из Москвы на родину, и он был прекрасен. Запущенные снегом бесконечные лесистые кряжи, нетронутая природа, чистый воздух орлиных гнезд. Путь к камским берегам ведет по понижающимся отрогам, тропинками, протоптанными арестантской беглой шпаной. Поздним вечером я разыскиваю деревянный дом и вижу в окне свет знакомой лампы. Дверь не заперта, но я не сразу решаюсь войти; за дверью слышен как бы

удар молоточком: женская рука разбивает кедровый орешек осколком малахита. Котенок играет клубком, уже размотанным почти до конца, и его лапы путаются в нитках. Я захожу лишь на минуту – передать привет от нового «милостивого государя», который очень прилежно слушает лекции. Глаза женщины отрываются от пасьянса, но я уже снова на большой дороге, ведущей из города, мимо кладбища, в глубь леса. Привет черепу бедного Ёрика! Детьми мы делали из деревянных рогаток и каучуковых трубок отличное орудие, которым разбивали чашечки телеграфных столбов на сибирском тракте – не зная, что это называется преступлением. Поворот к деревне мне знаком, как прежде: березовая опушка и глубокая колея в сторону на четвертой версте. Совсем внезапно пришла весна, над полями уже голоса жаворонки. Воз, нагруженный всякой домашней утварью, увенчан самоваром в руках моей нянюшки, мы с тою же медлительностью следуем на извозчике. Первый визит на косогор с клубникой – с него спуск к речке. Отец носил летом костюм из чесучи и широкополую соломенную шляпу. У меня за плечами мешок с приборами: коробки для растений, совочек для их выкапыванья с корнем, еще разная разность высокого назначения. Иногда брали заступ – когда шли открывать родники. Временный желобок отец делал из бересты; всегда с нами резиновый стакан пробовать воду, сладка ли, – она всегда была сладка и освежающа!

Разматывая клубок ниток, чтобы перевязать пучок листьев папоротника, я замечаю, что клубок истрачен и его нити воспоминаний не хватит на дальнейший откат к детству; теперь это делается проще обратным ходом кинофильма. Мы выбираем сырой склон, где особенно пышна растительность и богаты мхи. Отец налегает на заступ городским башмаком, и мы ждем, не появится ли в ямке вода. Мне хочется, чтобы эта картина была последней, потому что она мне очень дорога. Краски туманятся, в глазах рябит дрожащая сетка, и последнее, что я слышу и помню, – очень серьезный и очень убедительный голос, который говорит мне, как совсем взрослому:

– Вот и еще один родник свежей и здоровой воды. Мы сделаем желобок, и кто-нибудь, напившись, помянет нас добрым словом. Куда потечет эта вода?

Я уже знаю и подсказываю скороговоркой:

– Отсюда в речку, из речки – в Каму, из Камы – в море, из моря – вернется сюда же легким облачком...

Отец смеётся, достает резиновый стакан и первым пробует воду. Затем отпиваю я, и занавес бесшумно опускается.

Молодость

Страсть превращать чистый лист бумаги в суету скользящих строк с зачеркнутыми словами и надстрочными добавками, вечно вязать нескончаемое кружево мысли и слов, – эта неизжитая страсть, перешедшая в привычку, побуждает меня продолжить записки о жизни. Но если детство и юность, всегда овеянные поэзией, вспоминались с легкостью и для них находились избранные слова, то в зрелые годы – это уже не картинки, не туманная акварель, вольная игра кистей и красок; и это не написанная и отложенная в сторону книга. Их не отделишь с простотой и полным спокойствием от дня сегодняшнего, который просится в последнюю графу человеческих сроков, в рубрику подкравшейся старости, – что ни говори, как ни старайся преувеличением недугов вызвать возражение зеркала: «Вы удивительно сохранились, это только случайная слабость, которая пройдет». На жизни поперечные трещины, она давно распалась на части, и не все в ней кажется действительным и своим. Есть такое насекомое медведка, маленький жестокий вредитель-корнеед; огородники уверяют, что разрубленная пополам острой мотыгой медведка, прожорливость которой знаменита, иногда съедает отделившуюся часть своего туловища. Со мной постоянно происходит подобное: отрезок отдаленного прошлого перестает быть своим, он кажется выдумкой, литературным материалом, и, если исключить его из жизни, я не почувствую ни боли, ни сожаления. Мне кажется забавным этот белобрысый московский адвокатик, отрастивший для солидности бородку и носивший много длинных званий, почтенных и неудобопроизносимых: «помощник присяжного поверенного округа Московской судебной палаты», «присяжный стряпчий коммерческого суда», «опекун суда сиротского», «юрисконсульт общества купеческих приказчиков», «член общества попечительства о бедных» и многое еще. В возрасте двадцати пяти лет мы были и считались взрослыми. Я говорю это нынешним тридцатилетним, сорокалетним мальчишкам,

все еще безответственным и неустроенным в жизни, говорю не в укор и не в поученье. Жизнь осложнилась, непомерно удлиняется и период к ней подготовки. Сорок лет казались нам пределом молодости и живой силы. В этом возрасте люди уже успокаиваются и хотят, чтобы все кругом было устойчиво и неколебимо, а мы жаждали движения и бунта. Свои профессии мы считали общественным служением и не хотели замыкаться в технической узости, были непременно романтиками и, конечно, революционерами. Позже, в эмигрантские годы, живя в Италии после крушения революции пятого года, я попросил однажды приятеля, итальянского адвоката: «Укажи мне хороший курс итальянской литературы». Он удивленно ответил: «Я не филолог, я юрист». – «Мне не нужно книг специальных, укажи обычный хороший учебник». Он повторил: «Да ведь я же адвокат, откуда мне знать?» И я понял, как мы отличались от европейцев своим отрицанием специальности, своей жаждой знаний общих. Я, наверное, мог бы указать ему лучший курс хирургии, физики, философии, даже руководства по столярничеству или рыбной ловле. Но и в своей профессиональной области мы не искали непременно карьеры и заработка. Я несколько побаивался больших выступлений и очень любил кропотливые делишки в мировых судах, где была так очевидна помощь юриста бедному тяжобнику, не разбирающемуся в статьях закона, где было можно героически обрушиться на подпольного ходатая по делам, тянувшего с клиента деньги, невежественного и полного самоуверенности, пока он не сталкивался с подлинным, хоть и молодым, юристом. Я с горячностью и волнением защищал прощельгу, поклявшегося мне, что он не крал пальто с вешалки и что он – жертва навета. Судья, доверившись моей искренней убежденности, оправдывал моего клиента, который потом приносил мне скромный гонорар: серебряную ложку, очевидно, тоже им украденную, а впрочем, она оказывалась фальшивого серебра. Я смеялся, но продолжал и впредь верить. Случайно, по указанию какой-нибудь кухарки, видевшей на двери мою адвокатскую дощечку, вваливались ко мне владимирские мужики, строительные рабочие, бородатые, тяжелоногие, и я вел дело их артели, обиженной подрядчиком, и чувствовал себя защитником прав трудового народа. Я не брал с них денег и даже тратил от своей скудости, считая честью быть их покровителем и ходатаем; и, выиграв дело, взыскав с нечестного

подрядчика недоплаченные им гроши, я сиял радостью и провожал их до дверей, похлопывая по плечу со всей молодой солидностью. Я не хвастаю добродетелью – я был точно такой, как все недурные люди моего времени, из средних общественных классов, – прежде всего «служители правды и справедливости»; это придавало жизни особый вкус и нисколько не мешало нам к сорока годам обрести более жесткой кожей и переходить в стан удовлетворенных, умеренных, растивших брюшко, но все еще считавших себя и жертвами и врагами «режима». Все же были и такие, которые до старости оставались поэтами, будем к ним справедливы. Еще и сейчас встречаю людей моего прошлого; они помнят слова студенческих песен, они пьют водку, настоящую на перце, вздыхают и куда-то рвутся, хотя жизнь давно приколола их кнопками к семье, к делу, к бесконечно катящейся по проторенной дороге жизненной тележке. Бесценные товарищи, просчитавшиеся мечтатели, кавалеры осмеянного ордена русских интеллигентных чудаков! Полный к ним нежности, я горжусь своим с ними кровным родством, хотя события личной жизни рано выбили меня из их рядов и вообще из русской жизни и унесли наблюдать жизнь чужую, – только наблюдать, сердцем в ней не участвуя. Я вспомнил о своем кратком, трехлетнем адвокатстве, так как с чего-то нужно начать рассказ о зрелых годах. У меня была приемная, был кабинет, были телефон, пишущая машинка, копировальный пресс, портфель, фрак со значком, настольная библиотека юридических справочников, деловые обложки с моей фамилией, медная дощечка на внешней двери, эмалированная на улице. Я защищал, взыскивал по безнадежным векселям, писал великолепно составленные письма «с совершенным почтением». В швейцарской «здания судебных установлений» был у меня свой крюк на вешалке, с наклеенной над ним моей фамилией, которую швейцар иногда помнил, на вешалку не глядя. Я работал самостоятельно, независимо от патрона, ведшего лишь большие дела и не имевшего для меня маленьких. Я выезжал иногда в фабричные городки, где рабочие протягивали мне культипки рук, искалеченных текстильной машиной, давал купеческим приказчикам советы по коммерческим делам, которые они знали гораздо лучше меня, мирил наследников, полюбовно поделивших доходные дома, но поссорившихся из-за произвольно зарезанной свиньи и кучи старого железа, опекал сирот, бродил по камерам

участковых судей и квартирам судебных приставов. У меня была недорогая, но солидная шуба и боты, шаркавшие по снежной московской мостовой, и об одном проведенном мною деле была газетная заметка. Но очень скоро на диване в моей приемной стали спать по ночам подозрительные люди, бежавшие с политической каторги, на машинке отстукиваться тексты пылких и буйных прокламаций, которыми затем набивался мой адвокатский портфель, квартира стала служить для явок и сборищ, мое звание – для прикрытия общения с самыми разнообразными молодыми людьми, мало похожими на клиентов.

Был 1904 год. Наступил и 1905 год – год Московского вооружённого восстания. Не будет последовательности в моей жизненной повести. Нет, я не буду рассказывать о революции. Вообще не буду рассказывать – мне хочется рождать образы прошлого, дав им полную свободу. Мы живём в последовательности дней, месяцев и годов; но, оглядываясь на прошлое, мы видим путаницу событий, толпу людей, нагромождение сроков и дат. В бывшем есть реальное и есть кажущееся, прежде важное стало ничтожным, маленький случай вырос в Гималаи, легкий мотивчик песни запомнился в укор стершейся в памяти симфонии. В воображении я ищу друга тех времен, молодого и полного надежд, и он, потирая старческую поясницу, досадливо кивает мне издали на друзей позднейших, давно его заменивших; я ищу женщин, но их карточки выцвели, съеденные солнцем и временем, и даже от прежних икон остались только потухшие лампадки с плавающими в деревянном масле мухами. Есть счастливцы, прожившие весь свой век в одном доме, в одной квартире, все в тех же комнатах, стены которых дышат их дыханием и привычно отражают звуки их слов; их письменные столы, регистраторы, ящики их комодов, кладовые наполнены прекрасной рухлядью вещественных доказательств их быта. Другим удастся по всему свету таскать за собой огромный, по углам лоснящийся кожаный чемодан с наклейками гостиниц, таможен, с царапинами сотни вагонных полок и багажных складов, – чемодан, вмещающий самое ценное, ветхое и новое; трогательную собственность, внешний оттиск внутренних переживаний, воплощенье жестов и дум, суету и кутерьму остывших страстишек, сокровенную ненаписанную историю. У меня ничего этого нет, хотя я очень люблю вещи и вещицы. Все,

что меня окружает, до неприличия молодо, ему не больше года. В груди писем только недавние даты, и эта единственная рукопись только сегодня начата. Так бывало не всегда, но время от времени так случалось: спасшись при очередном кораблекрушении, я подплывал к незнакомому берегу и из веток незнакомого дерева строил очередной шалаш. Затем, осмотревшись, Робинзон вырубает хижину, находит и сеет семена хлебных злаков, приручает козу, знакомится с Пятницей. Но с Робинзоном Даниэля Дефо это случилось только раз, – как прочны были раньше общественные устои, как была несложна человеческая жизнь! Затем он вернулся на родину и пустил в мякоть кресла прочные корни. Он пил настоящее вино, или эль, или сидр и мозолил ближним уши рассказами о своем необычайном приключении, пока Пятница неистово врал о том же в кругу знакомой соседской прислуги. Вариант – Дон Кихот и Санчо Панса; романы должны кончаться хорошо. В действительности люди богатой жизни нередко умирают на промежуточной станции или под забором, – но не стоит говорить чувствительно. У меня много времени, и, если вы столь же свободны слушать, я расскажу случай, до которого в порядке последовательности вряд ли добрался бы, так как он заимствуется из истории самой свежей катастрофы, впечатления которой не изгладились. Но для начала рассказа я должен откатиться лет на восемьдесят назад, к шестидесятым годам прошлого века. Мой отец, молодой юрист, провинциал, увидал в театре, в ложе уфимского губернатора Аксакова, красивую девушку, только что приехавшую в город. В тот же вечер он перегнул пополам длинные листы писчей бумаги и начал писать дневник, обращенный к этой незнакомке, – дневник любовных страданий. Он владел пером лучше, чем чувствами, и повесть о его любви сохранилась среди его бумаг и перешла по наследству ко мне, тем более что предметом его любви, казавшейся столь же страстной, сколь и безнадежной, была его будущая жена – моя мать. Тетрадь пожелтела, сохранив все благоухание юности; она озаглавлена «Мои бредни», и нить романа обрывается в ней на первых встречах и первом ощущении полной безнадежности. Случай спас эту тетрадь при трех моих жизненных крушениях: всякий раз она неожиданно выплывала из небытия и снова оказывалась в заветном ящике моего стола. Убегая из Парижа, которому грозило унижение, я был вынужден оставить там все, что было мне дорого. Полчища

Атиллы захватили город, и мои рукописи, мои книги привлекли их внимание; за полторы тысячи лет гунны не изменили своих привычек и своего вкуса к грабежам. Когда моим друзьям удалось проникнуть в ограбленную квартиру, они не нашли в ней ничего, кроме лежавшей на полу, среди мусора, старой тетради, которую подобрали, чтобы передать мне, когда мы увидимся, – если увидимся. Это был дневник моего отца, единственная, чудом сохранившаяся семейная реликвия. Вы видите, как судьба, порывая крепчайшие связи, не стесняясь никакими кощунствами, заботливо или насмешливо сохраняет нам щелочку для дыхания, предлагая в личной жизни продлить историческое бытие. Со мной нет этой тетрадки, но она меня ждет и не позволяет мне сказать, что прошлого не было и что жизнь зародилась вот в этом крестьянском домике, в окна которого настойчиво заглядывает французское солнце. Я подчиняюсь и продолжаю писать повесть долгих лет.

Если где-нибудь уцелела хоть часть моего жизненного барахла – в каких-нибудь важных учреждениях политического сыска, да будут они все прокляты вместе с их изобретателями! – то среди вещей, вещиц и бумаг могла бы оказаться фотография молодого человека, худого, долговолосого, в платье с чужого плеча. Он сидит в саду, в плетеном кресле, и направленный на него объектив аппарата нипочем не уловит его душевного состояния. Это я, вышедший только что из московской Таганской тюрьмы и скрывшийся на даче у знакомых – лишь на два дня. Меня выпустил под залог следователь, свидетели которого отказались меня признать, но узнать о моей свободе могут жандармы, уже приговорившие меня к ссылке в Сибирь. Русские учреждения по подавлению личности были сложны и работали не всегда дружно; вероятно, сейчас эта часть поставлена более образцово в новом царстве свободы. Во всяком случае, завтра я пушусь в дорогу, остриженный и выбритый, и мой путь, с кратким перерывом, продолжится сорок лет.

Только тот знает, что такое свобода, кто знает также, что такое тюрьмы, что такое полметра кирпичной стены, отделяющей от вольного воздуха. Хлопанье тяжелой, обитой железом дубовой двери и поворот ключа. Равнодушие видавшего виды тюремного сторожа. Ломкость ногтей, царапающих стену. Бессилие ненависти, – а ведь мы проповедовали любовь всех ко всем! Керосиновая лампа в клетке под потолком, сестра-узница. Мука бездействия.

Прислушиваясь – слышишь тишину, кажущуюся стоном. А может, все это только кажется? Закрыв глаза – ждешь чудесного прозрения, открыв – видишь те же стены с небрежно забеленными известью надписями предшественников. Но одна ускользнула от внимания – на обороте деревянного табурета: «На воле я друзья очень был мало жизнь проклятая заела». Писал, должно быть, вор-рецидивист. В высокое окно заглядывает голубизна отнятого неба; в проделанную в двери дырочку, откинув внешнюю заслонку, смотрит глаз надзирателя – не повесился ли заключенный. В список проклятий молодой юрист вносит: закон – произвол – суд – право – насилие – государство, все в одну рубрику, без разделов и оттенков. Сумасшедшие люди, во что превратили вы жизнь – такую радость, такое благо! Сжать виски, чтобы самому не сойти с ума. Вот так звери в зоологическом саду меряют шагами пол клетки, механически заноса ногу при поворотах, всякий раз ступая на свой прежний след. Это мои братья – и вор-рецидивист, и пантера, и мартышка, и канарейка. Отчего же сюда не приводят детей – показать им их будущее? Как-то я увидел в парижской газете фотографию слона, убившего сторожа зверинца; я вырезал портрет слона и хранил с любовью, хотя в то время уже много лет прожил без решетки. За яд, который вы влили в мою кровь, – и уже нельзя ее очистить, я всю жизнь старался это сделать! – за этот яд я высекаю на камне, выжигаю на дубовой доске, отливаю в свинцовые буквы свой список проклятий, с тех дней до пределов маленькой человеческой вечности. У меня нет слов, или, наоборот, я боюсь ими захлебнуться. И если бы моего палача посадили под замок, я сорвал бы замок и с его двери.

Бессильны мои строки, мои выкрики. Старый писатель, я отлично знаю, что лишь спокойными, взвешенными, может быть, расчетливо-злыми и ядовитыми словами можно передать свои негодующие мысли; крик ранит только детей и женщин. Но я пишу не произведение – я пишу жизнь. И мне трудно обойтись без отступлений. Насколько легче писать о других, шить платья на марионеток, ниточками которых играют пальцы!

Дальше – только пятна памяти. Я в сером пальто и серой, на лоб надвинутой кепке, в своем тщательном маскараде больше всего похожий на человека, который своим таинственным видом хочет привлечь внимание, то есть хочет того, чего меньше всего хотел бы. В Петербурге прямо с вокзала на финляндский пароход. Со

мною нет никаких вещей; впрочем, у меня вообще ничего нет, потому что мое прошлое зачеркнуто, а за время моего пребывания в тюрьме все, что не было украдено полицией, украдено дочиста, до последней нитки, другими профессиональными ворами. И на этих последних я не обижен: они – мои братья по тюрьме, и от них я отличался только гражданской одеждой и одиночной камерой. Я родился в середине великого пути, который проложен через всю Россию в Восточную Сибирь; служил раньше, служит и посейчас. Через мой родной город гнали пешком арестантов, доставленных по реке на барках. Так и говорилось: «гнали»; говорят так про скот и про людей необычной, бунтующей воли. Арестантские песни были у нас в почете. Вообще мы, русские, странные люди. Когда на европейской улице ловят преступника, обыватели в этом помогают; у нас радовались и помогали любому побегу. Наши сибирские крестьяне называли арестантов «несчастненькими», купцы и богомольные старушки посылали в тюрьму чай, сахар и калачи. В Париже я долго жил близ тюрьмы Сантэ и никогда, проходя мимо нее, не упускал подумать: как было бы хорошо взорвать эту высокую ограду и посмотреть, как во все стороны разбегутся заключенные! Среди них немало негодяев, хотя, конечно, не больше, чем среди тех, кто их лишил свободы. Я охотно спрятал бы у себя бежавшего из тюрьмы бандита. После он, вероятно, обобрал бы меня, может быть, прирезал; но, конечно, не это может меня остановить. Вам такие слова покажутся назойливо-дерзкими, такие мысли парадоксальными; но от вас, защитников принципа свободы личности, я отличаюсь только последовательностью и откровенностью.

На пароходе я притворился иностранцем, вернее – немцем. Перегон был невелик, и в Гельсингфорсе я был по-настоящему свободен. Еще просыпался ночью при малейшем шорохе: мне казалось, что сейчас загремит ключ в замке тяжелой двери или дежурный уголовный арестант откинет в этой двери форточку и весело крикнет: «Кипяток!» Но утром гулял по Эспланаде и любовался румянцем и сытым видом финнов и шведов. В порту пахло рыбой и йодом. Если бы не застенчивость, я вспрыгнул бы на уличную тумбу и, взметнув руками, закричал: «Сейчас улечу – я свободен!» Я был почти в Европе; и Европа казалась мне... я еще совсем не знал Европы. Я только что родился. Финляндия – прекрасная девушка, у которой двуглавый орел хочет вырвать

книгу ее законов; эта картина висела в моем адвокатском кабинете. И вот я в Финляндии.

У меня нет при себе не только любимых старых вещей, книг, материнского портрета и дешевого, стоимостью в одно су, купленного на базаре колечка, которым мы, шутя и серьезно, обручились с моей будущей женой, – у меня не осталось даже образов жизни, не использованных вразброс по моим книгам и очеркам. Все, что я сейчас пишу, мне кажется уж рассказанным когда-то, по какому-то случайному поводу, – мы так нерасчетливы, бедные трудовые писатели. Какой-нибудь придуманный человек на страницах моей книги, наверное, смотрелся в спокойную воду у берегов Финского залива, жил на островке финляндских шхер, дышал воздухом, напоенным хвоей, и, торопливо раздевшись, бросился вниз головой с вылизанного временем и волной камня в полусоленую воду, чтобы побыть некоторое время в славном обществе щук, карасей, корюшек и салакушек. Не без удивления он спрашивал почтенную хозяйку, для чего она привешивает светлую шерстинку к висячей люстре и почему так часто ее меняет, – и проникался уважением к чистоплотности отменного народа, узнав, что это – скромная уборная для мух, любящих садиться снизу на висящие предметы. Может быть, я даже рассказал где-нибудь, как по улицам финской столицы бродили русские сыщики, принюхиваясь, не пахнет ли в каком-нибудь подъезде дома динамитом, который в спальнях подушечках или под корсетом провозили в Петербург революционные девушки, одетые светскими дамами, заставляя дрожать министров и обитателя Зимнего дворца. Мы жили в Финляндии недолго, меньше года, и я не успел обрасти вещами – помешала бедность и мечта о скором возврате в коренную Россию. Но вышло иначе, и однажды пришлось торопливо собраться и погрузиться на пароход, отплывавший к берегам срединной Европы; Финляндия лишь в слабой степени пользовалась автономией управления, и положение русских политических беглецов не было в нем прочным.

Европа именуется великой страной, но для нас, привыкших к пространствам, она лишь маленький мирок, правда, тесно заселенный и насыщенный историческими словечками. Она суетлива, буржуазна, домовита и считает минуты за время – мы швыряемся часами и днями, не придавая им ценности. Она утонула в предметах собственности, которыми каждый в ней дорожит почти

так же, как жизнью, – нам, голым героям, это казалось смешным. Но она, тогдашняя (уже давно нет той Европы), очаровывала нас свободой, какой мы никогда не знали, ненужностью паспортов, возможностью громко высказывать свои мысли и, не перекрестясь, перешагивать границы. Мелькнула Дания, затормозился поезд на франкфуртском вокзале – и вот белым корабликом заколебался лебедь на Женевском озере. В калейдоскопе прыгали и пересыпались разноцветные стеклышки. Это и есть Монблан? Какое нагромождение прекрасных безделушек на нашем пути! Еще так недавно я проводил по пять суток в вагоне, чтобы навестить свою мать в дни университетских каникул; здесь в сутки мы пересекали несколько государств. Мы обращали на себя внимание и внешним видом, и громким говором; это так естественно: возвышать голос в Киеве, чтобы слышно было в Москве и чтобы откликнулись в Иркутске и Владивостоке. Мы не привыкли к миниатюрам. Я живу в Европе тридцать лет, ее масштабы давно мне знакомы, – но до сих пор иногда ощущаю себя слоном в игрушечной лавке. Франция, например, очень почтенная страна, но все же она меньше губернии, в которой я родился; губерний в России было восемьдесят. Я пишу это, конечно, не без гордости. Я не дружу с правительством нынешней России, как не дружил с правителями царской, как не свел бы дружбы и с «временным», если бы оно обратилось в постоянное, чего, к счастью или несчастью, не случилось. Но на карту Евразии я очень люблю смотреть, вымеряя пальцами какую-нибудь горделивую страну и пытаюсь впихнуть ее в уезд Пермской губернии, который на лошадях, дважды в год, объезжал мой отец по своим судейским делам, прихватив служащего и мешок с морожеными пельменями. Что скрывать – российское «мыста» во мне живет прочно. Вот добраться бы хоть сейчас до границы да кувырком через голову прокатиться «от финских хладных скал до пламенной Колхиды», легонько зашибив свой хребет об Уральский. Громадна наша страна, и я понимаю европейцев, которые называют Сибирь русской колонией: им завидно, а Сибирь самая подлинная Россия, ее не оторвешь. И мы – люди большого роста, крепкие и здоровые, равно привыкшие к жаре и морозу. Если бы Россия не была из века в век деревянной и горючей, она задавила бы мир архитектурой и историей, как давит и смущает литературой и музыкой. Но ее настоящая история вся впереди, и старым я хвастаю только так, для

сведения счетов с мурашиками, называющими нас «нежелательными иностранцами»; я не сержусь на этих мурашей, зная, что они все равно мне поклонятся, а я, по природному нашему великодушию, протяну им не два пальца, а всю пятерню – мы народ отходчивый.

Я люблю в Европе северян. Мы родня. Возможно, что есть во мне и татарин, но, во всяком случае, есть варяг. Мы пропахли смолой, мы одинаково молимся и лешему, и водяному. Князья и викинги, мы равно землепашцы, охотники, рыболовы, люди простые, без дурацких феодальных замашек, без кичения голубыми кровьями, без поклонения гербам, – природные демократы. Только мы знаем, что такое весна; и журчаньем ручьев, стрекотом мушьях и жучьих крылышек озвучена и наша, и скандинавская литература. Из сердец наших – ударь кинжалом – брызнет кровь, а не немецкое пиво, не французский сидр и не патока с примесью курортных вод. Думаю, что на этом можно и закончить восторженное бахвальство.

Оно несколько отвлекло меня от картин бегущей ленты кинематографа. Снега Савойи. Сен-Готардский туннель. Поезд вылетает на вольный воздух и катится под гору, прямо от зимы на лето. Теплая ночь в оте ... канья чужих пейзажей и усталости голова плохо соображает. Но наутро в распахнутое окно врывается столько солнца, сколько может его уместиться в сознании, и я впервые в жизни вижу апельсин не в магазинном ящике, а на ветке. Это Нерви, итальянский прибрежный городок, позже мне отошневший. В полдень местный поезд увозит нас в другое местечко на той же Ривьере, где уже снята вилла для небольшой компании русских беглецов.

Я не Бедекер³⁸, чтобы отмечать звездочками места, где жил и был, да и звездочек, пожалуй, не хватит на моем закатном небе. Италии, роману моей молодости, я посвятил и книги, и осколки книг, все это укатилось в прошлое, и Италия теперь не та, даже имя ее звучит по-иному. Черноглазая девушка захотела стать синьорой, а я любил именно черноглазую девушку, любовью северянина, пригретого чужим солнцем. Спасибо, дорогая, за десять лет ласковой дружбы! Я понимаю, что нельзя вечно оставаться цветочницей на Испанской лестнице или плясать тарантеллу. Та девушка с затибрской стороны Рима, работница табачной фабрики,

³⁸ То есть не автор путеводителей, по имени Карла Бедекера (1801–1859), известного издателя справочной литературы для путешественников.

получившая приз за красоту – за действительную, непобедимую, всепокоряющую красоту, – тоже впоследствии вышла замуж за европейского комиссионера, представителя фирмы моторов. Все это меня мало касается, и моя любовь была платонической, может быть, даже простой благодарностью. В ватиканском музее есть жертвенник рождающейся Венеры – я его называю по-своему, – и руки прислужниц помогают богине покинуть морскую пену. Выйдя, она наденет современный костюм и будет принимать в своем салоне дипломатов и изобретателей патентованных государственных систем. Мне-то что за дело! Я видал этих людей сотнями; они продаются в лавочках всемирной истории. Но Венеру, с живого мрамора которой нежной тканью сбегает вода, я не обещал забыть, – о *gioventu, primavera della vila!*³⁹ Среди двухрядных перлов блеснул золотой зуб... Раскланиваюсь издали и отхожу, потому что у нас есть свой собственный истукан и, по совести говоря, азиаты умеют чище оттыпывать головы тем, кто им не по вкусу.

Немало горечи в моих словах. *Amor che a nullo amato amar perdona...*⁴⁰ Но времена поэзии прошли. Три этажа дантовской поэмы уже соединены подъемной машиной, и мальчик, одетый в черную рубашку с галстуком, выкрикивает: *il purgatorio, avanti chi scende!*⁴¹ Я выхожу, не дожидаясь обещанного рая, куда уже поднялось достаточно европейских народов.

Уклоняюсь от соблазна писать историю виллы «Мария» на средиземном побережье, чтобы не обратить моей повести в усердную хронику. Но в памяти жив скат к морю обширного сада, запущенного, разросшегося, в котором пестрели цветы и наливались плоды без ухода, по воле; часть сада нависла над выходом из железнодорожного туннеля, откуда с внезапным грохотом и лязгом вырывались поезда и снова проваливались в тишину. Сад кончался голыми скалами, по которым шла вниз тропинка к небольшому заливу, нашему собственному, отовсюду закрытому. Пляжа не было – в голубую воду гляделись глыбы серого острого плитняка, они же синели под водой и жались к берегу. В бурю заливчик обращался в кипящую кастрюлю, вода выбрасывалась на большую высоту и соленая пыль через весь сад

³⁹ Юность - весна жизни! (Итал.).

⁴⁰ Любовь, любить велящая любимым... (Итал.).

⁴¹ Вперёд тот, кто спускается! (Итал.).

залетала в наши окна. Летом мы купались трижды в день, были среди нас охотники и до зимнего купанья. Все мы были работниками, писали статьи и книги для российских издательств, жили скромной коммуной, дивили итальянцев количеством выкуриваемых папирос и получаемых и отправляемых писем. В десяти комнатах сменялись проезжие гости, преимущественно беглецы, иногда из сибирской каторги. У меня было особое пристанище – заброшенная домашняя капелла с каменной Мадонной на престоле, служившем мне складом книг и рукописей. В раковине при входе, в воде не благословенной, зеленели «волосы Венеры», кудрявая травка, обильно росшая в нише подземного ручейка, вытекавшего из сада. Здесь я проводил летом ночи за работой до утреннего общего купанья, здесь же в полутьме и прохладе отсыпался днем. У каждого были свои привычки и свой образ жизни, но полуночниками мы были все и нередко под утро собирались в нашей обширной кухне и устраивали «макаронаты» с фьяской красного вина. Общей болезнью была ностальгия, но мы старались быть бодрыми и щедрыми на шутки. Коммуну возглавлял старший из нас по возрасту, известный экономист; заботливо находивший нам работу, человек одинокий и большой труженик, подобно нам выброшенный за борт русской жизни. Из России получали невеселые письма, убивавшие в нас надежду на скорый возврат. Это было время «огарков», когда молодежь в России, отойдя от революции, бросилась прожигать жизнь в пьяном наркотическом угаре, в половых опытах, в кружках самоубийц; эта жизнь отражалась и в литературе. Когда вести были слишком безнадежными, можно было выйти ночью в сад, лечь навзничь на ступенях или на доске садового стола и смотреть на чужое звездное небо. В день жаркий я выбирал в саду разросшееся фиговое дерево, устраивался удобно и покойно среди его ветвей, ел накаленные солнцем, сочившиеся сахаром фиги и дремал. На высоком обрыве через мою голову пролетел вниз человек; я вскрикнул и увидел, как он уцепился руками за выступ площадки и, смеясь, повернул ко мне скуластое лицо; он хотел испугать меня, но не рассчитал прыжка; он был отцом двоих детей и видным литературным и партийным работником. Другой спустился к заливу в сильный прибой и решил выкупаться в пене; волна прокатила его по острым камням, окрасилась его кровью и выбросила его на уступ, где в спокойные дни выпаривалась соль из стоялой морской воды;

недели через три он снова мог купаться. Мне захотелось подняться в сад от самого моря по крутому отвесу метров в тридцать высоты. Было жутко, но занятно попытаться судьбу. На середине подъема посыпались камни, и мои ноги повисли в воздухе; одна рука еще цеплялась крепко за камень, другая искала опоры выше. Если испугаться, то погибнешь. Затем камень, за который я держался, стал уступать и медленно отделяться от земли; в то же время нога нащупала новую опору. Я не велел ногам дрожать, потому что тогда хотел жить. Я спасся и наверху долго лежал на траве. Мы шутили с морем, со скалами, с жизнью. У одного из наших гостей пришлось отобрать револьвер, но ему вернули, когда он обещал не порочить нашей мирной виллы. Было ясно, что дальше так жить нельзя, что нас не спасет работа, и мы решили разъехаться: часть в недалнее местечко, часть в Париж, часть тайно в Россию. Молодой астроном, долго живший с нами, талантливый человек, нежный поэт, полиглот и красавец, простился первым. Через Париж он уехал в Петербург с паспортом итальянца. Он выдержал стиль, и я получил от него письмо, написанное накануне казни, лишь в одну строчку: “Saluti dall'altrove”⁴².

В какой-то день я взбирался по крутой лестнице на пятый этаж дома, населенного мелкими чиновниками и рабочими в Риме, против ватиканской стены. Синьора Эрнеста и синьор Карло, у которых я снял комнату, оказались приветливыми хозяевами, их слуга и друг Серафино стал моим другом и слугой. Из окон комнаты еще были видны пустыри Prati di Castello⁴³, теперь давно уже застроенные. Я был к тому времени одинок в Риме и в мире. На мне был легкомысленный серый летний костюмчик, купленный в Генуе на базаре за шесть франков, – была зима. Багаж состоял из чемодана с бельем и пишущей машинки, сохранившейся с адвокатских времен. Для моих хозяев я был “sor avvocato”⁴⁴, для самого себя – писателем, не написавшим ничего путного, но готовым начать карьеру. Пока я жил газетными статьями, которые посылал в Москву. На моем литературном счету несколько изданных книжонок, не стоящих памяти, и влечение к перу, сказавшееся еще на гимназической скамье. Мне было ровно тридцать лет: еще вполне мыслимое начало новой жизни.

⁴² «Привет с того света» (итал.).

⁴³ Луга Кастелло (итал.).

⁴⁴ Сеньор адвокат (итал.).

И новая жизнь началась.

В своей зрелой жизни я умышленно пропускаю целую большую область чувств, обманчивых или значительных, не раз эту жизнь осложнявших. Она изжита и зачеркнута одним поздним чувством, с которым я закрою глаза. В кольцах цепи осталось и останется только одно грошовой колечко с каплей красного сургуча вместо драгоценного камня; всему остальному – почтительный поклон; его я не потревожу напрасными строками.

Я прожил восемь лет в Вечном городе, теперь ставшем городом современным; его вечность подчищена и подбрита, окружена решеткой, занесена в регистр, украшена дощечкой с красиво вырисованной надписью. Раньше в нем слитно жили века, кузнец ковал железо в театре Марцелла и забивал гвоздь в вековой камень, не догадываясь о своем кощунстве; кошки плодились на Форуме Траяна, прохожий шагал по земле, выросшей на остатках храма. Это было красиво и непрактично, как все красивое. Бойкие молодые люди, над которыми пытались смеяться, открыли поход против Рима, против веков, против академии и лунного света – за солнце и мотор. Крикливые гуси спасли Рим древний и погубили его в современности. Однажды русские невинные экскурсанты, приехав в Рим, вошли ночью в Колизей и запели хором «Вниз по матушке, по Волге»; так поступить могли только милые дикари. Сейчас на Капитолии уместна фашистская «Джовинецца», гимн работы опереточного мастера, – и только Ватикан остается крепостью старой, слишком старой веры.

Я очень любил Италию и прилежно ее изучал, не музейную, а современную мне, живую, Италию в труде, в песне, в нуждах и надеждах. Я написал о ее жизни две книги и рассказывал о ней в сотнях статей, печатавшихся в России. Города Италии были моими комнатами: Рим – рабочим кабинетом, Флоренция – библиотекой, Венеция – гостиной, Неаполь – террасой, с которой открывался такой прекрасный вид. Мне были одинаково знакомы север и юг, Ривьера и каштановые леса Тосканы, лики Джотто в Ассизах и фреска “Sposalizia”⁴⁵ в Витербо. Я уходил писать в домик Цезаря на Форуме – еще были целы в домике шесть дубков, слушал орган во Фьезоле, тонул в бурный день при выходе из каприйского голубого грота, брал приступом с генуэзскими рабочими портовые угольные

⁴⁵ «Венчание» (итал.).

насыпи, негодовал с толпой в дни казни в Испании Франческо Ферреро, томился на процессе каморры, бродил по доверху наводненному вулканическим пеплом местечку Торре-дель-Греко, вешал на шею змей на празднике Сан-Доменико в Абруццах, забывал все современное в стенах Лукки, отличал вино Фраскати от его орвьетских и каприйских соперников, дружил с одноглазым Пиппо, певцом кабачков, просидел диван в кафе Аранью. При мне родились в римском музее «Девочка из Анцио» и «Киренаикская Венера», которая, конечно, никогда Венерой не была. Когда мне делалось тоскливо в Риме, я садился в вагон прямого поезда и ехал в один из знакомых или еще незнакомых городов, иногда выходя, чтобы переночевать в живописном местечке. Я только в первые годы нуждался и покупал на завтрак *pizzi*⁴⁶, на обед тыквенное семя; дальше работа в крупных русских издательствах сделала мою жизнь легкой.

Я скоро оброс книгами и вещами, выселил из квартиры своих милых хозяев, оставив при себе Серафино. В Рим приезжало много русских, которые навещали старожил, и связь с Россией была прочна – хотя заочна. Вернуться я не мог – для этого потребовалась война, всколыхнувшая прежнее чувство и придавшая решимости. Я так привык к Риму и своей новой оседлости, что даже в недолгих отлучках скучал по Палатину, по обрубкам Пасквино и Марфорио, по звучной речи и знакомому кабачку, где много лет кормил меня макаронами и горячим *zabaione*⁴⁷ толстый падроне сор Анджело, и так свежа была вода лучшего акведука. Только летом я ненадолго изменял Риму для пляжа Средиземного моря, да иногда московская газета посылала меня прокатиться на Балканы или по Европе, готовившей войну. Тогда я обнимался с черногорцами, сочувствовал восставшим албанцам, слушал в Загребе жалобы хорватов на сербов и мадьярский архитектурный стиль, осаждал с болгарами Адрианополь или просто удивлялся Парижу, катался на лодке по швейцарским озерам, сидел перед кружкой в мюнхенской пивной.

Вероятно, я был счастлив, хотя и считал себя изгнанником и страдальцем. Были и сложности в жизни человека, еще слишком молодого, чтобы дорожить одиночеством. Но когда, взяв палку, хлеба и козьего сыра, я уходил с морского побережья в горы, где

⁴⁶ Пицца (итал.).

⁴⁷ Заварной крем (итал.).

так свободно дышать и в редких домиках живут необычные, совсем не знающие других миров люди, когда я, пройдя день, засыпал ночью в случайно найденном шалаше, – мог ли я не быть счастливым, проснувшись под утро от горного холода и увидав туманы в ущельях! Я бормотал малосвязные слова или напевал песню, уже не русскую, русские забыты, и опять шагал все равно куда, чтобы скорее согреться. Для здоровых ног был одинаково легок и подъем, и спуск, а проводник мне не был нужен: можно ли заплутаться в карликовой стране уроженцу тысячеверстных лесов? И вся Западная Европа – не резная ли табакерка, уместающаяся в кармане?

Затем опять – дом, моя уже немалая библиотека, знакомый труд и музыка отчетливой римской речи, отличиям которой я учился подражать, чтобы быть настоящим *Romano di Roma*⁴⁸. Любезнее Данте мне были сонеты Белли⁴⁹ и Чезаре Паскарелла⁵⁰ да римские *stornelli*⁵¹, порой будившие по ночам.

Кабачок сора Анджело назывался *Roma sparita* – «Исчезнувший Рим». Обширная полутемная комната, в которой сидели только в ненастную погоду, и дворик, образованный высокими зданиями и превращенный в виноградник. В стены влеплено несколько античных барельефов, может быть, найденных хозяином в Римском поле, а может быть, купленных на одной из фабрик античных осколков, которые продавались англичанам за подлинные. В углу фонтан чистой воды, в клетке редкая птица – сорока, подобранная со сломанной ногой. В дни бедности, как и в дни благополучия, я был самым верным клиентом «Исчезнувшего Рима», своим человеком: здесь столовался, сюда приводил заезжих гостей – редкий русский писатель, побывавший в те годы в Риме, не знал кабачка сора Анджело. Зимой было тепло и уютно, летом прохладно и уединенно. В последние годы моей итальянской жизни в кабачке обедали в летние месяцы русские народные учителя, приезжавшие группами по пятьдесят человек; обычно сталкивались здесь сразу две группы, было весело, суетливо, нелепо – кусок

⁴⁸ Римлянином из Рима (итал.).

⁴⁹ Джузеппе Джоакино Белли (1791-1863) – итальянский поэт, автор цикла «Римские сонеты», написанного от лица людей из народа и направленного против представителей знати, духовенства, чиновников.

⁵⁰ Чезаре Паскарелла (1858-1940) – итальянский поэт, отличавшийся интересом к народной жизни.

⁵¹ Народные песни (итал.).

России под виноградным навесом. Это были мои дети, их проехало через Рим и другие города Италии три тысячи; мои помощники читали им лекции и показывали музеи, на мне лежала работа организаторская, трудная и отрадная.

Был июнь четырнадцатого года. В кабачке сора Анджело я говорил встревоженным, ничего не понимавшим людям о том, что будет дальше. Люди будут перегрызать друг другу горло, будет потоками литься кровь, валяться куски разорванных тел, перемешанные с осколками металла. Трупы будут сваливаться в братские могилы, море будет выбрасывать мертвых на пляжи, как побитых бурей медуз. Будут разрушаться города и сметаться с лица земли села и деревни; беженцам, нищим, сиротам некуда будет скрыться от ужасов войны. Они слушали, как испуганные дети. Я увез их в Венецию, где ждали еще другие, о которых нужно было позаботиться. Еще нужно было вывезти сюда застрявших в Швейцарии. Нужно было снять целиком два парохода на Одессу и уплатить вперед золотом, которое откуда-то достать. Две недели кошмара и нечеловеческой работы. Когда отошел второй пароход, с которого мне махали платками, я почувствовал себя одиноким, как никогда, – Россия была в войне, скоро могла выступить и Италия, а я оставался за бортом событий, в чужой стране, еще более отрезанный от родины.

Нейтральная Италия – центр европейской информации, посредник всех связей; я завален работой. Промелькнул год. Неотвязная мысль – пуститься в путь кругом Европы и явиться к призыву в России моего класса. Во мне нет никакой воинственности, но десяти лет достаточно, чтобы соскучиться по родным местам и решиться на авантюру. Бросить налаженную оседлость, добрые связи, независимое положение, привычную обстановку, уже немалую собранную библиотеку – и с цветущего юга поехать на север, через еще незнакомые страны, затем на восток, в свою страну, на полную неизвестность, на арест, на ссылку куда-нибудь за Байкал, из Вечного города прямо в вечные мерзлоты, – разве это не блестящая авантюра! Я был привычным путешественником, и путь казался мне заслуживающим внимания и интереса.

Мой поезд провожало несколько римских друзей. Один из них, русский эмигрант, но итальянский адвокат, поднес мне букет красных роз (мы признавали только красный цвет!); от имени всех

он сказал мне напутственное слово и обнял на прощанье. Полтора годами позже, в дни революции, я узнал из захваченных бумаг полицейского сыска, что этот человек успел послать донесение о моем предстоящем приезде в Россию: он был агентом тайной русской полиции. Иудино лобзание! Но я не собирался скрываться, я ехал напролом: на родину, не выражая раскаянья, ехал блудный сын; он мог там на что-нибудь пригодиться – или ему могла пригодиться на что-нибудь его родина.

Могла же жизнь начаться снова! Мне не было еще сорока лет.

Я еду с легкой душой и легким багажом: все, что можно, оставлено в Риме. У меня нет почти никаких документов, – но Европа, даже воюющая, еще не приучилась считать человека приложением к его бумагам. Вообще же и я ищу приключений, обогащающих жизнь. Будет о чем рассказывать, будет о чем писать.

Снова оглядываюсь и снова вспоминаю, что было мало моментов в жизни, память о которых я не освободил бы от лишнего груза, занеся их на белые листы бумаги. Не раз писал о столицах воевавшей и нейтральной Европы в те злополучные дни, о Риме, оставленном без большого сожаленья, о печальном в те дни Париже, полном траура, молчаливом, подавленном и истощенном войной, о бодром и почти веселом Лондоне, хотя и затемнявшем уже свои улицы ночью. Не страшен был переезд через Ла-Манш, не тронуты войной порты Southempton и другой, названия которого я знать не мог, так как из Лондона мы ехали по неизвестному назначенью, в темном поезде с завешенными окнами, и из вагона вышли прямо на мостки парохода, отплывавшего в норвежский Берген. Опять водяной дом, вышедший в море ночью, спасательные пояса, разговоры полупшепотом, как будто мог нас услышать неприятель. Исполнилось мое давнее желание хоть поездом повидать Норвегию, страну лесов и горных озер, – она предстала пред нами в утренний ранний час, в полутумане берегов и шхер, и путь через нее был щедрой оплатой за тревожную ночь; впрочем, эту ночь я спал превосходно, отложив в сторону свой спасательный снаряд. Я не собирался тонуть, так как впереди было слишком много интересного, и поездка по Европе казалась пустяком. Осло звался тогда Христианией, серый скромный город, в котором я провел только сутки, но в Стокгольме я задержался на целый месяц: я не настаивал на том, чтобы прямо с русской границы

попасть в тюрьму, и решил использовать думские знакомства и влияние моей газеты, чтобы на крайний случай подготовить себе если не свободный въезд в столицы, то продолжение путешествия на свой счет, без провожатых и без этапов, до Туруханского края в Сибири, куда, как я узнал, предполагалось сослать меня на пять лет. В самый длинный день в году я был наконец в Хапаранде и Торнео, где солнце скрылось только на час и снова выплыло сонное и неотдохнувшее. При его свете пожилой жандармский офицер писал протокол, пока я старался подружиться с его охотничьей собакой; он объявил мне, что получил телеграмму о моем пропуске до Петербурга. Это была большая и неожиданная удача, и, когда поезд, из-за меня задержанный на границе дольше обычного, тронулся в путь, я чувствовал себя именинником. Еще задержка в Белоострове, личный обыск в жандармской комнате и рукоплескание моих соседей по вагону, когда я, руки в карманах, вернулся в вагон, а за мной нижний чин доставил и мои обысканные чемоданы. Несмотря на эти задержки, чувствовалось, что Россия уже не та, какой я ее оставил, и что в ее полицейской машине нет прежней уверенности.

Дым отечества пахнул мне в лицо на необычайно грязных улицах Петербурга – я отвык от России и сразу примечал ее недостатки. Мне был сладок и приятен этот дым отечества. Неторопливо, едва подстегивая лошадь, вез меня по улицам самый настоящий русский извозчик. Он вез меня в дом знакомых, где меня ждали не без волнения; но я не волновался, так как еще не понимал ясно, что случилось и куда я попал после долгой дороги, тянувшейся не то два месяца, не то все десять лет. В данную минуту я был свободен и мог назвать извозчику любой адрес: остальное меня не занимало. В Петербурге сейчас белые ночи. Я не обязан больше думать и говорить по-итальянски и к первому встречному могу обратиться с вопросом на родном языке. Все это похоже на сказку, но дворник, который метет улицу, в его рваной и штопаной полуформе, похож на русского мужика. Я еду на Васильевский остров. Если все это действительно так, то жизнь делается очень занимательной. Петербург – холодный и неприятный чиновничий город, а вот Москву увидеть хочется. Подхватив пишущую машинку, с которой я не расставался, и небольшой чемодан, предоставив остальное заботам извозчика, я поднялся на второй этаж и позвонил.

Поставив в тексте черточку на середине пути – nel mezzo del cammin⁵² это как бы каменная тумба с отметкой расстояния, – я пью слабое и кисленькое французское вино, vin gris⁵³, которое предпочитаю тяжелым и пьяным. Городок спит, натрудившись за весенний день. Глубокая ночь. Кто-то упомянул о Петербурге, если это мне не послышалось. Но Петербурга в то время не было, был Петроград, как теперь Ленинград. Работа великого мастера, подписанная реставратором. Все это до удивительности не важно и не имеет значения. Спит французское тихое местечко, в котором минувшей весной был артиллерийский бой, разбивший снарядом памятник убитым в прошлую войну; можно поставить новый – разом за обе войны, и это экономнее. Возможно, что именно здесь и закончатся мои странствия, хотя мое желание не таково. «В середине пути нашей жизни я очутился в дремучем лесу, так как прямая дорога была потеряна». Когда в 1916 году я возвращался в Россию, со мной в ручном чемоданчике были две миниатюрные книги: «Божественная комедия» Данте и «Размышления» Марка Аврелия⁵⁴. Таможенный чиновник, изображавший одновременно и цензора, повертел в руках один томик, не понял, осведомился и вернул мне; понадеялся, что книжки не страшные, не запрещенные; обе были в пергаменте и похожи на молитвенники. Я кое-как цитирую наизусть Данте, язык которого мне ближе знаком, но Марк Аврелий писал, к сожалению, по-гречески; и, однако, римский император помогал мне в земных испытаниях, этот мудрый и уравновешенный стоик, впрочем, не столь уж дальний родственник скептического автора Экклезиаста⁵⁵. «Если страданье непереносимо, оно убивает; если ты его выдержал, значит, оно переносимо». На стене, грубо оштукатуренной и сильно закоптелой и запыленной, висит отрывной календарь, доску которого я расписал знаками зодиака. Опять весна, но четвертью века позже. Здесь со мной нет ни книги Данте, ни Аврелиевых сентенций; оба

⁵² «Земную жизнь пройдя до половины...» (Данте Алигьери. "Ад". Песнь первая.) (Итал.).

⁵³ Сухое вино (фр.).

⁵⁴ Марк Аврелий - римский император из династии Антонимов (121-180), философ, автор размышлений "Наедине с собой", написанных в традициях позднего стоицизма.

⁵⁵ Экклезиаст - Екклизиаст - одна из наиболее поздних книг Библии (4 или 3 в. до н. э.), памятник древнееврейской афористики. Основные мотивы этого памятника литературы - тщетность попыток охватить полноту жизни знанием, а также мысль, сформулированная в стихе 18 первой главы: "...В многой мудрости - много печали".

томика пропали при одной из жизненных катастроф. Я называю катастрофами потерю того, что было близко и дорого; обычно для меня это книги и непутевые, ничего другим не говорящие вещи и вещицы. Катастрофой же называется и другое, что трудно объяснить и сложно излагать. В городке, растянутом по течению реки Шэр, до трех тысяч жителей; возраст его – много столетий, но он как вырос из деревни, так и остался слитым с нею. Не знаю, дойду ли я в своей повести о жизни до рассказа о том, какими ветрами занесло меня сюда. Городок спрятался в самом сердце Франции. И если мне в нем не очень уютно, это не его вина.

Как тогда, в Балтийском море, на пути из Финляндии в Европу, боковая качка, головокружение, и кажется в тумане, что пароход стоит на месте. Или как много позже, в заливе Финском, в компании самых мирных людей, изгнанных из СССР писателей, философов, университетских профессоров с семьями, – и тоже туман и неизвестность впереди. Зачем-то и за что-то разрушенные жизни, разметанный быт, которому пора бы уже стать покойным, и ужасная оскомина на душе от всех этих «исторических событий», о которых будут писать телескопическими словами, ни разу не заглянув в микроскоп на беды и горести пострадавших от них букашек. Весна стоит холодная. Мне все – все равно. Я не уверен, нужно ли еще думать, вспоминать, писать. Я безмерно устал от этих жизненных перегонов, подъемов, спусков, путешествий, накоплений и потерь, встреч и разлук, от туманов, от воя пароходных и военных сирен, от писем, от чужих несчастий, от бега часов, срыванья календарных листочков, от вечных записей жизненной прихода-расходной книги. Когда-нибудь уляжется ли боковая качка? Я не прошу о минуточке, господин палач, я охотно ее вам уступаю.

Тогдашний Петроград показался мне забавным, но милым своей нелепостью. Я не имел права в нем жить, но уже на второй день приезда сидел в журналистической ложе Государственной думы и слушал искусно построенные речи депутатов, боязливо делавших революцию, в которую не верили ни они, ни не уважавшее их правительство. Но все-таки война спутала российскую полицейскую стройность, я чувствовал это по себе: надо мной висел заочный приговор к ссылке в Восточную Сибирь – это подтвердил мне товарищ министра внутренних дел, которого я удивил чисто европейским телефонным звонком и сообщением о

моем приезде; в России это считалось непозволительной дерзостью. Я просил его принять меня и, приехав, продиктовал его дактило разрешительную бумажку на проезд в Москву; он удивленно подписал. «Но вы не имеете права жить в Москве, вас вышлет оттуда командующий военным округом». – «Я и здесь не имею права жить, однако вы меня почему-то не выслали». – «Да, это верно, но случай добровольного возвращения эмигранта как-то не предусмотрен; тогда уж поезжайте в Москву скорее». – «Я уеду сегодня же, а там увидится». Он согласился, и я понял почему: я был все-таки европейцем и корреспондентом крупной газеты, а Россия была союзницей великих демократий и делала им глазки.

И вот, наконец, Москва, мой настоящий родной город; для многих родиной делается город их университетского посвящения; для меня, сверх того, Москва была городом посвящения революционного и первым этапом взрослой жизни. Здесь был разрушен мой первый оседлый быт, здесь я создам себе третий, разрушив второй в городе Вечном.

В редакции моей газеты («Русские ведомости») сидели мудрые старцы. Они сказали мне:

– Вы давно не жили в России. Поезжайте ее посмотреть и не торопитесь о ней писать. Вернувшись, побываете и на фронте.

И я поехал. Вслед за мной ехал приказ о моем задержании к высылке, но он никак не мог меня догнать. Испортилась полицейская машина! Когда, объехав весь север Европейской России и побывав на Западном фронте, я вернулся в Москву, приказ еще кочевал, потеряв мои следы. Я успел снять квартиру, прочно обосноваться, писал, читал доклады о европейских настроениях, опять посильно помогал крысам подтачивать священные устои, и только накануне революции догнал меня приказ, так и оставшийся невыполненным.

Но мне хочется вспомнить, что вспомнится о месяцах, проведенных в дороге, о той России, которую «умом... не понять» и «аршином... не измерить».

Как всякий поэт, Тютчев, конечно, преувеличивает: пространства России измерены и умом ее понять можно. Но «стать» у нее действительно особенная, потому и не понимал ее до конца полупетербуржец-полуиностронец, полупоэт, получиновник, писавший иногда превосходные стихи на слабом русском языке. Давно изжив квасной патриотизм, я не боюсь порою хвастать и

восхищаться Россией-землей. К сожалению, ее всегда выдумывали, выдумывают и сейчас, выдумаю, вероятно, и я. Ее хотят представить себе целиком, – а цельной России нет и никогда не было, она состоит из нагромождения земель, климатов, гор, равнин, народов, языков и культур. Ее изображают медведем; с тем же успехом можно изобразить и белугой, снопом, жаворонком, виноградной лозой, почкой малахита. Из нее, многобожной и языческой, старательно выкраивали «матушку-Русь православную», как сейчас хотят представить ее безбожницей и комсомолкой. Великолепный базар ее племен малевали «народом-богоносцем»; ее строевой и мачтовый лес расщепливали на палки хоругвей; ее ширям подражали кучерской поддевкой и резным круговым ковшом; ее Ваньку-дурака, хитрую кряжистую бестию, наряжали в театральный костюм Ивана Сусанина или жаловали то царским престолом, то марксистской ортодоксальностью. Над искажением лика России немало поработали два замечательных русских классика – Гоголь и Достоевский, и не роди русская земля Льва Толстого, так бы и не видать ее подлинного лика. Едва ли не самое большое несчастье России в том, что ею всегда управляют, хотя лучше всего она управлялась бы сама, как сама течет большая река, растет трава на заливном лугу, само светит солнце, без помощи электрических станций. Не знаю, как это было бы, но знаю, как происходило и происходит противоположное и как на головы мудрых (не умных, не просвещенных, а от природы мудрых) напяливают дурацкие колпаки. Я очень люблю Россию – ту, которую знаю, и это естественно для ее законнейшего сына, – но не уважаю за ее ленивую волю: она позволяет кататься на своей вые каждому любителю верховой езды. Иногда, встав на дыбы, она опрокидывает всадника – и сейчас же позволяет взнуздать себя другому. Пожалуй, действительно медведь – лучший ее образ – сила необычайная и легкая приручаемость: кольцо в ноздри – и танцуй под любую музыку.

Но просторы! Целый месяц я пробирался по северным губерниям через заросли деревьев и людей; и люди, и деревья были смолисты, корявы и ветвисты на один бок. С ними хорошо было и говорить, и молчать, и думать не спеша – и с людьми, и с деревьями. После европейских балаганчиков и аккуратно заглаженных на штанах складок – деревянные просторы, армяки и татарские халаты, природная кривизна линий, по воле растущие

бороды, великое разнообразие типов, и уж если тупость – так тупость, а если ум – так свой собственный, не из книжки с картинками. Зеленый ковер, расшитый серебряными змеями рек. Нищая рвань на мешках с золотом. Главное – нет этого душка плесени и мертвечины скопившейся тухлой истории, которая повсюду шибает в нос в Европе. Родится человек, живет, дохнет и перегнивает на сельском кладбище по всем правилам естественной науки, без надгробий и некрологов, и кладбище всегда лесное, а не штукатуренное, гнить на нем приятно. И города не на шахматной доске, а выросли из деревенской грибницы, сами назвали себя и свои улицы, найти в них никого невозможно, а спроси бабу – укажет. Кому это – беспорядок, но у меня от линованного порядка Европы были на глазах мозоли и на душе оскомины, я радовался нашей первобытности и нелепости нашей, в которой есть свой высший порядок, утвержденный природой, а не чиновничьей астролябией. Тут дело не в буколической поэзии и не в живописности, а в том, что цена цивилизации мне была уже знакома, и радовалась анархическая душа нашей неизмеримой «технической отсталости». Я тоже выдумывал свою Россию, и мне казалось, вероятно, ошибался, – что эта Россия пойдет иными путями и к иным целям, естественно и просто, безо всяких миссионерских заданий, без кичливости, спокойным шагом. Никакого «нового слова» не скажет, а жить будем все-таки по-своему, во всяком случае – пока это можно, пока и нас не захлестнет европейская цивилизация и не сделает образцовым муравейником. И я дышал, как раньше никогда не дышал, до растяжения грудной клетки и сладкой боли. Но я видел не только это. Ведался больше с земскими местными людьми – и поражался их работе. Они делали огромное дело, стесняясь его малости, воображая, что там, в Европах, где и руки не связаны, и средств больше, что только вот там работают по-настоящему; они не подозревали, что подобное бескорыстие, преданность такую и такую веру ни в каких Европах не встретишь, разве как исключение, что ни один народный учитель не будет там работать в подобных условиях, ни один врач не станет объезжать на худой крестьянской лошаденке стоверстные округа, что они – истинные подвижники и подлинные герои. Перед ними не было ни карьеры, ни чинов, ни материального благополучия, напротив – полная уверенность, что так и пройдет вся жизнь в медвежьем углу, и

хорошо, если раз в десять лет доведется побывать если не в столицах, то хоть в губернском городе на каком-нибудь агрономическом, учительском, врачебном съезде. И они все-таки успевали читать «толстый» журнал, осведомляться, что делается в этих самых просвещенных Европах, толкать свою науку и огорчаться, что так мало знают и так ограничена область применения их сил: каких-нибудь десять-двадцать тысяч гектаров крестьянской земли, три сотни детских дифтеритов, пять-шесть школьных поколений, да помощь делу кустарному, да участие в кооперативном движении и, уж конечно, устройство в своем районе, общими средствами, нескольких хорошо подобранных народных библиотек.

Я побывал и в своем родном городе, в единственном, где показался себе совсем чужим. Там большой революционный мужик, миллионщик и инженер, построил на свой счет университет с лабораториями и клиниками; на открытие этого университета и я приехал. Этого миллионщика, дававшего и на просвещение, и на революцию большие деньги, что не мешало ему прижимать рабочих на своих приисках и копях, – его, кажется, после прикончили. Забавные люди жили в России! Помню одного сибирского промышленника, составившего себе огромный капитал на устройстве паровых мельниц. Туго набив кошелек, он приехал в Москву, сошелся с революционерами, оттенки которых его не интересовали, и все деньги ухлопал на издательство легальных и нелегальных популярных книжек. Таких людей было немало – попробуй их понять! В Саратове я сдружился с культурнейшим европейцем, почему-то служившим секретарем в губернском земстве. Большой знаток и ценитель искусства Востока и искусства жизни. Он угостил меня тончайшими винами и такими же фруктами, привезенными то ли из Ташкента, то ли из Самарканда; никогда после я таких не видал и не едал. Он был образованнейшим человеком, барином и в то же время демократом до мозга костей. Его дом был музеем искусства. Мы провели с ним ночь в одной из тех бесед, на которые способны только русские: говорили о Париже, о Будде, о реках, о границах свободы личности, о Платоне, об Ивэт Гильбер, вятском земстве и курганских раскопках. В революции он принял самое близкое участие, но после Октября был нечаянно расстрелян: он был слишком ярким опереньем среди серых провинциальных птиц.

Кама и Волга дали мне часы и дни наслаждений, – я видел их тогда в последний раз в своей жизни, – тогда бы нужно было вспоминать и писать о детстве и юности; нашлись бы настоящие слова и живые краски. Но мои чемоданы были набиты земскими отчетами и статистическими сводками; газета требовала работы серьезной, на каждом этапе меня снабжали целыми библиотеками и подносили мне изделия местных кустарей: великолепные вещички литого чугуна, крашеных ванек-встанек, берестовые бурачки, яркие деревянные ложки, горки уральских камней, Евангелия из цельного куска соли, сладкие пряники художественной работы, детские лапотки из лыка, яйца-писанки и прочие вещички, которые после бывали на международных выставках и прельщали европейскую публику. Но в то время Россия была еще только Россией – простое имя, годное на все случаи, не отяжеленное нудной связью слов иностранных и надуманных, не сокращенное в буквенный вывих языка. Она росла быстро и подземно, как толстый и прямой побег спаржи, одним стволом; потом она сломилась и от корней дала букет корявых, но сильных кривуль; может быть, это лучше, я не знаю. И того, что случилось, уже никакая сила не переменит – как не повернуть теченья Камы, носившего когда-то и мою лодочку.

В Москве меня спросили:

– Ну, понравилась ли вам Россия?

Я ответил:

– Лет бы двадцать свободных, чтобы изучить ее уголок. Понравилась, понравилась! Приехал иностранцем, а теперь чувствую, что тутошний. Тутошним хотел бы и остаться.

Я со смущением приступаю к дальнейшим запискам о жизни. О прошлом хорошо писать в спокойствии настоящего, в легком от него уходе. Русский летописец живет в келье под елью, иностранец – в башне слоновой кости. Моя деревенская хибара стоит на берегу реки, разделившей две Франции, занятую неприятелем и свободную; и из-за реки доносится немецкая речь. Это можно преодолеть, но нельзя вообще отвернуться от свершающейся истории, и мои записки легко могут превратиться в дневник.

Я вернулся в Россию в день летнего солнцестояния, 22 июня 1916 года. Сегодня тот же день солнцестояния двадцатью пятью годами позже. В прошлом году, в те же дни, это местечко было занято с бою немцами; мы были здесь и прятались в лесочке на самой линии артиллерийского боя. Нынешним утром я вспомнил об

этом, перечитывая раньше написанные страницы, – но утром мы еще не знали, что в день летнего солнцестояния Россия вступила в новую войну.

В день, когда распахивается дверь в будущее, в этот страшный и волнующий день, я пытаюсь думать только о прошлом. Может быть, это не так уж и трудно. Вглядываясь в собственную душу, вижу, как она утратила способность в полной мере отзываться не только на то, что называем «историческими событиями», но и на изгибы судеб моей родины, для которой сегодняшний день станет роковой датой. Это не эгоизм и, конечно, не равнодушие; это – крайняя усталость и как бы уход в потустороннее. Да я и не знаю, чего желать России; она превратилась для меня в символ, и уж не ощущаю ее живой. Я любил землю, но не в ее ясных границах. Земля останется, останется и русский язык, на котором я говорю и пишу. Исчезнет много людей – но с ними давно нет общения, – и на смену им придут новые. Победительница или побежденная, раздвинув свои пределы или распавшись на клочья, Россия останется для меня прошлым даже и в том невероятном случае, если я еще успею ее увидеть. Не все ли равно, что происходит сегодня и предстоит завтра, если дальше еще бесконечный ряд будущих дней недоступен нашему сознанию; где-нибудь нужно поставить межевой столб духовного своего имения.

Так рассуждает ум, и сердце, закутавшись в защитный покров, старается ему не возражать. Оно будет подсматривать в щелку, но будет сдерживать свои биения, попытается быть примером благоразумия и выдержки. Если не всегда это ему удастся – его не осудят те, с кем оно билось когда-то согласным трепетом. Я деловито хмурю брови и продолжаю.

У меня не было и нет никакой собственности, кроме крошечного участка земли во Франции под Парижем, где разбит нашими руками сад, кажущийся нам очаровательным. На участке я выстроил из тонких стволов спиленных деревьев избушку для хранения садовых орудий, а при избушке – навес, чтобы укрыться от дождя. После милых людей это – самое любимое из оставшегося в жизни. У меня были еще книги, которые я собирал годами и терял при очередных катастрофах; из них последняя пережитая совсем недавно, когда я и моя жена пришли пешком с железнодорожной станции маленького города в другой городок через неприятельскую линию, пронеся с собой чемоданчик с переменной белья, коробкой

консервов и бутылкой чистой воды, – и это было всей нашей сохранившейся собственностью; все остальное погибло в Париже – библиотека, архив, картины, вся обстановка нашего трудового уюта. Если бы мне пригрозили сейчас лишением всех жизненных благ, я бы от души рассмеялся. Правда, я не могу читать и писать без очков и не люблю курить без дешевого вишневого мундштука, но, в конце концов, и это лишение было бы не страшнее пережитых неоднократно. Что касается благ иных, не материальных, любви, дружбы, духовной связи с такими же бедняками и тружениками, каким всю жизнь был я, что касается моих дум, уверенностей, житейской философии, что касается поэзии, единственного полного распорядителя и единственной подлинной цели жизни, – то ведь этого отнять никто не может; с этим рождаются или этому приобщаются и с этим уходят в бесстрастие великого Востока. Тому назад четверть века, в дни после октябрьского переворота в Москве, я зашел вечером навестить старую женщину, пианистку, жившую в переулке близ Трубной площади в невзрачном домике, где она обставила себе уютно квартиру из двух комнат; одну из них почти целиком занял рояль. Все, что она имела, было приобретено ее заработками – уроками музыки. Однажды к ней пришли новые люди, строившие новую, счастливую жизнь в России, и забрали все имущество, не успев увезти, за громоздкостью, только рояль, но обещав за ним вернуться; впрочем, ей оставили еще диван, на котором она спала, и два стула да кое-что из посуды. Она позвала меня провести с нею и ее близким другом виолончелистом и композитором, в Москве очень известным, последний музыкальный вечер. Вечер – значило и ночь, так как нельзя было поздно выходить на улицу без опасения быть случайно подстреленным не то бандитами, не то пугливым постовым милиционером. Смеясь, она рассказывала, как все это произошло. В сущности, они были славными парнями, эти усердные реквизиторы: они были вежливы и старались объяснить ей, как несознательному буржуазному элементу, почему ее лишают части материальных благ, необходимых пролетариату. Она не возражала – это было бесполезно, но не могла отказать себе в удовольствии ответить им, что самого ценного она им все-таки не отдаст – и отдать не может, как и они не могут ее этого лишиться. «Самое ценное вот здесь, – она показала на лоб и на сердце, – мой ум, мои знания, мой музыкальный талант, и это останется при мне – всегда и всюду при

мне останется, что бы со мной ни сделали. Если бы я сама захотела, если бы согласилась, снизошла – понимаете? – снизошла, пожаловала, я бы могла вам сделать подарок, сыграть что-нибудь, возвысить и вас, сколько возможно, до себя; но я этого не сделаю, потому что вы пользуетесь против меня силой, а я грубую силу презираю и ей никогда не уступлю. И вот вы заберете все и уйдете такими же бедняками, какими сюда пришли; а я, всего лишившись, останусь такой же богатой, – вы понимаете меня?» Они выслушали, но не все поняли и сказали: «Инструмент пока у вас побудет на вашей ответственности, сейчас грузовика у нас нет; а только все равно заберем для рабочего клуба». Электрического света в этот день не было. Я сидел на диване в пальто, подобрав ноги, так как квартира была не топлена. В соседней комнате моя приятельница аккомпанировала виолончели. В сущности, это был могильный склеп, в котором друзья-покойники чествовали музыкой новоприбывшего в их среду. Не знаю, не помню, что они играли, в перерывах согревая себя чаем, приготовленным на примусе. Был декабрь, расстрелянная Москва спала, нервно вздрагивая при стуках в дверь. История шествовала в полном спокойствии, – ей опасаться было нечего, она всегда права. Мы ни о чем не думали, и звуки у каждого превращались в нужные и знакомые ему образы. Неправда, что тонущий человек за минуту успевает прожить целые прошедшие годы и вспомнить в них самое ценное и дорогое. Я тонул в самой волшебной обстановке, в голубизне Средиземного моря у высоких отвесных скал, у выхода из каприйского голубого грота, и я помню только одну несказанную фразу: «Так, значит, это и есть...» – и, чудом спасенный, я эту фразу повторял про себя. Музыка выключила нас из жизни и погрузила в мистическую бездну, но ясных мыслей не дала. Человек повертывается спиной к будущему, лицом к прошлому, но не видит ни того, ни другого: образы проходят перед спящими глазами, и эти образы закутаны однообразными покрывалами, их толпа бесконечна и непрерывна. Мало-помалу все превращается в аккорд, в стройность, рожденную из хаоса, но никакая оценка невозможна. Под утро мы вышли с композитором, который, дрожа от холода, обнимал свою виолончель и прятал лицо в воротник шубенки. Я проводил его до дому и больше никогда не видал. Я тоже нес домой сокровище, полную чашу, которую не хотел расплескать, идею романа, в котором какая-то роль будет отведена и моему спутнику. Но только

спустя три года, в казанской ссылке, были написаны его первые строки. В чужом городе я окрестил свой первый большой роман именем одной из замечательных улиц города родного: «Сивцев Вражек». Но не слишком ли горделиво утверждать, что никто не может отнять наши духовные ценности? Так хочется думать и хочется воображать себя несокрушимой скалой, кряжистым стволом, который ни согнуть, ни сломать невозможно. Вспоминая свои тюрьмы, ссылки, высылки, допросы, суды, всю историю насилий и издевательств, каким можно подвергнуть человека мысли независимой, в сущности, довольно ленивого и не заслужившего такого внимания, – я не думаю, чтобы погрешил слабостью или сдачей, или проявил себя малодушием, или попытался скрыть свои взгляды и смягчить участь сделкой с совестью. Этого не было. Но душа все же опустошалась на каждом этапе, воля все-таки надкалывалась, и искривлялся жизненный путь, который я старался себе наметить, – искривлялся не только внешне, но и внутренне. Мы начинаем чистой и прочной верой, но до конца проносим только обрывки знамен, которыми дорожим по любовной памяти и потому, что менять их было бы поздно да, пожалуй, и не на что. Так, например, я определяю свое отношение к русской революции, которой был участником. Я знаю, что нелепо дробить ее на части, одну признавая, другую отрицая или подвергая сомнению; революция последовательна и едина, и Февраль немыслим без Октября. Был неизбежен и был нужен полный социальный переворот, и совершиться он мог только в жестоких и кровавых формах. Я это знаю, и я принимаю это фатально, как принимают судьбу. Но чувство не могло никогда оправдать возврата к организованному насилию, к полному отказу от того, что смягчало в наших глазах жестокость минут переворота, – отказу от установления гражданской свободы, осуществления основ наших мечтаний. Менять рабство на новое рабство – этому не стоило отдавать свою жизнь. И неизбежность не может служить нравственным оправданием. Можно убить в пылу страсти, в самозащите, в отчаянном нападении, но холодное, расчетливое палачество внушает отвращение, – а нам предлагали им восхищаться и его воспевать. Для меня революция – вечный протест, вечная борьба с насилием над личностью, во всякий момент, во всяком строе, и я не зову этим именем защиту позиций, занятых новыми властителями. Революция – крушение, а не

остановка и не строительство. Величайшая ересь – мыслить ее «перманентной» в смысле охраны и созидания нового государственного строя. Взавший власть уже враг революции, ее убийца, основоположник контрреволюции. Наша история это подтвердила. Все это я знаю, но знание не окрасит заново поблекшего знамени и не спасет от натиска противоречий; крах прежних духовных ценностей неизбежен.

Большие полотна не пишутся кисточкой для миниатюр и случайными, под рукой, детскими красками. В моей памяти нет никакой последовательности событий, их хроника ей чужда. Помню момент перелома – на обширном дворе Спасских казарм в Москве, куда пришла толпа; у солдат дрожали в руках винтовки, офицер не решался отдать команду. Нам ударил в грудь холостой залп, как могли ударить и пули. В тот же день человеческая река по Тверской улице – день общего сиянья, красных бантов, начала новой жизни. В сущности, славен и чист был только этот день. Нужно было писать – но перо еще не привыкло к простому, несвязанному слову, оно кляксило газетную бумагу, оно истошно кричало. И дальше – отрывочные картины, переплет революций Февральской и Октябрьской, суматоха дней и месяцев крушения векового здания. Вижу себя в черном кожаном шоферском костюме, которым меня одарили на Западном фронте, в сапогах и с наганом в руке; ночью обхожу комнаты здания Московской охранки, полусожженной чинами политической полиции. Еще недавно меня вызывали сюда, требуя, чтобы я выехал из Москвы. Оступившись при слабом свете карманного фонарика, я срываюсь из второго этажа в разрушенную комнату первого, пролетев между торчащими балками и железными скобами и упав на кучу угля, битого стекла и полуобгорелых деловых папок; кожаная одежда спасает. Необходимо сохранить документы сыска для истории страницы позора старого режима. Менее всего думалось о мести в эти дни, казавшиеся и бывшие светлыми; на прошлом крест, но музеи будут говорить о нем красноречиво. Архивы свезены в Исторический музей, где уже разбирают их люди с жадным и нездоровым интересом. Потом внезапное отвращение к этой грязи и гнили – не было ли во мне предчувствия, что нарождающийся строй, воздвигнув свои новые тюремные камеры и здания сыска, использует и кладбища прошлого, найдя в них много для себя ценного и поучительного? Потом увлечение новой большой

газетой, встречи с нахлынувшими из-за границы эмигрантами, быстро занявшими ответственные посты. Свободные общественные союзы, союзы союзов, избранный клуб писателей, полеты идей, свитки планов, и уже рождающееся сознание, что все это должно разлететься прахом, что толпе нужны ловкие поводыри и реальные блага, а не наша интеллигентская культурная суета. Волна солдатчины, бегущей с фронтов домой, потому что революция и свобода значит в переводе конец войне, иначе это было бы напрасным обманом народа. Горят усадьбы, вырубаются леса; революция торопится обеспечить свои победы, – и гордые победители красуются на боевых колесницах, кони которых вырвались и умчались далеко вперед. Сколько слов, сколько прекрасных слов; какое безбрежное море лучших слов русской речи, какая бездонная пропасть делового бессилия! Хмельной, волшебный праздник, опустели все тюрьмы, бывшие воры выносят на митингах резолюции о своем перевоспитании, приветствуя новую Россию; деревенские делегаты подписывают заявления, писанные для них недеревенскими людьми; рабочие, готовясь к диктатуре, пока делают на заводских станках на продажу зажигалки; ученые пытаются рассуждать, пишут программы, заботливо насаждают в незнакомой им России прекрасно знакомую Европу. Талантливые в нашей прежней борьбе, остроумные в нападениях на свергнутый строй, блестяще злые, увертливые, когда нужно – самоотверженные и готовые на подвиг, – мы внезапно делаемся солдатами в отпуске, счастливыми, празднующими, со всеми в дружбе, на все согласными, пьяненькими от свободы. Очаровательное время распада государственной машины, безвластия, самопорядка, срывающегося в сумбур. Совершенно ясно, что это – конец революции, что кто-то придет и скрутит пуще прежнего, – но не в том дело, эти дни все-таки следовало пережить, эти лучшие дни огромной нашей страны. Лучших и даже таких же она не знала и никогда не узнает.

Потом внезапно наступившая тишина, – что-то должно случиться. Называют имена, появляются опасные люди, для которых еще могли бы пригодиться тюрьмы. Беспокоят анархисты, раздающие у подъездов домов барское барахло всем желающим. Бывшие воры, не успев перевоспитаться, становятся ночными бандитами в рессорной обуви, которая помогает им заскакать в окна вторых и третьих этажей. Подобно им скачут цены на

исчезающие товары, и деньги становятся бумагой. Еще где-то возятся с царем, таская его по России, не то во имя человечности, не то потому, что его некуда девать. Существует какой-то внешний фронт, на котором упрямо гибнут избранные кадры молодежи, какая-то честь в отношении союзников, – но война уже отошла в отдаленные кладовые сознания, потеряла смысл и скоро сменится войной гражданской. Сначала кучками, потом и отрядами появляется Красная гвардия, саморожденная, как будто бесцельная, не знающая, что ей делать. Улиткой приближается Учредительное собрание, не потому, что оно нужно, а потому, что оно значится во всех политических программах. Избирательные бланки, многоцветные воззвания, имена, которые были известны эмигрантам в парижском Латинском квартале, на женевской Каружке и которые теперь корявым почерком выписывают на бумажку бывший чиновник, кухарка, рабочий, дворник; богомольные старушки кладут свои бюллетени на божницу, предоставляя выбор небесным силам. Это не я валю все в кучу, это вихрь свободы нагромождает бурелом. Устав от ожидания, Россия называет себя республикой, но, привыкнув к царям, ищет новое имя – и шепотком называется имя Ленина, обитателя местечка Лонжюмо под Парижем, приехавшего в plombированном вагоне через Германию. Еще что-то, кажется немцы на Украине и недовольство союзников. Профессора мыслят: не преждевременно ли революции оказываться социальной? но этого не находят любители сильной власти, пока еще не отказавшиеся ни от революции, ни от свободы. Приходит пора стране поговорить серьезно о своих делах. Она делает длинное, красноречивое вступление, но появляется солдат и разгоняет Учредительное собрание, оставив произнесенными заготовленные прекрасные речи. Долгожданная власть, наконец, наметилась, и поэтам остается «подчиниться насилию», выразив горячий протест.

Потом Октябрь, слухи о Петербурге, первые пули вдоль московского Тверского бульвара, снаряды над крышами, раненый купол Бориса и Глеба на Арбате. Населению не ясно, кто в кого стреляет, но жизнь уже возможна только в простенках между окнами, заложеными кипами газет. Пять дней осады, пока кто-то оказывается победителем и кто-то побежденным, так что можно попытаться перебежать улицу до мелочной лавки, торгующей со

двора. Революция проиграна – да здравствует революция! В истории появляется новая великая дата.

Чувствую, как непосильна мне даже путаная хроника. Ее перебивают сотни картин. Я все еще голоден Россией, так мало видел ее после своих европейских скитаний. И вот я в сосновом бору, в охотничьем домике, отлично выстроенном и отделанном внутри с плотничьим искусством. Хозяин поместья был вынужден бежать, не от крестьян, с которыми жил в мире, а в своем качестве бывшего члена Государственной думы; семья, оставив большой усадебный дом, переселилась сюда, в четыре комнатки; я приглашен на отдых. Пышная весна, мхи раскинулись перинами, иван-да-марья на лугах выше роста, озимые уже колосятся, поблизости змейкой вьется речка в ивняковых берегах. На заре стонет строевой лес, который крестьяне рубят, валят, распиливают и колют на дрова. Самим им столько дров ни к чему, вывоза отсюда не может быть, но торопятся, чтобы не было возврата, чтобы доказать свои права; валят кругом, оставляя нам лесной островок. Могучие деревья падают с протяжным уханьем, щемит сердце слушать этот плач гигантов, их жалобу на человека. Но мы знаем, что это нужно и неизбежно, что это – революция. Молодые рубщики и пильщики иногда приходят к нам, не спорить, не выхваляться, а побыть с помещицей на равной ноге, покрасоваться правами. Их удивляет, что никто им не препятствует, им хочется понять, поговорить хочется, показать свою «сознательность». Они неграмотны, но научились выговаривать мудреные слова, называют себя «левыми эсерами», клянутся Марией Спиридоновой⁵⁶, имя которой как-то до них донеслось. Узнав, что я лично знаком с их кумиром, смотрят почтительно и несколько боязливо: не новое ли начальство? Обещают не беспокоить, а уж лес все равно придется повалить. «Не жалко вам его?» – «Что его жалеть, он помещичий». – «Теперь он ваш». – «Кто его знает, так лучше, вернее». По лесу гуляет революция, и тут же, за опушкой у старого кладбища, проживает мирно сельский батюшка, сам крестьянствуя, и рубщики идут к нему звать на крестины и похороны. В нашем домике пианино, по вечерам уцелевшие сосны слушают музыку. Хозяйка – художник, ее картина есть в Третьяковской галерее. Над потерей всего достоинства посмеивается, знает, что отнимут и этот домик.

⁵⁶ Мария Александровна Спиридонова (1884–1941) – один из лидеров левых эсеров, в прошлом – исполнительница нашумевшего террористического акта.

«Мы сами добивались революции – вот она и пришла; жаль только соснового бора, он лучший во всем уезде». Кончает картину: солнечные блики на могучих стволах. Тем же летом, в подмосковной деревне, на берегу Москвы-реки, валяюсь на солнечном косогоре, завитом хмелем, смотрю на золотые ржи, брожу по заповедному лесу, которого никто здесь не трогает, – да и пробраться едва возможно в его темную чащу. В деревне все по-старому, только у девушек завелись чулки со стрелками да у местного кулака оказались в риге, полузаваленные сеном, поцарапанный и разбитый рояль и пухлый комод красного дерева, – неизвестно, как и откуда попали. В реке щуки гоняют мелочь, в далях того берега белеет село Архангельское. Нет более мирной картины. Меня тянет к воде, как пьяницу к алкоголю: море, река, речка, речушка, ручей. Но приходится возвращаться в город, где еще выходят газеты. Случается, однако, что ночью врывается в типографию отряд Красной гвардии, разбивает цилиндры свинцового набора. Мы предусмотрительны и посылаем копии матриц в несколько типографий. Номер газеты, будто бы уничтоженный, рано утром продается на улицах. Власть еще неумела, происходит постоянное состязание. Все это скоро кончится. В осенний день в подвальном помещении маленькой типографии, при потушенных во всем здании огнях, с кучкой рабочих-добровольцев я выпускаю последнюю однодневку «За свободу печати»; вся московская литературная знать дала статьи за полной подписью – последнее, что мы можем сделать. В свободнейшей из стран приходится работать подпольно, однако забрала еще открыта. Но новые тюрьмы уже строятся, старых – не хватает. За какое-то «ложное известие», давно подтвержденное официально, отвечаю, как редактор, перед новым трибуналом; обвиняет Крыленко⁵⁷, комиссар юстиции, забавный фанфарон; защищает приятель-адвокат, старающийся убедить суд, что перед ним не буржуй, а интеллигентный бедняк, может быть, в единственных штанах... я делаю защитнику отчаянные жесты, потому что его слова повергают меня в смущение: на мне не только единственные, но рваные панталоны, так что стараюсь не повертываться спиной, спасая свою редакторскую честь; мы уже донашиваем одежду, обувь, скоро будем сами шить себе

⁵⁷ Николай Васильевич Крыленко (1885–1938) – активный участник Октябрьской революции, большевик, с начала 1918 г. перешел в ведомство юстиции.

фантастические костюмы из портьер и мешков, носить зимой сандалии, добывать к лету валенки, подшитые кожей, содранной со старинных переплетов.

Те, кто бежал тогда из России сначала на юг, под защиту добровольческих армий, потом за границу, никогда не могли понять всей силы и полноты пережитого нами, оставшимися делить судьбу родины. Перенеся и испытав все тяготы и ужасы жизни – нищету, голод, террор, мы видели и иное, придававшее жизни глубокий смысл: спайку душ, самоотвержение, взаимопомощь, поравнение в жизненной борьбе, пробуждение ранее спавших сознаний. Страдая от новой власти, мы и в мыслях не имели проклинать революцию и возврат к прежнему, если бы он был возможен, сочли бы величайшим несчастьем для России. Далеко ушла от нас война, и заключенный новыми господами страны отдельный мир не вызывал в нас ни протеста, ни большого интереса: иного быть не могло, и народ не двинул бы пальцем ради прекрасных глаз Европы. Начавшаяся гражданская война также вызывала мало интереса – лишь постольку, поскольку она тяжело отражалась на нашем быте, усиливая нищету, мешая жизни хоть немного восстановиться и стать на рельсы; вызывая усиление террора. Добровольчество, при всем потоке громких слов, шло под знаменем возврата монархии и земельной собственности, с целью полного сокрушения революции; десятки народившихся окраинных и сибирских правительств были никому не нужны и не менее опасны, чем наше; не вызывали ни доверия, ни надежд. Мы отдавали должное героизму единиц и масс по обе стороны гражданского фронта, мечтая лишь об одном – чтобы все это скорее кончилось тем, чем должно было неизбежно кончиться. Оскорбляло вмешательство иностранцев, бывших военных союзников, пытавшихся распорядиться нашими судьбами. Мы хотели бороться сами, отстаивая свои личные и вновь нами созданные общественные крепости, и в какой-то мере этого добивались. Было прочно сознание, что при всех испытаниях, во всех условиях, вопреки разрушительной деятельности власти, нужно спасать Россию и то, что осталось от революции. Позже, высланный за границу, я понял, какая психологическая пропасть оказалась между нами и эмигрантами, до какой степени им было чуждо и непонятно то, что нам пришлось внутри пережить. Они отреклись от России, – мы оставались тесно с нею связанными; они

видели в России только кучку властителей, одинаково и им и нам ненавистных, – мы видели и знали новых людей, силящихся поставить на ноги раненого колосса, видели народ, пробудившийся к сознательной жизни, огромные возможности расцвета этой жизни, только бы не убил до конца этих возможностей возврат политического деспотизма. Нам казалось, что вопреки всему революция явилась для России благом, что в длительном процессе жизни это скажется. И во имя борьбы за это мы хотели жить в России. Я говорю «мы» о тех интеллигентах, которые и прежде вели борьбу с властью и для которых настоящее положение было только этапом все той же борьбы. И я не сомневаюсь, что таких людей осталось в России много и много ими сделано. Мне особенно приятно писать это сейчас, в дни «крестового похода» темных сил Европы на русскую землю под предлогом борьбы против большевизма, в действительности столь родственного свастике. Не власть защищает русский солдат и русский народ, а свою землю, свое право быть ее хозяином, и никакой исход событий не умалит силы и значения тяжкого русского подвижничества. Тороплюсь сказать это прежде, чем станет модным преклоняться перед свершившимся и к нему приспособляться.

С любовным чувством вспоминаю нашу личную крепость. Горсточка писателей и ученых основала книжную торговлю в дни, когда все издательства прекратились, были национализированы и закрыты все магазины. Мы сами создали себе привилегию и пять лет ее отстаивали. Нужно было чем-то жить, помогать жить другим, и было приятно окружить себя книгами, частью нашей сущности. Об этой московской Книжной лавке писателей, вызвавшей позже подражания, писал не раз я, писали и другие. Она заполняла нашу жизнь. Она стала центром московской интеллектуальной жизни. Мы не просто скупали и перепродавали старую книгу, мы священнодействовали, спасали книгу от гибели и разрушения, подбирали в целое разбитые томики, создавали библиотеки для университетов и учреждений, помогали любителям составлять коллекции. В те дни было загублено бесчисленное количество больших и малых книгохранилищ. Мерами власти книги отнимались, валились в кучу, сгнаивались в затопленных водой подвалах. Скупая оставшееся, подбирая томик к томику, сбывая мусор, мы разрушению противопоставляли созидание,

пусть в размерах скромных, но все же существенных. Находились смельчаки и страстные любители книги, которые, прикрывшись добытыми «охранными грамотами», не всегда охранявшими, решались составлять себе библиотеки, о каких раньше не могли и мечтать; у нас они находили бесценные сокровища, расплзшиеся по России из разрушенных поместий и частных хранилищ. На скромнейшие доходы мы жили сами и помогали жить Союзу писателей и его отдельным членам. Мы не забывали, конечно, и себя, каждый забирая в свой лавочный «паек» то, что отвечало нашей частной книжной страсти. Вижу книжные полки в своей уплотненной жильцами квартире, мысленно поглаживаю старые переплеты, перелистываю страницы редкостных изданий, мечтаю о недостающем и чаемом, любуясь ростом моих богатств. Голод, бедность, постоянное ожидание налета бдительной власти, недовольной независимостью наших позиций и нескрываемых взглядов, – все это забывалось среди книг. Какая радость спасти увесистый том Четьи-Минеи⁵⁸ от покушения на прочную кожу его переплета для обшивки валенок или заплаты на башмак. Уберечь, подобрать к нему другой и третий, пока не восстановятся все тома полностью. Томиками французских изданий осьмнадцатого века, которые сейчас продаются в Париже в отеле Друо за тысячи, у нас играли в деревнях ребятишки, как удобными битками для бабок; они валялись в мусоре разрушенных усадеб, вместе с архивами безграничной ценности. К нам робкий человек приносил на продажу сплетенные в альбом или просто оставшиеся без призора письма Екатерины Второй и ее сподвижников, доставшиеся ему по наследству или им откуда-то добытые, – теперь уже никому не нужные, последний источник его пропитания; мы отдавали ему всю наличность кассы, чтобы после продать музею за символический рубль. Дома я разбирал пожелтевшие листки, забывая тухлую конину, морковный чай, вкус мерзлой картошки, готовя слова, которыми порадую друзей, рассказав им о своих открытиях. Лично я собрал исключительную по ценности библиотеку русских книг об Италии, преимущественно путешествий, от времен Шереметева до дней наших. По моем отъезде она осталась на хранении в одном из иностранных посольств в Москве; кто скажет, что стало теперь с моими сундуками? Все равно: да будет благословенна книга,

⁵⁸ Четьи-Минеи – церковно-религиозные сборники, состоящие из житий святых, сказаний, легенд и поучений. Предназначались для ежедневного чтения.

давшая в жизни так много утешений и радости! Но и горя немало дает утрата любовно собранных сокровищ. Всё, что было собрано в России, погибло, как позже погибло, украдено культурными бандитами накопленное мною в Париже.

Книга спасала по ночам, когда не спалось. Поблизости шум мотора: прошумит ли он мимо или замрет у нашего подъезда? Шаги на лестнице, отдаленный стук в дверь, новый ближе. Может быть – облава, повальный ночной обход квартир; может быть, отдельные, намеренные визиты. Уже прогремело имя улицы Лубянки, уже работает неустанно Варсонофьевский гараж, облюбованный для расстрелов. Нужды нет, что вы не чувствуете за собой никакой вины, кроме несогласия мыслить по чужой указке, – новая власть косит направо и налево, не слишком разбираясь. Днем случайный звонок, комиссар с солдатами, и часом позже, в полуподвальной камере Московской Чека, я знакомлюсь с другими заключенными. Пожилой человек говорит: «Можно просить вас занять место на нарах рядом со мной? Вы – свежий человек, без вшей, в моем углу еще чисто; будете желанным соседом». – «Где я нахожусь?» – «В Корабле смерти». – «Кто вы?» – «Я Поливанов⁵⁹, бывший военный министр». – «А другие?» – «Часть – бандиты, часть – люди разных партий, а почему взяты, не знаю, да и они сами не знают».

Проходят дни в ожидании. Есть несколько книжек, в их числе «Виктория» Кнута Гамсуна. Я облюбовал в подвале отдельную, пристроенную из досок комнату, куда никто не заходит. Лежу на лавке и читаю Гамсуна. Какая нежная книга! Это – комната смертников, но сейчас пусто, так как пока все, кто нужны, расстреляны. На стенах прощальные надписи. Мой арест случаен. Бывают также случайные расстрелы; бывают и такие же освобождения. Союз писателей еще пользуется некоторым вниманием: я член его правления. Меня освобождает лично Каменев, народный комиссар, член Совета рабочих депутатов. «Маленькое недоразумение, – поясняет Каменев, – но для вас, как писателя, это материал. Хотите, подвезу вас домой, у меня машина». Я отказываюсь, вскидываю на плечи свой узелок и шагаю пешком. За пять дней в Корабле смерти я действительно мог собрать кое-какой материал, если бы сам не чувствовал себя

⁵⁹ Алексей Андреевич Поливанов (1855–1920) – генерал от инфантерии, военный министр в 1915–1916 гг.

бездушным материалом. На расстрел был уведен только один бледный мальчик с порочным лицом: его опознал «комиссар смерти», иногда приходивший взглянуть с балкона внутрь нашей ямы; сам бывший бандит, теперь – гроза тюрьмы и герой террора, он узнал мальчика, моего второго соседа, весело его окликнул, и затем заключенный был вызван «по городу с вещами». Мы знали, что он не вернется. Знаменитый гараж поблизости, но обходятся и без него, так как на нашем дворе есть также удобный подвал для быстрой расправы. В Лавке меня встретили радостно друзья и книги; дома знакомые томы и томики стояли в оставленном порядке. Инцидент исчерпан.

Первое пятилетие революции, свидетелем которого я был, полагается делить на периоды – на эпоху Временного правительства, октябрьский переворот, военный коммунизм, новую экономическую политику и что-то еще. Историки объяснят, как все это происходило, чьим радением, чьей мудростью; но не верьте на слово историкам, не верьте слишком и их документам, потому что они приведут в стройность то, что не было и не могло быть стройным, они в хаосе откроют гармонию причин и следствий, они преподнесут облизанную конфетку – и проглядят человека. Мы, родившиеся на больших реках, знаем, что в ледоход и разлив никто не направит течения палочкой, как мальчик струю воды в уличной канаве. Свершается то, что свершается, и кто-то приписывает это себе и придумывает событиям названия. Нас влекла стихия, а люди на стороне делили должности, кричали слова команды, стреляли в упор или мимо, тормозили спинами раскатившийся вагон. Дореволюционная Россия была домовита, запаслива, богата, и война ее не истощила. Мы долго доживали и доедали ее запасы, пока пришло время, когда остались только кремешки для зажигалок и пустые коробки от папирос «Ира». Стали странствовать на колесах и пешком на юг с мешками, привозить оттуда муку, крупу, иной раз и сало, толстые слои сала с мясными прожилками и коричневой корой. Приползала зимой замерзшая картошка, дома оттаивала чернилами, но все же шла в дело. Чаше люди перочинными ножами вспарывали шкуру павшей на улице от бескормицы ломовой извозчицьеи лошади, приносили домой черное жилистое мясо на котлетки. Привыкнув к очередям, молчаливо выстраивались на улице в ряд, подбирали из навозной колеи посыпанную с воза клюкву и несли домой в горстке, как

четверговую свечку: все съестное стало священным. Нельзя было в нижнем этаже вывешивать между оконными рамами недоеденный кусок, вывешивать не из боязни порчи (в домах было холодно), а чтобы спасти от крыс: нельзя, потому что прохожий человек бил кулаком стекло, хватал, что висит, и бежал за угол, уплетая на ходу. В каком-то переулке с меня сняли шубу и пиджак – не возразишь против револьвера, приставленного к затылку, и вот незаменимая потеря. С магазинов содраны вывески, из них понаделаны печурки, гордость всякого хозяйства; растопка – номер «Известий рабочих, крестьянских и солдатских депутатов», одного названия достаточно для розжига, а на дрова идет лишняя мебель и выковырянные дубовые плитки паркета. И все-таки мы ходили друг к другу в гости, прихватив свой сахарин к чужому чаю из листьев брусники. Хватало пшена, которое заправляли любым маслом: бобовым, кокосовым, минеральным, лишь бы не драло глотку. Мы были очень изобретательны, и мы не скучали. Многие умирали от голода, но иные, слишком полные, от него поправлялись, делались стройными и деятельными. Хоронить погибших от тифа или от расстрела посылали по наряду буржуев, а трупы назывались жмуриками. К весне торопились скалывать на дворах лед, вывозить снег и кухонные отбросы, чтобы не затопило грязью, вонью и болезнями; дружная работа всех жильцов, прекрасное житейское поравнение нет больше барства, как нет и слуг. И всюду находились люди побойчее: бывший ли дворник или бывший адвокат, которые выдвигались и нами командовали. Как любят люди властвовать! И как любят люди подчиняться! У властного оказывались и одежда получше, и за столом сливочное масло, а то и долетевший из Киева копченый гусь, отнятый у мешочника заградительным отрядом. Потом у властных появились на рукаве нашивки, дальше – форма, после появятся ордена и звания. У пояса кобура, под мышкой портфель, эмблема власти, – государственный строй крепчает, идеи стекленеют и становятся декретами и законами. Широко, во все скуластое лицо улыбается черт, придумавший государство. Труден только первый выстрел по приставленному к стене товарищу, дальше пуля сама знает, куда лететь. Рядом с нашей Книжной писательской лавкой, в Леонтьевском переулке, был барский особняк с залой, удобной для больших собраний; туда приезжали правители совещаться, как им мудрить над нами дальше; все люди верующие, крепколобые, без

лишней чувствительности. Вечером к окнам дома пробрался через сад неведомый отчаянный человек, тоже без жалости, и швырнул бомбу. В ночь расстреляли в подвалах Чека сидевших в Корабле смерти и других узилищах, для отместки и в острастку. Кажется, это и называется военным коммунизмом. Когда же скуластый лысый человек, читавший в Париже томительные доклады и по их тезисам строивший теперь наше бытие, честнейший теоретик, чистейший бессребреник, за цифрами не видевший людей, – пусть мир погибнет, лишь бы теория торжествовала! – когда он додумался, что время дать некоторый простор частным побуждениям, поощрить инициативу, тот же поток стихии стал называться нэпом – новой экономической политикой; и вдруг появился белый хлеб и пирожки с капустой. Был еще другой человек, с лицом шестиугольным, подправленным усами и бородкой, с огромным самолюбием, злыми глазами и прочной в душе ненавистью и прежде всего – страстный ненавистник военщины, скрипевший зубами при виде военной формы. Судьба над ним подсмеялась, сделав его народным комиссаром войны и командующим войсками. Тот, первый, скуластый татарин, хотя и русский дворянин, остался штатским в прежнем своем пиджачке; этот надел длинное военное пальто и славянский шишак с пентаграммой, округливший его шестигранное еврейское лицо. Она, судьба, и дальше его не оставит. Он высылал из России неугодных людей, и ему я благодарен за дальнейшие скитания по Европе; он будет сам выслан и кончит жизнь запутавшимся в мемуарах эмигрантом; но и в далекой стране его настигнет и убьет третий властитель России, толстый грузин в суконной полуформе, усердный убийца, услужливо прозванный отцом народов и мировым гением, сейчас – соперник в бессмертии и славе германского маляра⁶⁰. Мимо этих бронзовых фигур течет река жизни, то затопляя половодьем, то мелея, в ее воде мелкие рыбешки, шарахающиеся от щук и окуней, им тоже нужно жить, жрать и метать икру; и бежит река своим вековым руслом, а многодумные люди скажут: это мы приказали ей течь в берегах, левом – крутом и правом пологом, из гор в долины; мы, властители

⁶⁰ Свой перечень иносказательно названных исторических фигур (Ленин, Троцкий, Сталин) М. А. Осоргин завершает Адольфом Гитлером, иронически намекая на увлечение последнего живописью: в 1911 г. будущий фюрер «третьего рейха» специально приезжал в Вену, чтобы попытаться поступить в Академию художеств.

и направители ее светлых струй. И в истории опишется все иначе, прилежнее, аккуратнее, с догадками, выводами, именами и датами, – в руководство будущим поколеньям. А солдата, продававшего из-за пазухи «игранный» сахар, бывшую даму, поменявшую будильник на щепотку муки, нас, читавших ночью старинные итальянские новеллы, ожидая стука в дверь, вас, разметавших по чужим странам душевные богатства, история не припомнит за малостью и ненужностью на страницах ее соломенной бумаги.

Из великих революционных принципов, посеянных по русской земле, заглушены были скоро всходы свободы, но хорошо уродилось равенство – в благосостоянии и в рабстве. Единицы процвели особо, обеспечив будущему новое дворянство, но в общем жизнь создала желанное поравнение. Если класс неимущих выиграл мало, то стремительно к его уровню скатились те, кто раньше жил на его счет. Кто не успел бежать, прихватив свое добро в легконосных ценностях, тот попал под великий закон поравнения. Из богатых квартир, не очищенных прямыми мерами, потекло на базары и в хитрую деревню накопленное и сбереженное, стала торговкой бывшая барыня, теперь гражданка, деньги утратили ценность, отпали титулы, попряталась голубая кровь, и кто мог, называл себя детищем прохожего солдата и покрытки⁶¹, потомком крепостных дедов. Всех равно одолели голод, холод, вошь, заползшая за воротник, крыса, хотевшая быть сотрапезницей. Равны стали и в одежде, с одинаковым за плечами мешком, слабосильные с санками или детской колясочкой – на случай пайковой выдачи или неожиданной продовольственной поживы. Мешки срослись с телом, люди стали сумчатыми. Если кто мог одеться лучше других воздерживался, боясь косых взглядов; если мог лучше поесть – скрывал, ревниво пряча съестное, жуя его в одиночестве и в темноте, чтобы не подсмотрел сосед в щелку. Уравнялись и в возможности попасть под карающую руку за дело, без причины, в общей облаве, по дружескому доносу или просто зря, по шутке неудачливой своей судьбы, по силе принципа: «Лучше казнить десять невинных, чем оправдать одного виновного» – так перекроили знаменитую фразу Екатерины Второй, специалистки по показной гуманности. Кто похитрее, поспешил опроститься и стать незаметным, кто половчее

⁶¹ Покрытка, по Далю, «девка, вынужденная падением своим покрыть голову».

пристраивался в новых учреждениях, росших как грибы в дождливое лето. В новом строе, уничтожившем бывшее чиновничество, всякий, кто мог, становился чиновником, советским служащим, ответственным, рядовым, преданным или притворщиком, только бы числиться трудовым элементом и получать свою долю селедок, моркови, повидла, листовой резины на подметки, махорки, в которую подкладывался душистый колосок – и получалась едва ли не гаванская сигара. Старые ученые с мировым именем, философы, врачи, нестроптивые писатели стояли в очередях у лабазов за получением академического пайка, усиленного лошадиной ногой или ребром: пшено, клюква, что-то вроде чая с запахом кофея, мука, горстка сахара – и непременно селедка, превосходная русская соленая селедка, великое спасение от голодухи и гибели, – ей бы, благородной рыбе, поставить бы памятник! В обмен на селедку можно было получить все, что еще не совсем исчезло, ею можно уплатить долг и обеспечить себе новый заем. Селедки поедались в виде натуральном, в вареном, в жареном, их коптили в самоварных трубах, чтобы иметь запас, не подверженный порче. И еще вобла, золотая вобла, порою с червоточиной; воблой кормили в тюрьмах, на первое блюдо в супе, на второе вынутой из супа разваренной трухой. Под селедку и воблу страстно хотелось водки, но монопольные заводы не работали, запасы были выпиты и вылиты революцией, и ловкачам оставалось гнать сивушный самогон. Пили денатурированный спирт, но от него слепли, если не догадывались процеживать его через уголь противогазовых масок. Привычные пьяницы пробовали пить бензин и керосин; фармацевты делали богатые дела, отпуская знакомым малыми флакончиками зубной эликсир, эфирно-валериановые капли и все, что готовится на спирту для наружного употребления, теперь для внутреннего. Смельчаки пили одеколон, – и в людских скоплениях, в очередях и на базарах пахло тонкими духами и разило эфиром.

Два явления развивались параллельно: небывалый раньше эгоизм – в дружных прежде семьях один прятал от другого кусок, садились за стол со своими съестными сбережениями, косились на материнскую и сестринскую тарелку, укрывали в кармане луковицу, ссорились из-за неравной порции. И в то же время сторонний человек, видя нужду другого, подкармливал его, лишая себя последнего. Рискуя жизнью, укрывали гонимых, хлопотали за

арестованных, простаивали в длинных хвостах у тюремных канцелярий с кулечками для своих и чужих узников. Одни спасали свою шкуру любыми мерами, от вилянья хвостом до прямой подлости, другие – шли на проклятие для ближнего и дальнего. Всякая жизнь была подвижничеством, и кличка «товарищ», одним ставшая ненавистной, для других звучала священно.

И еще было одно, что трудно объяснить человеку, не пережившему в России тех дней. И торжествующих, и от их торжества пострадавших объединяла вера в то, что все эти страдания, лишения, вся нищая суэта жизни, все это лишь временно, лишь страшный переход от прошлого к будущему. От революции пострадав, революции не проклинали и о ней не жалели; мало было людей, которые мечтали бы о возврате прежнего. Вызывали ненависть новые властители, но не дело, которому они взялись служить и которое оказалось им не по плечу, – дело обновления России. В них видели перерядившихся старых деспотов, врагов свободы, способных только исказить и тормозить огромную работу, которая могла бы быть – так нам казалось – дружной, плодотворной и радостной. Смотря вперед, верили или хотели верить, что все это выправится, и потому так мечтали о прекращении гражданской бойни, мешавшей успокоению и питавшей террор. Может быть, ошибались, но думали так. И по мере сил, каждый в своей области, старались наладить и личную и общественную жизнь на совсем новых началах, раньше недоступных. Наладили ли – не знаю. Отсюда, из Европы, Россию не поймешь. Я не видал ее почти двадцать лет. Сыновнее сознание не мирится с тем, что тамошние люди жили и живут в политической духоте, в ставшем привычным подданстве и робком послушании. Старшие приспособились (или лгут? или притворяются? или переменились?), младшие ничего другого не знали, никакими идеями свободы не заражены; от иного мира отделены непроницаемой и непролазной стеной запретов. То, что нам казалось и было важнее и дороже жизни и посейчас кажется – вот хотя бы возможность эти слова сказать, написать, где-то напечатать, – им то чуждо, незнаемо, незнакомо, непотребно. У курицы какие-то предки, вероятно, летали, но она не мечтает ни о полетах, ни о плаванье. Животные в подземных пещерах, никогда света не видавшие, лишены зрения. Рабочий муравей, раб коллектива, безличная машина, не вспоминает об атрофированных

органах, не знает силы пола, и он, по-своему, может быть счастлив. Жаль людей суженного кругозора и ограниченных духовных запросов, кастратов мысли, но если цель жизни счастье, то возможно, что новые поколения счастливее нашего; мы целью жизни считали не счастье, а широту и благородство духовных стремлений, возможность их развивать и им следовать. Мы могли ошибаться, но тогда какая прекрасная ошибка! Стоит ее всегда повторять, стоит и умереть, ей не изменяя.

В двадцать первом году мы, жители столицы, видели в беспокойных снах, будто горстями едим сахар и ломтями малороссийское сало; проснувшись, заедали горячий настой брусничного листа черным хлебом с привкусом пыли и плесени. Великой хозяйственной изворотливостью появлялась за обедом гречневая каша, хоть и без масла, но все же сносное питание. Иной делал чудеса: выкармливал в чулане поросенка, вскакивая по ночам взглянуть, не взломана ли дверь кем-нибудь из добрых соседей; у других на кухне, под столом, сидела на яйцах курица. На улице солдат-дезертир, побывавший на юге, показывал знаками проходящей хозяйке, что у него есть за пазухой нечто редкостное, – и хозяйка шмыгала с ним в чужие ворота или темный подъезд, где солдат распоясывался, извлекал из обмоток размякший шоколад, из шаровар мешочки с крупой; деньгам солдат предпочитал обмен на белье, на штатскую пару, на золотое колечко – торговля была сложна, опасна, все передавалось с оглядкой, из полы в полу. На базарах, которые то поощрялись, то оказывались незаконными и подвергались облавам, шел тот же сложный обмен буржуазного барахла на масло, картошку, пшено; высшей ценностью были сапоги, на них можно было запастись мукой на всю зиму; но неплохо котировался и будильник, треск которого нравился наезжавшим из деревень крестьянам. Толстая баба прикидывала на свой стан кружевную кофточку разорившейся барыни; бывший чиновник не соглашался дешево отдать граммофон. Вдруг появлялся отряд милиции, и все бежали, стараясь унести свое добро, давя друг друга, проклиная свою горемычную судьбу.

Мы голодали, но это был шуточный голод: от него худели, хворали, но умирали не так часто. Настоящий голод был в приволжских губерниях, пораженных неурожаем, и описать его нельзя, хотя и пытались многие. Там начисто вымирали деревни и села, и дороги между ними зарастали травой. Там были съедены

пощажённые засухой листья деревьев, содрана и сжевана мягкая кора, истреблены крысы, белки, хорьки, лягушки, сверчки, земляные черви. Лучшим хлебом считался зелёный, целиком из лебеды; хуже – с примесью навоза, ещё хуже – навозный целиком. Ещё ели глину, и именно тогда было сделано великое открытие «питательной глины», серой и жирной, которая водилась только в счастливых местностях и была указана в пищу каким-то святым угодником. Эта глина насыщала ненадолго, но зато могла проходить через кишки, и так человек мог прожить целую неделю, лишь постепенно слабея. Обычная глина, даже если выбрать из неё камешки и песок, насыщала навсегда, от неё человек уже не освобождался и уносил её, вместе с горькой жалобой, на тот свет для предъявления великому Судии. Но великий Судия только досадливо отмахивался: он был завален серьёзными делами о людоедстве, слух о чём докатился до Европы, кушавшей тартинки и отвергавшей Россию и русских за военную измену и за революцию. С ужасом и презрением писали о «случаях каннибальства», не зная, что это были уже не случаи, а обыденное явление и что выработалось даже правило сначала есть голову, потом потроха и лишь к концу хорошее мясо, медленнее подвергавшееся порче. Ели преимущественно родных, в порядке умирения, кормя детей постарше, но не жалея грудных младенцев, жизни ещё не знавших, хотя в них проку было мало. Ели по отдельности, не за общим столом, и разговоров об этом не было.

Я не видал голода, хотя к зиме страшного года был сослан в Казанскую губернию, где вымирали татарские селения. Вернее, видел я только забредших в город Казань, чудом выживших деревенских людей. Появлялась на улице человеческая тень в отрепьях, становилась у стены с протянутой рукой. Давали мало, хоть деньги ничего не стоили, да и не были настоящей помощью тысячные, стотысячные, миллионные бумажки. Постояв на морозе сколько-то времени, тень опускалась на снежную панель и замерзала, и тогда в упавшую шапку прохожие бросали, не жалея, мелкие бумажки. Это я видел. И ещё видел детей, черемисов и татарчат, подобранных по дорогам и доставленных на розвальнях в город распорядительностью Американского комитета (АРА). Привезённых сортировали на «мягких» и «твёрдых». Мягких уводили или уносили в барак, твёрдых укладывали ряд на ряд, как дрова в поленнице, чтобы после предать земле. И ещё раньше, до

казанской ссылки, я видел в Москве коллекцию сортов «голодного хлеба», собранную на местах одним из членов общественного «Комитета помощи голодающим», – замечательную коллекцию суррогатов, которыми пытались питаться миллионы умиравших от голода крестьян; ни в одном музее мира не найти такой коллекции разноцветных камней и неведомых пород, и то московское собрание погибло при аресте членов комитета.

Я мало видел, но много слышал в Казани от очевидцев. Из всех рассказчиков самым остроумным был следователь, которому вначале были поручены дела о людоедстве; после, когда эти дела умножились, их предали забвению, тем более что большинство «преступников» явиться на человеческий суд уже не могло. Следователь, человек новой формации, без всякого образования, но уже успевший усвоить казенный «юридический» язык, возмущенно повествовал, как в большой крестьянской семье ели умершего собственной смертью деда, которого перестали кормить. В протокол по этому делу следователь записал: «Означенные граждане варили из головы суп, который и хлебали, даже не заправив его крупой или кореньями». Я запомнил эту фразу – она гениальна!

О, я мог бы привести здесь много рассказов о голодном годе, – не для русского читателя, которого ничем не удивишь, а для иностранца, для того самого, который строго судил Россию за уход с фронта, а сейчас одобряет за отчаянное сопротивление. Мог бы, например, нарисовать жанровую картину, как кучка полуживых плетется по следам умирающего, который из последних сил пытается углубиться в лес, найти покой своим костям; так точно стая волков преследует раненого собрата, подлизывая его кровь на снегу. Да, мы люди дикие, лесные. Леса наши огромны, селенья редки; по Казанской губернии можно ехать на лошади две недели, не встретив по дороге ни дома, ни человека. Как же вы полагаете, понятно ли было жителям тех мест, какими дипломатическими обязательствами была связана Россия, во имя чьих интересов должен был оставаться на фронте русский солдат: черемис, мордвин, татарин, вотяк, остяк, самоед? Уж и правда – не покривил ли он душой, бросив фронт и ненавистное ружье, истолковав по-своему «свободу»? И если сегодня он на тех же фронтах борется зверем – не случилось ли что-то особенное в России за истекшие годы?

В Москве, на Собачьей площадке, был скромный особняк, в котором приютился общественный «Комитет помощи голодающим». Неурожай и голод явления в России обычные, но ни одно правительство не могло справиться с ними. Настоящую помощь оказывала только сплоченность общественных сил; при Екатерине Второй с голодом боролись московские масоны, при Николае последнем – люди, созванные Львом Толстым. Правительство, вышедшее из Октябрьской революции, сильное в терроре, было бессильно спасти от смерти миллионы приволжских крестьян; и оно пошло на риск, допустив в Москве образование общественного комитета с участием и представителей правительства. Если кто-нибудь успел записать краткую историю этого комитета, то он рассказал, как нескольких дней оказалось достаточно, чтобы в голодные губернии отправились поезда картофеля, тонны ржи, возы овощей из Центра и Сибири, как в кассу общественного комитета потекли отовсюду деньги, которых не хотели давать комитету официально. Огромная работа была произведена разбитыми, но еще не вполне уничтоженными кооперативами, и общественный комитет, никакой властью не облеченный, опиравшийся лишь на нравственный авторитет образовавших его лиц, посылал всюду распоряжения, которые исполнялись с готовностью и радостно всеми силами страны. Он мог спасти – и спас – миллион обреченных на ужасную смерть, но этим он мог погубить десяток правителей России, подорвав их престиж; о нем уже заговорили, как о новой власти, которая спасет Россию. Ему уже приносили собранные пожертвования представители войсковых частей Красной Армии и милиционеры. Екатерина Вторая разбила московское масонство, Николай последний преследовал работавших на голоде «толстовцев»; октябрьская власть должна была убить комитет прежде, чем он разовьет работу. В Приволжье погибло пять миллионов человек, но, политическое положение было спасено. В доме на Собачьей площадке очередное заседание комитета, но не приехал председатель, народный комиссар Каменев⁶², раньше аккуратный. Я сижу рядом с В. Фигнер⁶³, знаменитой революционной

⁶² Лев Борисович Каменев (1883–1936) – один из руководителей большевистской партии, в описываемый период председатель Моссовета.

⁶³ Вера Николаевна Фигнер (1852–1942) – революционерка, член «Народной воли», двадцать лет пробыла в заключении.

старушкой, выдержавшей двадцатилетнее одиночное заключение в Шлиссельбургской крепости, строгой, серьезной, не утратившей веры в революцию. Говорю ей: «Вот сейчас явятся чекисты, и мне придется провожать вас под ручку в тюрьму». Было легко пророчествовать в те дни, и я втайне жалел, что не уехал по зову приятеля в деревню ловить рыбу; но я был редактором газеты комитета, единственной независимой газеты, которая была разрешена; ее третий номер был набран, и гранки лежали в моем портфеле, – газета без тени политики, целиком посвященная информации о голоде и принимаемых нами мерах. Гудят у подъезда моторы, и впереди черных фигур влетает в залу женщина в кожаной куртке, с револьвером у пояса. Старушку Фигнер пощадили, нас повезли на прекрасных машинах. Один из спутников спросил на ухо: «Как вы думаете, это – расстрел?» Я кивнул головой уверенно. Иначе – какой же смысл в аресте? Чем его оправдать? Нас нужно объявить врагами революции и уничтожить! Тюрьма на Лубянке не приготовлена к приему столь многих гостей, и мы заперты временно в большой комнате, служившей раньше торговой конторой, вместе, мужчины и женщины, все – люди на возрасте или уже старые, общественные работники, кооператоры, профессора, писатели, врачи, инженеры, бывшие члены Государственной думы, бывшие министры при Временном правительстве, вообще – бывшие люди. Большинство впервые в тюрьме и не знают, что делать. Я знаю хорошо по прежнему опыту: нахожу уголок почище, ложусь на пол и засыпаю под возбужденные разговоры. Утро вечера мудренее, если, конечно, утро придет.

Утро пришло. И было еще много утр в камере лубянской тюрьмы, где, до ссылки, я просидел два с половиной месяца за посильное участие в борьбе с посетившим Россию голодом. Камера была одиночная, но сидело в ней то шесть, то семь человек разных званий и по разным делам: два члена комитета; бывший морской офицер в продранных сапогах, которому ночью крыса искусала палец; старый крестьянин, продавший на базаре пуд муки; коммунист-комендант, не угодивший начальству; еще неопределенные лица, может быть подсаженные слушать наши беседы. Сидели недели по две-три, потом исчезали, заменяясь новыми. Я пересидел других. Надзирателями были латыши, низколобые, грубые; дважды в сутки они выгоняли нас гурьбой в

уборную, на что полагалось десять минут, вместе с обязательной уборкой мокрыми швабрами, которую мы выполняли по очереди. Тюрьма была страшная, без всякой возможности общения между камерами и с внешним миром; в царских тюрьмах эта возможность всегда была. Не было книг, никогда не водили на прогулку. Нас кормили супом из воблы и воблой из супа: вобла гнилая и червивая; но допускалась передача пищи с воли, и родные и друзья выстаивали часами в очереди у конторы тюрьмы; иногда передача не принималась, и это обычно означало, что арестованный расстрелян, но прямо об этом не сообщалось. Не расстрелянный в первую неделю, я считал, что опасность прошла, и сидел спокойно. Иногда водили на допрос, но допрашивать было, в сущности, не о чем, отвечать на допрос нечего; никакой вины за нами не было, сочинить ее было трудно, так как комитет старательно избегал всякой политики и вся деятельность его была открыта; но причислены мы были к разряду под буквами КР контрреволюционеры, у половины арестованных членов комитета было немалое революционное прошлое, но это дела не меняло. До ссылки я не знал, что был, в числе шестерых, намечен к «ликвидации», от которой нас спасло заступничество Фриттьофа Нансена⁶⁴. Я никогда не видел этого замечательного человека, память которого чту независимо от того, что обязан ему жизнью. Вместо расстрела эти шестеро были сосланы в глухие провинциальные местечки; мне на долю выпал Царевококшайск⁶⁵, гиблое лесное поселение Казанской губернии, жители которого гнали смолу и по весне, когда вскрывались реки, сплавливали до Волги лес; доехать туда мне не привелось по болезни, задержавшей меня в городе Казани. Всякая ссылка лучше тюрьмы. В тюремной камере было холодно и сыро, отопление не действовало. Чтобы поправить его, прислали в камеру рабочих, которые, по неопытности, вместо починки затопили нашу камеру горячей водой. Пришлось просидеть сутки, подбрав ноги; затем вода просочилась под пол, и этим дело кончилось. Отопления так и не поправили, и у нас зацвели зеленой плесенью деревянные доски, служившие постелью, соломенные тюфяки, стены, одежда, обувь,

⁶⁴ Фриттьоф Нансен (1861–1930) – норвежский ученый-путешественник. Известен своими исследованиями Арктики. Один из организаторов помощи голодающим Поволжья (в 1922 г.).

⁶⁵ Царевококшайск – ныне Йошкар-Ола.

легкие. Ноябрь был морозный, и я рассчитал, что в такой обстановке, если даже не приключится острой болезни, до весны не дожить; весть о ссылке была настоящим освобождением и радостью. Поздним вечером вывели во двор, посадили на грузовик и доставили на вокзал. В вагоне отвели отдельное купе троим ссыльным (со мной ехали два известных кооператора, члены комитета) и пятерым молодым конвойным солдатам, которые ухитрились тут же, при отправке, потерять мешок с нашими и своими документами и всем продовольствием. Это тоже было удачей, так как теперь было неизвестно, кто кого везет. Были морозные дни, в вагоне отопления не было, стекла были разбиты, и меня, больного, товарищи уложили на лавку, прикрыв всем теплым, бывшим в нашем распоряжении; путь до Казани – трое суток, и путь страшный: вагоны кишели вшами, по России гулял тиф. У моих запасливых спутников оказался нафталин, которым усыпали пол и самих себя. Несмотря ни на что, мы ехали весело, подсмеиваясь над конвойными, которых нам пришлось кормить своими припасами. Приехав в Казань, мы отказались идти с вокзала в местную Чека и направились в Дом кооперативов, где были встречены ласково и предупредительно. И нас, и конвойных накормили так, как мы давно не ели, горячими щами, в которых плавали куски жирного мяса; спать уложили на настоящих кроватях, на мягких тюфяках, под простынями и теплыми одеялами. Наутро все же пришлось отправиться в казанскую Чека, где не знали, что с нами делать – никаких предпроводительных бумаг не было. Подумав, нас временно освободили, а конвойных арестовали для высылки обратно в Москву. Теперь уже мы проводили их на вокзал, усадили в поезд, щедро одарив деньгами и продуктами на дорогу. Недаром, по новой российской моде, мы все называли друг друга товарищами; слово «гражданин» еще не вошло в обычай. Я был слаб, но чистый воздух и некоторое подобие свободы сразу подбодрили и придали сил, и, преодолевая припадки ишиаса, я не без удовольствия бродил по улицам Казани, знакомой по прежним наездам. Недели через две мои спутники, сами раздобыв лошадь и сани, в сопровождении новых конвойных, поехали дальше в Царевококшайск; мне было разрешено остаться в городе для поправки. С провинциальными властями вообще можно было ладить, тем более что они нас несколько побаивались: сегодня – ссыльные, завтра мы могли бы оказаться господами положения; о

работе нашего комитета здесь, в голодной губернии, говорили с почтением. Слабо понимали, что произошло в Москве и почему мы высланы. Я был несколько поражен неожиданными визитами ко мне казанцев, в том числе молодого человека, преподнесшего мне свой «ученый труд» – тонкую брошюрку по экономическому вопросу – с очень трогательной надписью; он оказался коммунистом, профессором Казанского университета. Навестили меня и местные поэты и художники – в Москве на это никто не решился бы. Немного поправившись, я снял комнату в полуразрушенном большом доме, где оказалась превосходная печь, купил на базаре воз березовых дров, соорудил из досок отличный письменный стол, устлал пол и завесил окна новой рогожей – и зажил барином. Кооператив, снабжавший меня всем необходимым, нашел мне и службу по книжной части, синекуру, за которую я после отблагодарил его устройством в Казани книжного магазина, – все прежние были разграблены и уничтожены.

Россия того времени была полна противоречий; провинциальный ссыльный город – тем более. Читатель будет удивлен, если я ему скажу, что мне удалось в Казани, вместе с местными молодыми силами, издавать литературную газету – лишь с видимостью цензуры, при этом частную, хотя бумагу она получала из каких-то реквизированных складов. Все хозяйство газеты наладил, пользуясь знакомством, двадцатилетний юноша, симпатичный и нелепый местный поэт с забавным прошлым. В первые дни коммунистического переворота он оказался пламенным деятелем – следователем Чека, облеченным огромной властью. Но он по-своему понимал революцию, и, когда ему послали список арестованных, подлежащих допросу и, независимо от его исхода, расстрелу, он возмутился и приказал этих арестованных, девятнадцать человек, освободить; они успели скрыться, а его лишили должности. Он рассказывал об этом с возмущением: «Разве коммунизм не есть царство свободы и независимости?» Нам удалось издать десяток номеров, в которых уже появились статьи московских писателей, мною приглашенных. Редактируя газету, я не подписывался и свое участие скрывал; но какой-то номер попал на глаза московских властей, и газету, конечно, прихлопнули – без личных для нас последствий. Ссыльный, я председательствовал на литературных беседах-митингах в Казанском университете, объявленном «свободной ареной»; получил бесплатно постоянное

кресло первого ряда в местном театре, где режиссером был мой московский приятель; и медицинский «институт имени Ленина», маленькое аховое учреждение, по моей просьбе выдал мне удостоверение о «болезни, требующей для поправки перемены климата, желательно на климат московский, как наиболее умеренный». Все это не мешало мне оставаться в звании «врага народа» и даже подвергнуться однажды ночному обыску. «Да что вы у меня ищете?» – «Предписано обыскать, а что, мы и сами не знаем». – «Кем предписано?» – «Из Москвы телеграмма. Вы нам дайте, что есть». – «У меня ничего нет вам нужного». – «Ну, делать нечего, мы так и ответим». Получили по папиресе и ушли. Вы скажете: странное добродушие. Не добродушие, а нелепость: со мной случилось так; та же казанская Чека прославилась кровавыми расправами. В начале революции то же случилось и в самой Москве. Мне пришлось однажды, как председателю Союза писателей, хлопотать за товарища, сидевшего в тюрьме одесской Чека, которому грозил расстрел (хотя он был решительно ни в чем не повинен). Нужно было непременно добиться перевода его в Москву, где было легче его спасти. Для этого требовались какие-то подписи троих ответственных коммунистов. Две были найдены, для третьей мне указали на «комиссара» (всех тогда называли комиссарами) довольно свирепой репутации, из простых рабочих, который будто бы уважал литераторов. Я нашел к нему ход, и он пригласил меня прийти на квартиру в очень поздний час, почти ночью. Было очень противно, но я пошел. Квартира скромная, скорее бедная; «комиссар» в русской рубашке навывпуск, в кухне возится жена. Стол накрыт (хотя и без скатерти) для закуски, в центре – бутылка водки. Комиссар явно доволен, что принимает писателя. Прежде всего – выпить. Если бы он жил с тем шиком, как его высокопоставленные соратники, я бы попытался уклониться; но дело шло о жизни моего друга, ригоризм можно отбросить; притом скромность обстановки подкупала. Мы пили три часа отвратительный самогон; комиссар не интересовался, о ком идет речь; он рассказывал о себе, о том, как он уважает науку и литературу, как ему не удалось получить образования и как теперь, после революции, все пойдет по-иному, всякий будет учиться и добиваться своего. Поздней ночью, красный от водки, но сознания не утративший, резко сказал: «Ну, давай, какая там бумага!» Я проглотил «ты» и сунул ему лист, который он подмахнул с

тщательным росчерком. Перейдя снова на «вы», он прибавил: «Это за то, что вы не гордый человек; а кого надо, мы не пощадим». С отуманенной выпитым головой я нес домой драгоценный документ. Была спасена жизнь писателя Андрея Соболя⁶⁶, впоследствии застрелившегося. Но, по крайней мере, он сам решил свою судьбу.

Я довольно усердно выдержал рассказ о своей ссылке в стиле хроники. Но, в сущности, для меня в то время всякая «хроника» прервалась. Я мечтал жить и работать в России, рвался в нее из эмиграции, верил в революцию, оправдывал в ней слишком многое. И вот я – «враг народа», контрреволюционер; опять тюрьмы, опять ссылки – все, уже испытанное при царском режиме, в той же последовательности, с теми же знакомыми подробностями. Снова бежать за границу? Но она менее всего меня привлекала, и это уже не прежняя Европа, война неизбежно изменила ее лицо. В чем-то мы ошиблись. А может быть, это было неизбежным; не будь большевиков, было бы Временное правительство, которое, превратившись в постоянное, действовало бы точно так же, были бы аресты, были бы тюрьмы и ссылки, были бы те же гонения на свободное слово, только вместо пули карала бы за него традиционная веревка. Хроника жизни делается невыносимой. Если бы можно было уйти в мир образов, совсем не видеть того, что делается вокруг, совсем не участвовать в суете жизни! Невыносимо, когда история начинает повторяться.

Стояла в Казани суровая зима. На изразцы раскаленной печи я брызгал пихтовым экстрактом – воздух становился смолистым, и я видел себя летом в лесу, в деревне Загарье, куда меня возили в детстве. Буду писать роман. Буду как-нибудь тянуть жизнь. Но дорожить нечем и верить, кажется, не во что.

Какое прекрасное сентябрьское утро! Сияет светом наша улочка, огороды залиты золотом, за ними идет низина, по которой моими рыбацкими ногами протоптана тропинка к реке. Одинокая пара среди чужих людей, в чужой стране, сиротливые, нищие, мы в иные дни все же хотим улыбаться. Иностранцы, да еще русские, мы стали узниками приветливого французского местечка, куда

⁶⁶ Андрей Михайлович Соболев (1888–1926) – прозаик, знакомый М.А. Осоргина. Будучи социалистом-революционером (эсером), за свою деятельность ссылался на принудительные работы в Сибирь. После побега жил в эмиграции. В 1915 г. вернулся в Россию. История с арестом Соболева одесской ЧК вошла также в рассказ Валентина Катаева "Уже написан Вертер".

спаслись беженцами в дни военной угрозы Парижу. Теперь лишены права и возможности передвижения. Но в любую минуту я могу взять свои удочки и пойти на речку Шер. Она малорыбна, но очень красива; за рекой занятая немцами Франция, – теми самыми немцами, которые сейчас стараются раздавить Россию. В мои записки о прошлом невольно вплетаются нити настоящего, но для читателя оно будет тоже прошлым, – для читателя, уже знающего то, чего я еще не знаю. Впрочем, мне некуда торопиться в этой книге, начатой до войны и все еще ее не догнавшей.

Жизнь – картинная галерея. По улице, на которую выходит окно нашей хибарки, скоро потянутся повозки с виноградом и те незамысловатые давяльные машины, залитые кровавым соком, которые странствуют по дворам местечка в дни виноградного сбора. Однако по ходу моего рассказа естественнее смотреть из другого окна на засыпанную снегом, нечищеную Проломную улицу Казани. Там речки Казанка и Булат, обе впадают в широкую Волгу, отделенную от города семью верстами унылых песков, зимой – снежной поляной, изрезанной немногими дорогами. В теплом кожаном полушубке и валенках я брожу по казанскому базару, где прямо на снегу раскинулась мелочная торговля старьевщиков. Среди бытовой дряни – несчетные богатства, и я охотно накупил бы на свои гроши кучу музейных ценностей, если бы был человеком с будущим и с прочным пристанищем: томики бесценных уникалов, рукописных старообрядческих книг с цветными рисунками, чашки и чайники знаменитого поповского фарфора, бисерные вязанья, чудесные коврики, и все – почти что даром, по цене щепотки ржаной муки. Мой знакомый, не богаче меня, но здешний человек, завалил книгами две комнаты от пола до потолка, утонул в них в счастливом недоумении; он не искусен в отборе и бросается на все с одинаковой библиофильской жадностью. Полки кооперативного музея ломаются от новых случайных поступлений – образцов местного искусства и осколков любительских коллекций. Где бывшие хозяева этих разбитых сокровищ? Не они ли ушли в Сибирь и дальше с прошедшими через Казань добровольцами и чехословацкими отрядами?

На базаре пахнет эфиром и одеколоном, заменившими водку; до чего богата Россия! Бывший дворник дома, где я живу, теперь оказавшийся не у дел, так как дворники отменены и дома стали ничьими, ввалился ко мне божественно пьяный и насквозь

проэфиренный, грохнулся на колени, поклонился до земли и промычал: «Прости меня, барин!» Я вижу его в первый раз, прощать его мне не за что. Пьяная отрыжка рабского духа. Толкаю его в бок носком валенка: «Встань, пьяная рожа, постыдись, ведь ты – гражданин!» Он обиделся: «Чего же ты дерешься? Я по-хорошему пришел. Драться нынче не приказано». Глаза красные, в войлок сваляна борода; хоть бы догадался ударить меня, все же было бы мне легче. Вытолкал его за дверь: «Ступай, просппись, проснувшийся народ!» Хожу весь день мрачный, не могу забыть оскорбительного «барина». Под вечер я зашел в открывшуюся дешевую столовую, целое событие для Казани, где нет, конечно, ресторанов, как и вообще частной торговли; как возникла эта – неизвестно, и почему ее терпят; вообще в провинции новый строй путается со старым, никто ничего понять не может. В столовой дали неплохую котлету, то ли мясную, то ли из чего-то напоминающего рубленое мясо; и дали ломоть хлеба, слишком черного, но словно бы настоящего. Чудеса! Под стол забралась собака, путается у моих ног. Хотел дать бедняге хлебную корочку, сунул под стол: «Эй, где ты там?» – и собака выхватила корку синими детскими пальцами. В ужасе отнял руку: это голодный татарчонок. Женщина, служащая столовой, говорит: «Ничего не могу с ними поделаться, вползают в дверь, как клопы, забираются под стол, крошки собирают. Главное, очень вшивые они. Иди, мальчик, иди на улицу, здесь нельзя!» Маленький скелет выползает и ухмыляется. Я вышел из столовой отравленным.

С Казанью меня роднят семейные воспоминания. В Казанском университете учились мой отец, дядя и старший брат. Гимназистом я посылал свои первые статьи в казанскую газету и даже полемизировал с сотрудником другой здешней газеты, тоже прятавшимся под буквами⁶⁷; я был очень доволен и горд, узнав стороной, что это – прокурор окружного суда. Студентом я ездил из Москвы в Пермь и обратно на летние каникулы, пароходом по Волге и Каме, и Казань была серединой пути. Старался попасть на один из мощных пароходов Ольги Курбатовой, тянувших за собой баржу; пароходы были прекрасно оборудованы, проезд на них дешев, буфет превосходен, и шли они не трое, а пятеро суток – два лишних дня речного наслаждения. Я не люблю моря, оно скучно и

⁶⁷ Начинаящий журналист Михаил Ильин пользовался помимо псевдонима «Пермяк» еще и такими, как «М. И-нь», «Студ. М. И.» и т. п.

однообразно; но плыть по большой реке с изменчивыми берегами – высокое наслаждение. В Казани было несколько часов остановки, и я ездил в город посмотреть на кремль и Сююмбекову башню; есть какая-то легенда о ней, не помню. С почтением смотрел на Казанский университет, питомцем которого был и Лев Толстой. Теперь я был частым гостем в стенах этого университета, хотя большинство его лучших профессоров ушло вслед за чехословаками в Сибирь; дальше их путь – на Дальний Восток, в Китай, в Японию, оттуда океанами в места российского рассеяния – в Америку, в Австралию, черт знает куда и зачем, а кто мог – в Европу. Великий исход, переселение народов, гигантская чепуха. Оставшиеся – робки, запуганы, бесцветны и уже уступают место людям большой воли и малой грамотности, «красной профессуре», путающей науку с политикой, труды великих с пропагандными брошюрками. Новая страничка в истории многострадального города. Когда-то его разоряли междоусобия, он долго боролся с Москвой, был завоеван, спустя два века разграблен Пугачевым, много раз выгорал дотла. Его история любопытна, но это не значит, что жить в нем занятно, в особенности суровой зимой. И я мечтал вернуться в Москву; об этом хлопотали мои друзья. Гражданская война кончилась, может быть, наладится какая-нибудь терпимая жизнь. Мои бывшие спутники, члены нашего комитета, тоже хотят избавиться от ссылки, а пока, вероятно, гонят смолу и готовятся сплавать лес на Волгу по весне; они мечтали уплыть на плотах из своей ссыльной дыры, – люди бодрые, здоровые, способные строить новую Россию. Ничего о них не знаю, мне не удалось больше с ними встретиться: но они, конечно, в России, а не в глухом французском местечке.

Весной мне разрешили вернуться в Москву «для лечения»; это было тем приятнее, что я был здоров. Немногие казанские друзья устроили мне проводы и какими-то путями выхлопотали проезд в удобном «служебном» вагоне; преимущество огромное, так как несколько страшит от сыпного тифа – грозы путешественников. Вагон довольно опрятен, у меня отдельное купе, другие купе на затворе, и только еще в одном едут чины военной охраны. Выйдя на остановке на перрон, слышу за спиной шепот: «Ихний комиссар!» Возможно, что и стража считает меня тайно подсаженным для контроля важным чином – сейчас ведь не разберешься, почему едет человек в вагоне финансового ведомства;

смотрят почтительно, уступают дорогу. И только в Москве я узнал, что ехал в вагоне, нагруженном отобранными в церквях ценностями.

Московский вокзал. Какие-то заградительные отряды, заставы, проверка багажа. У меня ничего нет, кроме худого чемоданчика. На площади ни одного извозчика. Приятно прогуляться пешком через всю Москву по знакомым улицам. Был я преступником, мне угрожала смерть. Теперь как будто свободен. Немало прелести в революционной нелепости. Любопытно, что у меня нет никаких бумаг и кто я – неизвестно: но квартира осталась, и в ней мои книги, собранные так любовно. На углах улиц бывшие люди и мальчишки продают что-то вроде белых булочек. В воздухе – «новая экономическая политика». По пути встречаются магазины с тщательно протертыми тряпкой стеклами и с подобием витрины; частные магазины! Но люди еще остаются «сумчатыми»: с мешками за спиной, иные толкают впереди себя детскую коляску, очевидно для перевозки продуктов питания. Улица, на которой я живу, переименована. Звонки не действуют – стучу. Я дома.

Я пробыл в казанской ссылке всего полгода и не считаю это время в жизни потерянным; везде есть люди, и хорошие люди, всюду – общения, о которых остается благодарная память. Комната с самодельной мебелью, поленница березовых дров в передней, сносное питание (я получал обильный «кооперативный» паек на своей службе), своя кулинария, великолепные казанские морозы, литературные беседы в малой университетской аудитории, новогодние пельмени в кругу актеров местного театра, мирные вечера в семье соседа по квартире, ласка моих молодых литературных друзей, сотрудников по газете и по устройству в Казани книжной лавки, – мне решительно не на что жаловаться. Но оказаться в роли и в положении «врага революции» и политического ссыльного – мне, со студенческих лет включавшему эту революцию в программу своей жизни, со всеми последствиями, это, конечно, не могло пройти бесследно. Я еще не ясно понимал то, что твердо знаю сейчас, когда тем же словом «революция», которое для нас было не только священным, но и исполненным определенного содержания, синонимом политической свободы, стали прикрывать наихудший деспотизм и величайшее насилие над личностью человека. Какой диктатор не использовал этого краденого слова? Какие гражданские цепи не выкованы из понятия

«свободы»? Мы были последним поколением чистых и цельных иллюзий, могиканами наивных верований. И это наша вина: нужно было внимательнее вглядываться вглубь истории.

Эта краткая исповедь не ради политических высказываний. Ею я хотел бы только пояснить, почему те дни стали для меня, как для многих, как бы пограничными в духовном состоянии: днями не полной утраты – далеко нет! – а кризиса прежних верований, неумолимых к ним реальных поправок. Но это не значит – духовной прострации! Мы оставались живыми людьми.

Несмотря ни на что, наша духовная жизнь была чрезвычайно богата, – или мне это кажется сейчас, по контрасту с копотью прозябанья в заграничном русском рассеянии, по еще пущему контрасту с сегодняшним днем сидения в глухом французском местечке, в трагическом духовном одиночестве, в однообразии мелькающих дней. Нет, в те дни мы все-таки пили из полных чаш настоящее вино жизни. В нищете, в растерянности быта, в неуверенности дня и ночи, в буче важного, ничтожного, грозного, смешного, в грохоте разрушений и фантастических планах созиданий мы боролись за будущее, в которое, может быть, по инерции продолжали верить. Во всяком случае, мы жили необычайной, неповторяющейся жизнью – дух никогда не угасал. Не думаю, чтобы кто-нибудь из нас тогда мечтал променять эту жизнь на затхлость буржуазного покоя, на кофей с булочками, воскресный отдых, умеренные идеалы и их постепенное достижение. Вечно предстоя пропасти, мы все-таки жили в стране и в эпоху необычайных возможностей. Пляска смерти на богатейшей, плодоносящей почве, великолепные грозы, разливы великих рек, неожиданности пробуждений, – этого не выразишь ни словами, ни образами, это нужно было пережить в редком сознании каждым себя – страной и народом. Мне, европейцу, Европа вспоминалась безвкусным блюдом зеленого горошка под кисло-сладким соусом, старушкой в чепчике, чиновником на покое. Расширенными зрачками мы смотрели на нашу Россию, настороженным ухом ловили музыку будущего в дикой какофонии рычания, плача и восторженности. Именно тогда произошло первое отравление русских Россией, приведшее позже к изумительной слепоте, к убеждению в миссионерстве, к принятию учения о непогрешимости всех российских начинаний, от социального строительства до московской подземной дороги. Здоровое и радостное чувство,

позже вытянутое хлыстом и ставшее официальным, претворилось в изуверство и самодовольство. Но если свобода стала политической карикатурой, с «отцом народов», заменившим «царя-батюшку», то виноват ли в этом сам народ, впервые научившийся читать по складам брошенную ему книжицу с картинками и сразу почувствовавший себя студентом? Раньше делившаяся неравно на кучку высококультурных и миллионы безграмотных, Россия стала вся поголовно полуграмотной в изумительном поравнении сверху донизу – от властей до рабов, от писателя до писаря, от «рабочего у станка» до «служителя искусства».

Я пишу о переживаниях кругов избранных, об умственных верхах, но то же и большее испытывали слои, с ними соприкасавшиеся или раньше им чуждые: среда рабочая, обласканная обещаниями, среда крестьянская, впервые окрещенная в гражданство. О необычайном, широчайшем пробуждении сознания в этих слоях свидетельствует быстро развившийся в России спрос на книгу, при первой возможности показавшую миллионные тиражи, тяга к знанию, заполнившая школы и университеты, появление новой интеллигенции, еще малосознательной, но почвенной, с мозгом, взвихренным внезапностью пробуждения, с упрощенными методами мышления, с особым, ломаным, полународным, полукнижным языком, которым и до сих пор говорит Россия в быту и в покалеченной литературе. При огромных пространствах России это пробуждение и сейчас не завершено и не вошло в прочное русло. Издали оно нам кажется искусственным и как бы простецким, повторяющим на лету схваченные и заученные фразы, – в чем много правды, – но не может быть сомнения в огромности его значения. Им пытались и пытаются руководить сверху, завивая недоразвитые мозги марксистским штопором, сводя сознание к готовым формулам, иногда не без успеха, – но это не страшно при наших масштабах, это смывается в огромных потоках. Безгранична разница между европейским рабочим, удовлетворенным пропагандистской брошюрой и по ней строящим свое политическое сознание, и русским трудящимся человеком, жадным до знаний положительных, которые для него не приправа к быту, а откровение и горизонты которого настолько же обширнее, насколько сама Россия шире, моложе, свежее, сочнее и богаче своей престарелой соседки.

Охотно отдаю страницы воспоминаниям о моей России, какой я ее знал, какой ценил и как воспринимал. Но это уже последние о ней страницы; сейчас они оборвутся для меня, и жизнь не в первый раз швырнет меня за борт. Хочу, чтобы в памяти осталось как можно больше лучшего, что в России есть: зеленого шума и речных струй, земных испарений, мирного произрастания, неоглядных далей. Я пользуюсь ранним летом и бегу в деревню на берег Москвы-реки, речки-невелички, но извилистой и светлой, к соснам и лиственным рощам, к коврам озимых хлебов, к концерту июньских жуков, лягушек, мошкары и дрожащих листьев.

Уехать из Москвы в деревню Барвиху не так просто. На вокзал идти пешком, потому что извозчики разъехались по деревням на сельские работы; денег им не нужно, а не голодать можно только близ земли. Поезда существуют, но нет для них точного расписания. Добравшись до маленькой станции, шагай опять пешком два-три часа через поля, краткой дорогой через овраги, болотцем по кочкам, лесом по корням деревьев случайной тропой. То солнце, то лесная полутьма, то дух медвяный, то хвойный. Изба в деревне снята раньше, мы делим ее пополам с семьей моего друга философа⁶⁸, культурнейшего и превосходного человека, глубокого, терпимого, с судьбой которого и дальше совпадет моя судьба, лишь с той разницей, что он проживет двадцать лет в Кламаре, я – в Париже. В деревне я немедленно дичаю – в одежде, в повадках, в распределении времени: ранней зарей на речке, сплю, когда сморит усталость, пишу урывками, поймав мысль на лету, увлекшись образом. Он – как бы на подлинной даче, жизнь – правильным здоровым темпом, сам в светлом костюме, даже в галстукке легкого батиста, днем за работой, под вечер в приятных и полезных прогулках за ягодой, за еловыми шишками для растопки самовара; для шишек берет с собой легкий чемоданчик. Наслаждаясь природой, он разумно мыслит, – я попросту пьян лесом, рекой, полями. Будто бы я пишу свой роман, но роман сам пишется в голове, а я больше валяюсь на траве, слушая стрекот кузнечиков, обедаюсь земляникой, брусникой, костяникой, сладко тупея от лодки и рыбной ловли, и вижу во сне речную рябь и ныряющий поплавок. Гуляет ветерок по волнам ржей, в лесу шорохи зверушек, в зелень ныряет беличий хвост, заяц удирает, прижав уши, с шумом

⁶⁸ Николай Александрович Бердяев (1874–1948) – выдающийся русский философ, публицист.

вспархивают птицы. Здесь заповедный лес, не рубленный три века, стоявший еще в дни царя Алексея Михайловича. Кто помнит, как заповедовали рубку в русских лесах? Входили в них торжественно, с крестами и хоругвями, со священником во главе причта, служили заповедный молебен и пели «Слава в вышних Богу и на земле мир». В заповедном лесу по воле живут и умирают деревья, нет ни дорог, ни просек, валежник не убирается, невозможно пробраться человеку и тем привольнее зверью. А попробуешь продраться вглубь – путь пересечет ствол павшей сосны, толщиной много выше человеческого роста, настоящая стена, хотя от ствола осталась одна кора. Все в зарослях и лианах, не колючих, как в южных лесах, но с мягкой настойчивостью запрещающих дорогу.

Мое последнее русское лето... Оно связано в воспоминаниях со многим личным, что дорого и важно только для меня, – при мне и останется. И вся Россия останется для меня в образе деревни со светлой рекой и заповедным лесом – в самом лучшем ее образе.

В Москву не тянуло – был за все лето два раза. Однажды туда собрался мой сожитель – и в срок не вернулся. Один из дачников, приехавший из города, рассказал, что там аресты среди писателей и ученых, почему – никто не знает, и понять трудно. Значит – нужно готовиться. Ночью сюда не приедут, можно спать покойно, с утра уйду с удочками на речку. Условлено, что в случае тревоги мальчик махнет мне платком с холма. Хорошо клевала на хлеб плотичка, на червячка попадался окунек. С холма махнули платком, и в то же время к перевозу подъехал по бездорожью автомобиль – явление в этих краях почти невиданное. За речкой местный «совет депутатов», куда, очевидно, за справкой отправились на пароме приехавшие, оставив машину на нашем берегу. Все просто и понятно, и чекистская форма горожанам знакома. Один из приехавших остался с шофером в машине, но у меня нет выбора – по берегу одна тропа к лесу – мимо машины. Иду тихо и спокойно, загорелый, заплатанный рыбак, смотрю на военных людей с любопытством. Дальше – в прибрежные кусты, где прощаюсь с удочками; рыбу выпустил на волю раньше – такое ее счастье. Взобравшись на береговую кручу, сразу углубляюсь в лесную опушку, мимо которой лежит единственная на Москву проезжая дорога. В пяти километрах есть деревушка избы в три-четыре, где один домик снят моими знакомыми. Правда, там же, рядом, в бывшем большом барском именье, летом живут общежительно

семьи народных комиссаров – Троцкого, Каменева, Дзержинского, главного палача, и имение окружено высокой кирпичной оградой – дачное гнездо предержавших властей. Но это хорошо, в таком месте искать не будут. Добравшись до деревушки, сажусь под домашний арест, чтобы выждать, какие вести придут из Москвы. Все-таки трудно сидеть в избе безвыходно в чудесную осеннюю погоду, а в лесу, как нарочно, появились белые грибы – целые заросли, собирай хоть бельевыми корзинами. Выползаю с оглядкой на занятный спорт. На третий день узнаю, что часть арестованных еще в тюрьме, а часть выпущена на волю с предписанием готовиться к высылке за границу. Ни причин, ни обвинений; взяты люди, от политики далекие, «религиозные философы», ректор университета, профессор-финансист, профессор-астроном, инженер, агроном, несколько писателей, литературный критик – никакой между ними видимой связи, случайный любительский отбор. Взят, конечно, и мой сожитель, но уже выпущен на свободу; он – московский профессор, из русских философов виднейший. Есть ли смысл скрываться дольше и до каких пор? В деревне, у нашей дачи, поставили стражу из местных парней, внушив им, что я – опасный преступник. Но парням ждать скучно, да и руки их нужны в хозяйстве. Зайдут, спросят, не вернулся ли, и уходят в поле.

Москва велика – приют найдется. Простившись с добрыми друзьями, покидаю свое убежище и иду на соседнюю с нашей станцию ждать поезда в Москву. Моим приютом будет в Москве частная хирургическая лечебница, где для меня уже готова койка в отдельной комнате и милый прием у владельца лечебницы, старого знакомого. Денек отдыха, на другой день беру телефонную трубку; я уже знаю фамилию следователя, которому поручено наше дело; не знаю только, что это за «дело».

– Алло, я такой-то, вы меня ищете?

– Да. Откуда вы говорите?

– Это безразлично, я могу к вам явиться. Но скажите, вы меня задержите?

– Я не обязан отвечать на такие вопросы.

– Но я хочу знать, брать ли мне подушку и перемену белья?

Молчание. Затем голос отвечает:

– Можете не брать.

– Тогда я явлюсь через час.

Идти и самому сдаться неприятелю – как будто малодушно. Но долго скрываться невозможно и слишком хлопотно, не столько для меня, сколько для тех, кто дает приют. И бессмысленно: мне нечего делать в подпольях, моя жизнь всегда была на виду. Быть высланным за границу, так недолго пожив на родине, хотя и успев вкусить ее пьяно и обильно, – совсем не улыбалось. Почему и за что? Но таких вопросов в то время не ставили. По ходячему анекдоту, в многочисленных анкетах, на которые приходилось отвечать гражданам нового свободнейшего строя, была графа: «Подвергались ли вы аресту, и если нет, то почему». Все же Европа – лучшая тюрьма, чем подвалы Лубянки, Корабль смерти и прочее.

Поверив следователю, я не взял с собой ни подушки, ни белья, только добрый запас папирос, и отправился в страшный дом, мне уже достаточно знакомый, где прошлой осенью едва не кончил свои дни в зацветшей плесенью камере. Идти в тюрьму невесело – даже добровольно. Развеселить мог только новый анекдот. И вот оказалось, что даже на пути в тюрьму ждут гражданина препятствия. Помещение Чека, недавно переименованного в Гепеу (признак государственной устойчивости), тщательно охранялось, и смертному проникнуть туда было непросто. Первого часового я убедил соображением, что вызван по телефону, почему и не имею впускной бумаги, – ведь не доброй же волей приходят в тюрьму. Часовой смилостивился. В конторе, где у каждого оконца стояла толпа, я громко и настойчиво потребовал выслушать меня вне очереди ввиду срочности заявления; я мог возвышать голос – опасаться было нечего; и при общей робости громкий голос действует. «По какому делу?» – «По делу о моем аресте». – «Но вы не арестованы». – «Я для этого пришел». – «Нельзя, гражданин, без приказа». – «Что же мне делать?» – «Это нас не касается, уходите домой». Чистая идиллия! Пришлось опять убеждать другого часового у двери, ведшей внутрь тюрьмы, где были и комнаты следователей. Долго объяснял ему, что нельзя из тюрьмы выпускать, а туда отчего же не пустить, ведь назад свободно не выйдешь; пригрозил, что буду жаловаться. Пропустил и этот. Путался по бесконечным коридорам, пока на одной из дверей не нашел плакат с нужной фамилией. Следователь любезен: «Прежде всего подпишите бумажку». В бумажке сказано, что мне объявлено о моем аресте. «О каком аресте? Я не взял с собой подушки». Успокоительно говорит: «Вы только подпишите, я уж приготовил и

другую». На другой значилось, что объявлено мне об освобождении, с обязательством покинуть в недельный срок пределы РСФСР. Любят новые чиновники бумажное производство. «И еще вот третью бумагу». На третьей значится, что в случае невыезда или бегства с пути подлежу высшей мере наказания, то есть расстрелу. Только улыбаюсь: «Предоставьте мне аэроплан, улечу хоть сегодня. Можно идти?» – «Еще заполните анкету». И действительно, как же можно без анкеты в канцелярском деле. Первый вопрос: «Как вы относитесь к Советской власти?» Вопрос ехидный – как могу я относиться к власти, находясь в тюрьме и готовясь быть высланным? И я пишу: «С удивлением». Следователь морщится, но говорит: «Пишите что хотите, все равно уедете». – «Теперь все?» – «Вот только подпишу вам бумажку на выпуск отсюда». Возвращаюсь теми же коридорами, солдат отбирает бумажку и натывает на штык. Дух канцелярский сменяется пылью летней московской улицы.

Значит – вот чем стала революция. Бури выродились в привычный полицейский быт. Ну что же, тем легче будет уехать из России. Вчера это казалось мне огромным несчастьем, сегодня не нахожу в душе ни протеста, ни особого сожаления.

Мы обязались немедленно оставить пределы РСФСР (тогда еще не было букв СССР). Путь указан: Москва – Петербург (еще не ставший Ленинградом), оттуда пароходом в Германию. Легко сказать – мудрено выполнить. Германия тогдашняя Германия! – обиделась: она не страна для ссылок. Она готова нас принять, если мы сами об этом попросим, но по приказу политической полиции визы не даст. Жест благородный – мы его ценим, но пускай и нас попросят. И нас убедительно и трогательно просят: «Хлопочите в посольстве о визах, иначе будете бессрочно посажены в тюрьму». Мы сговорчивы, мы хлопочем. Буду справедлив к сегодняшним врагам – они были к нам очень любезны: и визы, и даже обеспечение приема в Берлине, где о нас позаботится такой-то комитет, встретит на вокзале, подыщет временное для всех помещение. Переговоры задерживают нас в Москве на месяц с лишком. Мы стали «организацией ссыльных», мы собираемся, мы совещаемся, имеем своих представителей, обсуждаем свои дела. Хлопочем об иностранной валюте, об отдельных вагонах до Петербурга, о каютах на пароходе; с семьями нас семьдесят человек. Пока – мы самые свободные граждане республики: терять

нам нечего, бояться тоже, и уста наши не замкнуты. Нами интересуется иностранная печать, и Лев Троцкий, идеолог нашей высылки, дает журналистам интервью: «Высылаем из милости, чтобы не расстреливать». Не чувствует ли Троцкий, что и сам будет выслан из милости? Нам многие завидуют: как хотели бы они поменяться с нами участью. Некоторым образом мы – герои дня. Почему именно на нас, таких-то, пало избрание, мы никогда не могли узнать: включены в списки отдельные лица, почти никакой связи между собой не имевшие. Ссылка некоторых поражала: никто не слышал раньше об их общественной роли, она ни в чем не проявлялась, и имена их известны не были. Троцкому принадлежала идея, но выполнял ее менее умный человек. Или менее злой. Мы знали, что готовятся и еще списки петербуржцев; но там взялись за дело вяло.

Лично я удивлен не был. Мы с моим дачным сожителем, профессором Н. Бердяевым, возглавляли в то время Президиум Всероссийского союза писателей, слишком дорожившего своей независимостью от партийных влияний. Нужно было напугать союз – и он напугался. Накануне нашего отъезда из Москвы я в последний раз председательствовал на заседании правления союза – хотелось проститься с товарищами, мы так хорошо и так дружно работали. Я был одним из организаторов союза, писал его устав, перед отъездом передал союзу последний дар нашей лавки писателей – ценнейшую коллекцию библиографических, очень редких изданий и набор изданий рукописных уникалы переходных революционных лет. С нашим отъездом лавка ликвидировалась, но нас заботила судьба союза. Идя на это последнее заседание, я заранее заготовил самую краткую и самую сдержанную речь в ответ на прощальное приветствие, которого, естественно, ожидал. Ни приветствия, ни речи я не внесу в протокол, чтобы не повредить союзу. Были на очереди небольшие, обычные вопросы организации, и мы их исчерпали в какой-нибудь час времени. Не было никаких споров, члены правления пятнадцать человек – были сдержанны и несловоохотливы. Сейчас я объявлю повестку заседания исчерпанной, и тогда кто-нибудь попросит слова, на которое мне придется отвечать. Только бы его выступление не было резким и мне не пришлось бы просить воздерживаться от всякой политики. Повестка исчерпана. Двое-трое быстро встают и выходят – самые осторожные. Минута замешательства – никто не

просит слова. И внезапно я догадываюсь, что никто его и не попросит, что союз уже достаточно напуган, что он уже не тот и будущее его predetermined. Я встаю – и все встают с облегчением. В передней молчаливо обмениваемся рукопожатиями, и я задерживаюсь, чтобы никого не вынудить идти по улице вместе с высылаемым преступником. Как я был наивен со своей заготовленной ответной речью.

Дома – прощальный прием, скромный прощальный ужин, и часть тех же людей, не нашедших слова в заседании, здесь не стесняются ни в чувствах, ни в их выражении. Я это ценю – но еще никогда мне не было так грустно и так смутно на душе. Нужно очень долго жить, чтобы не удивляться и не ошибаться в оценках. В сущности, ничего не случилось, люди милы, отзывчивы, нельзя сомневаться в их искренности и их дружбе. Я не сомневаюсь даже в их памяти – ну, хоть на несколько лет; мы жили в таком тесном общении, в такой охотной взаимопомощи. Но я сомневаюсь в том, что все они сохраняют свои лица, не отрекутся от того, что казалось нам священным, – от независимости мыслей и суждений, от смелости их высказывания. Нелегко уезжать, увозя с собой яд сомнений. А может быть, я слишком требователен? Мы уезжаем завтра – кто придет проводить наш поезд? Вокзал – не частная квартира.

Здесь я опускаю железный занавес.

Железным занавесом отрезана Россия, земля родная, страна отцов. Отрезана на двадцать лет – я кончаю эти воспоминания в юбилейный год разлуки. Я уехал молодым, с чувством уверенности, что не вернусь; эта уверенность с годами укрепилась.

Россия – шестая часть света; остается еще пять шестых. К сожалению, не всякое растение легко выдерживает пересадку и прививается в чуждом климате и на чужой земле. Я почувствовал себя дома на берегах Камы и Волги, в Москве, в поездках по нашей огромной стране, на местах работы, в ссылках, даже в тюрьмах; вне России никогда не ощущал себя «дома», как бы ни свыкался со страной, с народом, с языком. Это не патриотическая чувствительность, а природная неспособность к акклиматизации. И кстати сказать, неохота; может быть, впрочем, и гордость. Почти все мои книги написаны в эмиграции и в заграничной ссылке; в России писать было «некогда»; но жизненный материал для этих книг давала только русская жизнь – и он казался мне

неистощимым. Полжизни прожив за границей, я в своих воспоминаниях не вижу надобности говорить об этой напрасной половине; она слишком лична; и потому я обрываю свои записки на невеселой минуте расставанья с Москвой, моим последним «домом». Дальше будут иные оседлости, иные катастрофы и блужданья, – и вот я на берегу французской реки, имени которой прежде не слышал. Но теперь уже совершенно безразлично, где жить и к чему еще готовиться: книга закончена, не стоит затягивать послесловие.

Во всех местах недолгой оседлости: в Москве, в Гельсингфорсе, в Риме, снова в Москве, в Берлине, в Париже – любовь к вороху бумаг накапливала архивы: житейские документы, записи встреч, дневники, тысячи писем. Часть исчезала при «катастрофах», часть сохранялась и снова разрасталась. Из Москвы нам не было разрешено вывезти ни одной писаной бумажки и ни одной книги: все, мною собранное, пропало. Но опять накопились «сокровища» в жизни заграничной – для новой очередной гибели.

В обществе этих постепенно желтевших бумаг и в обществе книг, которыми я всегда себя окружал, я жил, как в маленькой крепости, защищавшей от слишком сегодняшнего и, во всяком случае, чужого. Крепость пала, как пали многие другие крепости, казавшиеся достаточной защитой. Случалось так и прежде, но хватало жизненных сил, чтобы упрямо отстраивать заново свое убежище. Может быть, нашлись бы они и теперь, эти силы; но случилось худшее – исчезло всякое желание.

И вот, подобрав обрывки прошлого, оставшиеся не на бумагах, не в документах эпохи, не в письмах, а в памяти, я их сплетаю в книгу, чтобы уж нечего было больше хранить и беречь.

Книга о детстве, юности, молодых годах. Старость не нуждается в книге – ей довольно эпитафии.

Шабри, 1942 г.

Приложение

Родственники М.А. Осоргина (Ильина) в Уфе

Известный писатель русского зарубежья Михаил Андреевич Осоргин (Ильин) много страниц своих произведений посвятил прекрасному городу Уфе, откуда родом были его предки по отцовской и материнской линии.

Дедушкой М.А. Осоргина по отцовской линии был **Федор Александрович Ильин** (1797–1847), бабушкой – **Надежда Львовна Ильина (урожденная Племянникова)**. Уфимские Ильины принадлежали к древнему российскому дворянскому роду. В 1836 г. Федор Александрович Ильин в чине титулярного советника служил в Уфе советником хозяйственного отделения Оренбургской казенной палаты¹. У Ильиных Федора Александровича и Надежды Львовны, урожденной Племянниковой, было 7 детей: Елизавета (1835–1878), Андрей (1836–1893), Владимир, Людмила (1843–?), Николай (1844–?), Клавдия (1845–1846), Александра (1847–?)².

Отец М.А. Осоргина **Андрей Фёдорович Ильин** (1836–1893) начал свою деятельность в Уфе в качестве мирового посредника I-го призыва в период Крестьянской реформы 1861 г., позже судебным следователем³.

21 мая 1865 года состоялось бракосочетание 29-летнего титулярного советника Андрея Федоровича Ильина и 19-летней девицы Елены Александровны Савиной, предки которой жили в Уфе с 1622 года. Венчание происходило в Градо-Уфимской Успенской церкви. В Уфе у Ильиных родились старшие дети:

¹ Адрес-календарь Оренбургского Отдельного Корпуса, Оренбургской Губернии и Управления Оренбургского края по части Пограничной с присовокуплением Кратких Статистических сведений. Оренбург, 1836. С. 91.

² См. подробно об Ильиных: Свице Я.С. «Я тебя люблю, земля, меня родившая...» (новые материалы по уфимской родословной Михаила Осоргина // Вестник БГПУ им. М. Акмуллы. 2011. № 3. С. 64–83; Новые материалы по уфимской родословной писателя Михаила Осоргина // Река времени. 2012: Мир Южноуральской усадьбы. Уфа. УНЦ РАН, 2012. С. 136–152; Осоргинские места г. Уфы // Дворянский род Осоргиных в истории и культуре России : материалы Всероссийской научной конференции, приуроченной к 135-летию со дня рождения писателя и публициста М. А. Осоргина. Уфа, 13 декабря 2013 г. Уфа: ИПК БГПУ, 2014. С. 101–124; Свице Я.С., Тарасенко О.С., Федоров П.И. Литературно-краеведческая экскурсия «Осоргинские места города Уфы» // Музей и проблемы «культурного туризма»: материалы XIII круглого стола 9–10 апреля 2015 года, г. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, 2015. С. 178–183.

³ Осоргин М.А. Мемуарная проза / сост., предисл. и примеч. О.Г. Ласунского. Пермь: Книжное издательство, 1992. С. 50.

Сергей, Ольга, Вера. В 1873 г. году семья переехала в Пермь. По приезде в город в 1873 г. А.Ф. Ильин работал судебным следователем, а затее членом окружного суда по уголовным делам. В 1874 г. он уже имел чин коллежского советника. В табели о рангах – это 6-ой по счету гражданский чин⁴. В Перми у Ильиных родились дочь Нина, сыновья Иван и Михаил – будущий писатель Михаил Андреевич Осоргин. В настоящее время известно о правнучке Ольги Андреевны Ильиной (в замужестве Розевиг) Наталье Даниловне Розевиг, которая живет в Москве⁵.

Своим псевдонимом Михаил Андреевич избрал фамилию Осоргин, подчеркивая тем самым родство со своими предками по линии отца. Осоргины также были древним российским дворянским родом.

Подпоручик **Фёдор Васильевич Осоргин**, прапрадед М.А. Осоргина, основал деревню Осоргино под Уфой. Позже он разделил землю между детьми: надел достался дочери **Акулине**, которая вышла замуж за кадета Оренбургского драгунского полка Льва Андреевича Племянников, предки которого также были дворянами; дочери **Анне**, мужем которой стал Михаил Николаевич Гаславский (1711–...); дочери **Надежде** в замужестве Лукьяновой; сыну **Савве** (1772–...); дочери **Александре**, которая вышла замуж за подпоручика Василия Борисовича Нагаткина (1782–1854), уфимского уездного предводителя дворянства (1832–1834). Исследователи отмечают, что «в 1850 году в Уфе были написаны портреты супругов Нагаткиных, они сохранились и ныне находятся в Самарском художественном музее»⁶.

Акулина Фёдоровна Осоргина (в замужестве Племянникова) была той самой, о которой М.А. Осоргин писал, вспоминая, что он «вел под ручку к столу крошечную, сгорбленную старостью <...> родную бабушку⁷, родом Осоргину»⁸. Своё имя

⁴ Чуракова Т.П. Семья Ильиных в Перми // Михаил Осоргин: художник и журналист: материалы Лаборатории городской культуры и СМИ Перм. ун-та. Пермь, 2006. Вып. 3. С. 125–131.

⁵ Чуракова Т. П. Семья Ильиных в Перми // Михаил Осоргин: художник и журналист: Материалы Лаборатории городской культуры и СМИ Перм. ун-та. Пермь, 2006. Вып. 3. С. 129.

⁶ Роднов М.И. Исторические картинки. Литературное Осоргино [Электронный ресурс] // Уфимский журнал. Режим доступа: <http://journalufa.com/22605-istoricheskie-kartinki-literaturnoe-osorgino.html> (дата обращения 01.09.2018)

⁷ Прим. автора статьи: прабабушку.

⁸ Осоргин М.А. Времена. Пермь, 2008. С. 23.

Племянниковы Лев Андреевич и Акулина Фёдоровна (Осоргина) поделили также между детьми: **Надеждой** (1797–1847), ставшей женой Фёдору Александровичу Ильину (1797–1847); **Елизаветой** в замужестве Горельской. Позднее имение Ильиных перешло сыну Андрею Фёдоровичу Ильину – отцу писателя М.А. Осоргина. От надела А.Ф. Ильин «отказался в пользу сестер и старой матери»⁹.

После 1917 года многие Племянниковы вынужденно оказались за границей. Оказался на чужбине и Игорь Николаевич Племянников, сыном которого и актрисы Марии-Антуанетты Ардилуз был знаменитый французский режиссер Роже Вадим (Роже-Владимир Игоревич Племянников). Таким образом, Роже Вадим (1928–2000), открывший мировому кинематографу таких звезд, как Брижит Бардо, Жан-Луи Трентиньян, Катрин Денёв и Джейн Фонда, – был дальним родственником Михаила Осоргина¹⁰.

Гаславские Михаил Николаевич и Анна Фёдоровна (Осоргина) также разделили землю между детьми: дочерьми **Александрой**, ставшей женой Александру Осиповичу Дебу (1804–1862), и **Марией** – супругой Александра Егоровича Лентовского (1798–1867). В 1854 г. статская советница Мария Михайловна Гаславская (в замужестве Лентовская) продала имение поручику Ивану Львовичу Чертову¹¹.

Нагаткины Василий Борисович и Александра Фёдоровна (Осоргина) определили надел сыновьям **Дмитрию**, женатому на Александре Григорьевне Резанцевой, **Андрею**, супругой которого стала Александра Владимировна, дочери **Клавдии** (...–1870),

⁹ Гудкова З.И. Загадка псевдонима // Бельские просторы. 2003. № 9. С. 171–176; то же: Режим доступа: http://www.hrono.ru/text/2003/gud09_03.html (дата обращения: 01.01.2018)

¹⁰ См. подробно: Сатаева Л.В. «Чаепитие» на Телеграфной улице, год 1916-й: к 135-летию со дня рождения писателя русского зарубежья М.А. Ильина-Осоргина // Дворянский род Осоргиных в истории и культуре России: материалы Всерос. науч. конф., приуроченной к 135-летию со дня рождения писателя и публициста М. А. Осоргина. Уфа, 13 декабря 2013 г. Уфа: ИПК БГПУ, 2014. С. 12–16; Свице Я.С. Племянниковы (материалы к родословной Михаила Осоргина) // Дворянский род Осоргиных в истории и культуре России : материалы Всерос. науч. конф., приуроченной к 135-летию со дня рождения писателя и публициста М. А. Осоргина. Уфа, 13 декабря 2013 г. Уфа: ИПК БГПУ, 2014. С. 16–22.

¹¹ Свице Я.С. Новые материалы по уфимской родословной писателя Михаила Осоргина // Река времени. 2012: Мир Южноуральской усадьбы. Уфа. УНЦ РАН, 2012. – С. 136–152; то же: Режим доступа: <http://mrodnov.ru/fr/0/public/Reka%20vremeny-12.doc> (дата обращения 01.01.2018).

которая вышла замуж за Георгия Матвеевича Филипповича (...– 1874).

В списке населенных мест Уфимской губернии указано, что в 1870 г. на территории Уфимского уезда располагалось несколько населённых пунктов, носивших название Осоргино: деревня Ново-Осоргино (Лентовка, Чертовка) при речке Кантоновке, в которой находился хлебный магазин; сельцо Филипповеческое (Осоргино) при речке Берсияне; сельцо Осоргино (Нагаткино) при речке Берсюване, где занимались разведением кур, а также мололи муку на водяной мельнице; сельцо Осоргино (Горельское, Нагаткино) при речке Берсияне, в нём располагалось волостное правление; сельцо Ильинское (Осоргино) при речке Берсияне; сельцо Дебовка (Осоргино) при речке Берсияне, тут находился хлебный магазин, жители занимались пчеловодством¹².

Современная деревня Осоргино входит в состав Уфимского района, относится к Таптыковскому сельсовету, расположена на месте сельца Осоргино (Горельское, Нагаткино) при речке Берсияне с числом жителей 238 по переписи населения 2010 года¹³. В настоящее время окрестности д. Осоргино активно застраиваются современными домами. Сохранилась также и д. Дебовка, расположенная неподалеку от д. Осоргино, с числом жителей 49¹⁴.

Уфа для Осоргина тесно связана и с именем Сергея Тимофеевича Аксакова, с которым находился в тройном родстве через Нагаткиных и Резанцевых. Кроме того, отец писателя Андрей Фёдорович Ильин, сын С.Т. Аксакова Григорий Сергеевич Аксаков, а также Григорий Петрович Резанцев, Андрей Васильевич Нагаткин находились на службе в Уфимской губернии и

¹² Уфимская губерния: список населенных мест по сведениям 1870 г. Санкт-Петербург, 1877. С. 6; то же: Режим доступа:

<http://elib.shpl.ru/nodes/17511#mode/inspect/page/156/zoom/4> (дата обращения: 01.01.2018).

¹³ Административно-территориальное устройство Республики Башкортостан: справочник. Уфа: Китап, 2017. С. 322; то же: Режим доступа:

https://www.bashkortostan.ru/thesaurus/files/1.0122.17_ATU_Itoq.pdf (дата обращения 01.01.2018).

¹⁴ Административно-территориальное устройство Республики Башкортостан: справочник. Уфа : Китап, 2017. – С. 322; то же: Режим доступа:

https://www.bashkortostan.ru/thesaurus/files/1.0122.17_ATU_Itoq.pdf (дата обращения 01.01.2018).

занимались подготовкой крестьянской реформы в 60-х годах XIX века¹⁵.

В доме Нагаткиных в первый приезд в Уфу состоялась встреча М.А. Осоргина со своими родственниками. Исследователи предположили, что «стариками Нагаткиными, которые гладили по голове Мишу Ильина, были потомки тех самых» – Дмитрий Васильевич Нагаткин и его сестра, Мария Васильевна Нагаткина»¹⁶.

Своим любимым кузинам Резанцевым Марии, Людмиле, Евгении, с которыми встречался ещё юным в 1887 (предположительно) и 1893 годах, М.А. Осоргин посвятил лучшие строки произведений. В одну из них – Манечку (Марию) – был горячо влюблён в детстве. Однако, повзрослев, М.А. Осоргин, будучи по натуре своей человеком независимым, не отрицал родства, но не захотел принять помощи от новых родственников, занимавших ключевые правительственные посты в советском государстве, А.Д. Цюрупы и А.С. Свидерского, женатых на сёстрах Резанцевых. В последний свой приезд в Уфу в 1916 году Михаил Андреевич Осоргин хлебосольно был встречен в доме кухни Марии Петровны (Резанцевой) её супругом Александром Дмитриевичем Цюрупой и познакомился с племянниками Дмитрием, Валентиной и Всеволодом. М.П. Резанцева была в отъезде.

М.А. Осоргин с любовью пронёс через всю свою жизнь воспоминания о своей земле и предках, чтобы в своем творчестве воспеть и прославить родину – бескрайнюю и независимую Россию: «И эти строки случайных и беглых воспоминаний – только поклон той же далекой стороне: небу, воде, лесам, красной гвоздике и душистому майнику; людям, там жившим и живущим; духу вольности, который вернется, как все приходит, уходит и

¹⁵ Хакимов С.Х. Г.С. Аксаков и династия Ильиных-Осоргиных // Дворянский род Осоргиных в истории и культуре России : материалы Всерос. науч. конф., приуроченной к 135-летию со дня рождения писателя и публициста М.А. Осоргина. Уфа, 13 декабря 2013 г. Уфа: ИПК БГПУ, 2014. С. 41–50.

¹⁶ Титова О.А. «Старики Нагаткины» Михаила Осоргина // Дворянский род Осоргиных в истории и культуре России: материалы Всерос. науч. конф., приуроченной к 135-летию со дня рождения писателя и публициста М.А. Осоргина. Уфа, 13 декабря 2013 г. Уфа: ИПК БГПУ, 2014. С. 34–40.

снова возвращается на этой земле. Теням предков и неслышному зову друзей»¹⁷.

Олеся Тарасенко

Город, которого нет (Осоргинские адреса в Уфе и её окрестностях)

*«Люди ушли, города выросли,
берега не переменились...»
Михаил Осоргин*

Писатель русского зарубежья Михаил Андреевич Ильин, писавший под литературным псевдонимом – Осоргин, родился 7 октября, (по новому стилю – 19 октября) 1878 года в Перми, но несколько поколений его предков жили в Уфе и Оренбургско-Уфимской губернии. Михаил Осоргин побывал в Уфе три раза. Первая поездка с отцом из Перми состоялась примерно в 1890 году; вторая, во время которой отец заболел и умер в Уфе, - в 1893. Впечатления от встречи с городом и уфимскими родными оказали огромное влияние на будущего писателя и, по его словам, стали главными событиями детства. Впоследствии он опишет эти поездки во многих своих произведениях: автобиографическом повествовании «Времена», рассказах «Земля», «Портрет матери», «Дневник отца», «Кузины» и других.

В Уфе Миша Ильин познакомился с бабушкой по отцу – Надеждой Львовной Ильиной (урожденной Племянниковой), семьей Нагаткиных, были встречи с другими уфимскими родственниками. Незабываемое впечатление произвели на мальчика рассказы бабушки о бывших имениях - о «своей земле». Вероятно, бабушка рассказывала внуку об огромном роде уфимских дворян Осоргиных-Племянниковых-Ильиных. Фамилию своего прапрадеда, отставного поручика Фёдора Васильевича Осоргина (ум. до 1811 года), Михаил Андреевич Ильин впоследствии возьмет в качестве своего литературного

¹⁷ Осоргин М.А. Времена // Осоргин М.А. Времена. Происшествия зеленого мира / сост., примеч., статья О.Ю. Авдеевой. Москва: НПК «Интелвак», 2005. С. 53.

псевдонима¹⁸. Третий раз писатель был в Уфе осенью 1916, во время поездки по Поволжью в качестве корреспондента «Русских ведомостей».

К сожалению, большинство уфимских домов, в которых жили Ильины и их близкие, не сохранились. Были уничтожены Успенская, Александровская церкви, прихожанами которых они являлись, уничтожено Старо-Ивановское кладбище, где был похоронен отец, а также многие другие ближайшие родственники Михаила Осоргина. Сохранились только некоторые фотографии и уголки, которые можно назвать Осоргинскими адресами нашего города.

Деревня Осоргино Уфимского района

После основания Уфимской крепости близлежащие земли стали раздаваться служилым людям, и впоследствии вокруг Уфы возникло множество помещичьих сёл и деревень. В настоящее время в пригородной зоне Уфы находится небольшая деревня Осоргино. В середине XVIII века ее основал подпоручик Фёдор Васильевич Осоргин (ум. до 1811 года). После его смерти часть имения вместе с крестьянами перешла к одной из дочерей - Акулине Фёдоровне, вышедшей замуж за бузулукского помещика Льва Андреевича Племянникова¹⁹. Затем часть земли досталась их дочери - Надежде Львовне, вышедшей замуж за Фёдора Александровича Ильина (1797-1847), происходившего из одного из самых старинных дворянского родов – потомков Рюрика. Это были дед и бабушка будущего писателя. В Оренбургской (после ее разделения в Уфимской и Самарской) губернии они были владельцами нескольких небольших имений, в том числе и недалеко от Ново-Аксаково Бугурусланского уезда, но основная их усадьба, по всей видимости, находилась под Уфой, в Осоргино. В

¹⁸ Свице Я.С. «Я тебя люблю, земля, меня родившая...»: (новые материалы по уфимской родословной М. Осоргина) // Вестн. Башк. гос. пед. ун-та им. М. Акмуллы. 2011. № 3/4 (26). С. 64-83.

¹⁹ Свице Я.С. Племянниковы: (материалы к родословной Михаила Осоргина) // Дворянский род Осоргиных в истории и культуре России : материалы Всероссийской научной конференции, приуроченной в 135-летию со дня рождения писателя и публициста М.А.Осоргина. Уфа, 13 декабря 2013 г. / отв. ред. О.С. Тарасенко. Уфа, 2014. С. 16-22.

1846 году в № 34 «Оренбургских губернских ведомостей» в обзоре происшествий за апрель-июнь было сообщено о том, что «Уфимского уезда в сельце Осоргине, помещичий малолетний мальчик Петр Ильин утонул в яме». Это был младший брат отца Михаила Осоргина.

Семьи помещиков, как правило, были весьма многочисленными, а имение и крепостные разделялось между всеми детьми (включая дочерей), так что к поколению отца писателя, Андрея Фёдоровича Ильина (1836-1893), сначала крепостных и земли, а затем только земли осталось уже очень немного. Как говорила бабушка приехавшему из Перми внуку Мише: *«Земли-то теперь мало осталось, всё разделено да распродано, а всё же взглянуть тебе нужно, потому что от этой земли ты и произошёл. Может быть, когда вырастешь большой, на землю вернёшься и станешь хозяином; надо за последний кусочек держаться крепко»* (рассказ «Земля»). Отец хотел свозить Мишу в родовое имение. *«Ни в какое имение поехать не удалось: отец опять слез. “Своей” земли я так никогда и не видал»* («Времена») К теме «своей земли», уфимского имения, где жили поколения предков, крепко с нею спаянных, писатель не раз возвращался в своих произведениях.

Недалеко от Осоргино в XIX – первой половине XX вв. существовали помещичьи деревни, когда-то принадлежавшие потомкам Федора Васильевича Осоргина. Из них сейчас сохранилась только деревня Дебовка, владельцами ее были родственники Михаила Осоргина - уфимские дворяне Дебу.

Дом бабушки - Надежды Львовны Ильиной, Успенская церковь
(не сохранились)

В первый приезд в Уфу Миша с отцом Андреем Фёдоровичем Ильиным, жили в доме бабушки - Надежды Львовны Ильиной. В рассказе «Земля» писатель вспоминал, что дом был деревянный, уютный, заставленный ветхой мебелью. *«Когда шли обедать, я вел её под руку в столовую, и были мы с ней одного роста, потому что от тяжести больших лет бабушка стала совсем низенькой. А с ней жила такая же маленькая и сгорбленная старушка из бывших крепостных, нянчившая моего отца и всех его сестер и братьев.»*

Сейчас, после бури, пронесшейся над нашей страной, вряд ли можно найти сохранившийся чудом уютный уголок, где так пахнет сухими травами и прошлым". По рассказу "Кузины" все в доме бабушки "было низеньким, круглым и пухлым. В комнатах было темновато и очень тесно от мебели».

По Справочной книжке Уфимской губернии 1883 г., в которой были отражены сведения городской переписи 1879 года, домовладение Надежды Ильиной находилось на углу улиц Большой Успенской и Малой Ильинской²⁰. Спускаясь по Успенской улице (ныне Коммунистической), нужно было перейти перекресток с Малой Ильинской (улицей Воровского), угловой дом направо и принадлежал Надежде Ильиной. Этот участок Уфы застраивался уже в конце XVIII века, на противоположной стороне Малой Ильинской находилась громадная усадьба горнозаводчика И.Е. Демидова, от которой до сегодняшнего дня сохранились два строения конца XVIII века: один из усадебных домов (ул. Октябрьской революции 57/1) и Демидовская мельница (Коммунистическая 117/б, корп. 1).

По справочным книжкам Уфы в 1904-1911 гг. владельцем бывшего дома Ильиных (Большая Успенская, 136) являлся уже мещанин А.Г. Волков-Афанасьев. Сохранилось фото, но, возможно, что это строение было возведено уже позднее. Михаил Осоргин в своих произведениях, говоря о старом доме бабушки, упоминал о том, что *«кажется, он сгорел после её смерти»* (рассказ «Кузины»).

Уфимский историк, доктор наук М.И. Роднов, работая с уфимскими метрическими книгами, обнаружил запись о смерти бабушки Михаила Осоргина. И она, действительно, скончалась после первого приезда Миши с отцом в Уфу. Вдова коллежского асессора Надежда Львовна Ильина умерла 19 января 1892 г. в возрасте 78 лет. Отпевали её 21 января в Скорбященской церкви при богоугодных заведениях²¹.

В начале 1990-х часть улицы Коммунистической (бывшей Успенской) в месте пересечения с ул. Воровского и проспектом Салавата Юлаева была полностью уничтожена, и там, где

²⁰ Справочная книжка Уфимской губернии: сведения числовые и описательные относятся к 1882-83 гг. и только весьма немногие к прежним годам. Уфа, 1883. С. 151.

²¹ Национальный архив Республики Башкортостан (НА РБ). Ф. И-294. Оп. 2. Д. 33. Л. 210 об.

находился дом бабушки Осоргина, пролегла скоростная магистраль.

Успенская улица получила свое название по старинному кладбищу и Успенской церкви. В 1771 году в этом районе, тогда находившемся за чертой города, был отведен участок для нового городского кладбища. В 1798 г. «книжный благодетель» Серёжи Аксакова Сергей Иванович Аничков построил здесь деревянную Успенскую церковь. В 1840 г. началось строительство нового каменного храма. Престол в главном алтаре во имя Успения Божией Матери был освящен в 1849 году²². Храм был окружен оградой, в которой находился большой сад и часть Успенского кладбища, упразднённого в 1824 году.

В Успенской церкви 21 мая 1865 года венчались родители Михаила Осоргина: титулярный советник, 29-летний Андрей Фёдорович Ильин и дочь коллежского советника, 19-летняя Елена Александровна Савина. Поручителями со стороны жениха стали губернский секретарь Александр Григорьевич Резанцев и коллежский секретарь Дмитрий Васильев; по невесте – коллежский секретарь Пётр Григорьевич Резанцев (муж родной сестры новобрачного) и губернский секретарь Александр Васильевич Бобров²³. Андрей Фёдорович Ильин (1836-1893) родился в Уфе, после окончания Казанского университета служил правителем канцелярии губернатора Григория Сергеевича Аксакова, затем в судебном ведомстве. В 1865 году он женился на дочери директора Уфимской гимназии Елене Савиной. В середине 1870-х годов семья Ильиных со старшими детьми переехала в Пермь, где и родился их самый младший сын – Миша. В 1893 году приехав в Уфу к родным, статский советник, член Пермского окружного суда Андрей Фёдорович Ильин 26 июня скончался «от упадка сил после воспаления легких», и 29 июня в Успенском храме прошло его отпевание²⁴.

Успенская церковь была разрушена в 1930-х годах, уничтожен большой сад в её ограде и остатки старинного Успенского кладбища, а на месте храма построен жилой дом для советского руководства (ул. Коммунистическая, 75). На всем протяжении

²² Златоверховников И.Е. Уфимская епархия: географический, этнографический, административно-исторический и статистический очерк. Уфа, 1899. С. 68.

²³ НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 6.

²⁴ НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 34.

улицы Коммунистической и в той её части, где находился дом бабушки Осоргина и Успенская церковь, ещё сохранилась часть уфимской исторической застройки XIX века.

Сафроновская пристань

Уфимская пассажирская и грузовая пристань на реке Белой получила свое название по фамилии купца Федора Семеновича Софронова, устроившего здесь в 1855 г. поташный завод, пристань и в 1860-1870-х гг. занимавшегося перевозкой товаров²⁵. Постепенно название стало писаться через «а» – Сафроновская. На Сафроновскую пристань в 1890-х приходили пароходы, на которых Миша Ильин приезжал с отцом из Перми. Оставшись после его смерти в Уфе на лето, отсюда, уже один, он уехал домой в Пермь. В районе Сафроновской пристани и улицы Ленина (бывшей Центральной) сохранились фрагменты городской исторической застройки.

Старо-Ивановское кладбище (не сохранилось)

Отец Михаила Осоргина был похоронен, как указано в метрической записи, «на отведённом кладбище», и, вероятно, на Старо-Ивановском. В 1893 г. в Уфе было два действующих кладбища – Сергиевское, которое было приходским Сергиевской церкви (оно сохранилось), и основное городское - Ивановское (Старо-Ивановское). Михаил Осоргин в рассказе «Земля» так описывал место погребения отца *«Между берегом реки Белой, где были пристани, и городом на середине пути было, а может быть, и сейчас цело, большое кладбище»*. *«Мать... приехала лишь на другой день после похорон - её задержали три дня пути. О смерти отца она ещё не знала. Мы выехали ей навстречу и, опоздав к пароходу, повстречались с ней на тогда ещё не застроенной дороге, близ самого кладбища... Вместо дома мы, оставив экипажи, прошли на кладбище на могилу отца, покрытую венками»* (рассказ «Кузины»). Ивановское кладбище в начале 1890-

²⁵ Гудков Г.Ф., Гудкова З.И. Софроновская пристань // Уфа: страницы истории / сост. М.В. Агеева. Уфа, 2006. С. 84-86.

х гг. находилось за городской чертой, граница которой проходила вдоль улицы Богородской (Революционной), и если ехать от пассажирской Сафроновской пристани на Белой, то оно действительно располагалось между рекой и городом.

По всей видимости, Михаил Осоргин был на этом кладбище и во время третьего приезда в Уфу в 1916 году. В повествовании «Времена» он упоминает о том, что искал могилу отца. *«Мне предстоят деловые визиты и доклад об европейских военных настроениях. Еще ждет могила отца, которой я не найду»*. На месте Старо-Ивановского кладбища ныне находится часть парка им. И. Якутова и прилегающая к нему территория до Дворца детского творчества.

Дом Нагаткиных
(не сохранился)
Нагаткинские дубы

В 1879-1904 гг. домовладелицей дома по ул. Бекетовской, № 32 являлась Мария Васильевна Нагаткина²⁶, в 1908-1911 гг. уже Александра Григорьевна Нагаткина²⁷. В своих произведениях Михаил Осоргин писал о том, что был в родстве с С.Т. Аксаковым. Екатеринбургский краевед Ольга Алексеевна Титова (потомок Аксаковых-Нагаткиных) установила, что один из сыновей любимой тётушки и крёстной матери С.Т. Аксакова - Аксины Степановны Аксаковой (в замужестве Нагаткиной) – Василий Борисович Нагаткин женился на дочери Фёдора Васильевича Осоргина - Александре Фёдоровне. Их дети, жившие в Уфе в 1890-е годы: Мария Васильевна Нагаткина (1822 - после 1904) и Дмитрий Васильевич Нагаткин (1832 - ?) были двоюродными братом и сестрой бабушки Михаила Осоргина - Надежды Львовны Ильиной²⁸. Вероятно, это и были те самые “старики Нагаткины”, с которыми познакомил Мишу Ильина отец во время их первого путешествия в Уфу. *«Мне особенно было памятно и приятно, когда погладили меня по голове старики Нагаткины, потомки тех,*

²⁶ Справочная книжка Уфимской губернии: сведения числовые и описательные относятся к 1882-83 гг. и только весьма немногие к прежним годам. Уфа, 1883. С. 83.; Список улиц и домовладений города Уфы. Уфа, 1904.

²⁷ Справочная книга г. Уфы. Уфа, 1908. С. 12; Справочная книга г. Уфы. Уфа, 1911. С. 12.

²⁸ www.nagatkin.ru.

которые с такой лаской отнеслись ко всем затравленной матери Багрова-внука, но мне они, конечно, казались теми самыми, всё ещё живыми и по-прежнему добрыми» («Времена»).

Дом Нагаткиных (Бекетовская, 32), находился недалеко от Александро-Невской церкви на перекрестке улиц Бекетовской (ныне Мустая Карима) и Приютской (Кирова). Он был снесен в 1950-1960-х годах во время закладки небольшого бульвара по ул. Кирова от гостиницы «Башкирия» до ул. Социалистической (Мустая Карима). Теперь на этом бульваре растут четыре столетних дуба-великана, которые, по всей видимости, когда-то росли на усадьбе Нагаткиных.

Дом Липницких, дом Резанцевых

(не сохранились)

Дом-музей В.И.Ленина (дом П.И.Чоглоковой)

Второй приезд с отцом из Перми в Уфу был довольно подробно описан Михаилом Осоргиным в рассказе «Кузины». Бабушки уже не было *«...и не было старого городского дома; кажется, он сгорел после её смерти. Остановились мы у сестры отца, на улице поразившей меня своим названием: Старо-Жандармская! Отец был либералом и юристом, и слово "жандарм" у нас в доме считалось неприличным... Ни в какое имение поехать не удалось: отец опять слег. "Своей" земли я так никогда и не видал, она скоро была продана; а "своих" бывших крепостных видел. Видел, во-первых, суетливую старушку-няню, которая жила в семье другой тетки, ведала хозяйством и на всех ласково ворчала».*

«...Из уголков памяти стали выплывать старомодные тени, притворяющиеся молодыми: целая плеяда девиц, и хорошеньких и некрасивых, под общим названием "кузины"; за молодежью несколько пожилых лиц, за ними две очень ветхие старушки. Потом я увидел столь же ветхий дом, другой посвежее, глубоко-провинциальный город на большой реке».

У отца писателя - Андрея Фёдоровича Ильина в Уфе было три сестры и два брата: Елизавета, Людмила, Александра, Николай и Владимир. Елизавета Фёдоровна стала женой А.М. Ножина, Людмила - П.Г. Резанцева, Александра – И.И. Липницкого.

Венчание Александры Фёдоровны Ильиной с Иваном Иеронимовичем Липницким (по всей видимости, поляком, римско-католического вероисповедания, исправлявшего должность судебного следователя 1-го участка Златоустовского завода) состоялось в январе 1866 года в уфимской Александро-Невской церкви. Невесте было 18 лет, жениху 31 год. Поручителями со стороны жениха стали: коллежский регистратор Андрей Васильевич Нагаткин, не имеющий чина Аристарх Анатольевич Смородинцев и титулярный советник Андрей Федорович Ильин. Со стороны невесты: коллежский секретарь Петр Григорьевич Резанцев, коллежский советник Александр Савин (дед Михаила Осоргина по матери) и титулярный советник Иван Станиславович Родзевич²⁹. Тетка Михаила Осоргина – Александра Фёдоровна, в 1865 году окончившая Уфимскую Мариинскую женскую гимназию, была известным в Уфе педагогом. После смерти мужа, вдова коллежского асессора, она с 1874 года служила учительницей, а с 1876 почти 30 лет являлась начальницей Уфимского 2-х классного Мариинского женского училища. В Национальном архиве РБ сохранился ее послужной список³⁰. В таких учебных заведениях (с 4-5 летним курсом обучения) учились в основном девочки из семей небогатых городских сословий. В конце XIX – начале XX вв. училище располагалось недалеко от женской гимназии в деревянном здании (не сохранилось) по ул. Телеграфной, д. 9 (ныне ул. Цюрупы). К 1916 году училище было переведено на Никольскую площадь в каменное здание, в котором ныне находится Башкирский хореографический колледж (ул. Свердлова, 38).

Александра Фёдоровна Липницкая была владелицей дома по улице Суворовской, 34 (бывшей Жандармской). Возможно, именно здесь во второй свой приезд в Уфу с сыном остановился Андрей Фёдорович Ильин и в нем же, у сестры, умер. В рассказе «Кузины» писатель упоминает о кузине Тоне, позвавшей его из сада в комнату к умиравшему отцу. *«Не помню, как случилось, что я не догадывался о тяжелом положении отца. Он лежал недели две, тут же дома его оперировали, и однажды кузина Тоня позвала меня: - Миша, ты пошел бы к папе! Я пошел, сел у постели...».*

²⁹ НА РБ. Ф. И-294. Оп.2. Д. 7. Л. 433.

³⁰ НА РБ. Ф. И-216, Оп. 1, Д. 13.

У Александры Фёдоровны было две дочери – Антонина (родившаяся 28 декабря 1867) и Мария (родившаяся 31 марта 1869)³¹. Обе девушки с золотой медалью окончили Уфимскую Мариинскую женскую гимназию. Антонина в 1889-1891 гг. преподавала чистописание в Мариинской гимназии, давала частные уроки. В 1894-1896 гг. сестры учились в Петербурге на Бестужевских женских курсах. Антонина Липницкая участвовала в работе марксистских кружков и находилась в Уфе под негласным надзором полиции³².

Александра Фёдоровна Липницкая скончалась в 1904 году, о чем было сообщено в «Уфимских губернских ведомостях»: «Антонина Ивановна Липницкая и Мария Ивановна Полуэктова извещают родных и знакомых о кончине их дорогой матери, последовавшей 27 декабря». В номере газеты от 30 декабря сообщалось: «Сегодня в 9 часов утра последует вынос тела Александры Федоровны Липницкой из собственного дома на Суворовской улице в церковь Богоугодных заведений. Погребение на Ново-Ивановском кладбище»³³. Церковь Богоугодных заведений - полукаменный одноглавый храм, освященный в 1861 году во имя иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радости»; находилась в квартале пересечения улиц Церковной (ныне Худайбердина), Приютской (Кирова), и Телеграфной (Цюрупы); была разрушена в 1930-х годах. На месте Ново-Ивановского кладбища ныне находится сквер 50-летия Победы

Венчание другой тётки Михаила Осоргина 21-летней Людмилы Фёдоровны Ильиной и 26-летнего коллежского секретаря Петра Григорьевича Резанцева, служившего в Уфе судебным следователем, состоялось в июне 1864 года в Ильинской церкви. Поручителями со стороны жениха были: студент Московского университета Александр Григорьевич Резанцев, коллежский секретарь Дмитрий Васильевич Нагаткин и дворянин Самарской губернии Бугульминского уезда Александр Дмитриевич Мартынов. Со стороны невесты: титулярный советник Владимир Фёдорович Ильин, студент Казанского университета Николай

³¹ Там же.

³² Ахмерова Ф. Судьба, определенная «Искрой» // Вечерняя Уфа. 1984. 27 апреля.

³³ Уфимские губернские ведомости. 1904. 29 дек. (№ 282); 30 дек. (№ 283).

Фёдорович Ильин и коллежский асессор Андрей Васильевич Нагаткин³⁴.

Пётр Резанцев, был сыном доктора медицины, статского советника Григория Петровича Резанцева, с 1830-х годов служившего в Уфе инспектором врачебной управы, являвшейся органом управления медико-санитарным делом в губернии³⁵. Пётр Григорьевич в 1860-1870-х гг. служил судебным следователем, мировым посредником, в 1889-1907 годах секретарем в Уфимской уездной земской управе³⁶. Не имея большого состояния и чинов (до конца службы оставался коллежским секретарём) был одним из либеральных уфимских земских деятелей. По метрической записи, обнаруженной М.И. Родновым, Людмила Фёдоровна Резанцева рано умерла, в 1877 году в возрасте 34 лет.

По городским справочникам Пётр Григорьевич Резанцев не являлся владельцем какой-либо недвижимости в Уфе, и, по всей видимости, жил в наемных квартирах. Известен один из его адресов. По справочнику 1904 года Пётр Григорьевич проживал по адресу: улица Достоевская, д. 61³⁷. Этот дом, владелицей которого являлась вдова генерал-майора Л.И. Дымман, располагался совсем недалеко от Липницких и стоял на северо-западном углу перекрестка улиц Достоевской (бывшей Тюремной) и Суворовской (бывшей Жандармской). Можно сказать, что и он находился на Жандармской улице, когда-то поразившей Мишу Ильина своим названием.

У Резанцевых было три дочери: Евгения, родившаяся в 1869 г.³⁸; Мария (1873-1933); и Людмила, родившаяся в 1876³⁹. Подросток Михаил Осоргин в Уфе был влюблен в красавицу Манечку Резанцеву. *«У Мани прекрасные волосы, и она их не стригла; но Женя, например, была уже стриженной, так как была студенткой-медичкой, т.е. по-тогдашнему, нигилисткой. Хотя я не уверен, что все кузины и их приятели и приятельницы были*

³⁴ НА РБ. Ф. И-294. Оп.2. Д. 5. Л. 140.

³⁵ Адрес-календарь Оренбургского отдельного корпуса, Оренбургской губернии, и управления Оренбургского края по части пограничной, с присовокуплением кратких статистических сведений. 1836 года. Оренбург, 1836. С. 95.

³⁶ Памятная книжка Уфимской губернии 1889 года. Уфа, 1889. С. 30; Адрес-календарь Уфимской губернии и справочная книжка на 1907 год. Уфа, 1907. С. 48.

³⁷ Список улиц и домовладений города Уфы. Уфа, 1904.

³⁸ НА РБ. Ф. И-294. Оп.2. Д. 10. Л. 425.

³⁹ НА РБ. Ф. И-294. Оп.2. Д. 17. Л. 89.

нигилистами, но кто-то мне об этом сказал; и в своем представлении я тогда же отметил, что нигилисты – молодые, веселые и очень приветливые люди, любители хорового пения, катания на лодках и дружеской болтовни» (рассказ «Кузины»).

В обществе кузин-нигилисток Михаила Осоргина находился сын одного из уфимских чиновников Евгений Николаевич Фосс (1867-1938). В 1887 г., во время учебы в Казанском университете, за участие в студенческих беспорядках он вместе с другими студентами (в числе которых был и В.И. Ульянов) был арестован, а затем исключен из университета⁴⁰. Впоследствии в одной из статей воспоминаний он упомянул об уфимской семье Резанцевых, с которой был связан самыми тесными узами дружбы, а Марию Резанцеву знал с раннего детства. «Это была родная мне семья, с которой по многим причинам меня связывало гораздо больше нитей и интересов, чем со своей собственной, кровной. В этой же семье в 90-х годах тогда еще гимназистами старших классов был организован сначала ”кружок самообразования”, который неизбежно к тому времени превратился в кружок революционной молодежи. Двери широко и гостеприимно были открыты для всех “изгоев”, волею судеб административных заброшенных в Уфу»⁴¹.

Одними из таких «изгоев», оказавшихся в Уфе в конце 1890-х, были молодые социал-демократы Александр Дмитриевич Цюрупа и Алексей Иванович Свидерский, встретившие у Резанцевых, бывших центром уфимского кружка революционной молодежи, своих будущих жен – Марию и Людмилу Резанцевых. Кузина Манечка была вполне счастлива в браке. Супругов объединяла совместная революционная работа, Александр Дмитриевич Цюрупа был заботливым мужем и отцом, хорошим семьянином. В Национальном архиве РБ сохранилась метрическая запись о их бракосочетании. 9 января 1900 года в Крестовоздвиженской церкви венчались: города Уфы обер-офицерский сын 20-летний Александр Дмитриевич Цюрупа, с дочерью потомственного дворянина города Уфы 26-летней Марией Петровной Резанцевой. Поручителями со стороны жениха стали: сын обер-офицера города Уфы Фёдор Александрович Бобров и Виктор Николаевич Крохмаль; со стороны

⁴⁰ Фосс Е. Первая тюрьма В.И. Ленина // Огонек. 1926. № 11.

⁴¹ Фосс Е. Александр Дмитриевич Цюрупа // Огонек. 1928. № 21.

невесты: херсонский мещанин Давид Самуилович Ландо и дворянин г. Уфы Евгений Владимирович Пашков⁴².

Сохранилась также запись о бракосочетании Свидерских. 19 мая 1902 года в Спасской церкви венчались: сын чиновника, бывший студент Санкт-Петербургского университета Алексей Иванович Свидерский 24-х лет и дочь дворянина города Уфы Людмила Петровна Резанцева. Поручители со стороны жениха: коллежский секретарь Александр Фёдорович Ница и ученый управитель Игнатий Корнилович Густо; со стороны невесты: сын почетного гражданина Григорий Николаевич Тюнин и потомственный дворянин Иосиф Андреевич Владиславлев⁴³.

Стриженная кузина, студентка-медичка Женя - Евгения Петровна Резанцева, вероятно, во время учебы в Петербурге, вышла замуж за пасынка поэта И.Ф. Анненского – Эммануила Петровича Хмара-Борщевского (1865-1921). После окончания в 1889 г. Военно- медицинской академии он служил врачом сначала в Петербурге, а с 1903 г. по 1921 г. на Дальнем Востоке в должности помощника главного врача КВЖД. Был одним из врачей, боровшихся с последней в современной истории крупной эпидемией чумы, разразившейся в 1910-1911 годах в Маньчжурии. Скончался в Харбине в 1921 году. Четверо детей Евгении Петровны Резанцевой в 1930-е годы возвратились в СССР⁴⁴.

Две другие уфимские кузины Михаила Осоргина – Мария и Людмила Резанцевы, после учебы и замужества жили в Уфе, где вместе с мужьями вели революционную работу и вошли в состав уфимского опорного пункта «Искры», организованного В.И. Лениным и Н.К. Крупской.

В конце января 1900 г. для тогда ещё В.И. Ульянова завершился срок ссылки в сибирском Шушенском. У Н.К. Крупской срок ссылки заканчивался в марте 1901 года, и ей было разрешено отбыть его в Уфимской губернии. В начале февраля 1900 г. они приехали в Уфу и остановились в номерах. Уфимская губерния для Ленина относилась к числу запрещенных для жительства, и он пробыл здесь несколько дней для устройства

⁴² НА РБ. Ф. И-294, Оп. 5, Д. 1. Л. 102.

⁴³ НА РБ. Ф. И-294, Оп. 5, Д. 3.

⁴⁴ www.annenskiy.lit-info.ru/annenskiy/pisma/pismo-62; www.annenskiy.lib.ru; Эпидемия чумы на Дальнем Востоке [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.wikipedia.org.

жены. Приезжие были приглашены на два собрания, которые организовали уфимские социал-демократы, были также встречи с отдельными марксистами. Так Ленин и Крупская посетил Александра Дмитриевича Цюрупу. Сохранились сведения о том, что его жена - Мария Петровна посоветовала Ульяновым для экономии средств переселиться из гостиницы в дом своей тётки - Александры Фёдоровны Липницкой (ул. Суворовская (ныне Крупской), 34), сдававшей комнаты. После отъезда Ленина Н.К. Крупская с матерью, возможно, некоторое время жили в доме Липницких⁴⁵. Кроме того, во время ссылки, продолжавшейся до марта 1901 года, Крупская бывала в этом доме у Антонины Ивановны Липницкой, также ставшей одной из активных членов уфимского опорного пункта «Искры»⁴⁶.

В настоящее время историческая застройка в этой части центра Уфы полностью утрачена, и единственным местом, связанным с кузинами-революционерками Михаила Осоргина, является только музей В.И. Ленина. Можно отметить то, что уфимская дворянка Прасковья Ивановна Чоглокова, урожденная Базилева (1835-1922)⁴⁷, которой принадлежали дом и усадьба в этом месте, была женой действительного статского советника Петра Николаевича Чоглокова, служившего преподавателем в Уфимской мужской гимназии, в том числе и в те годы, когда её директором являлся дед Михаила Осоргина по матери – коллежский советник Александр Степанович Савин⁴⁸.

Спасская церковь

Спасский храм является одним из самых старинных в Уфе. Уже в первой половине XVII в. на этом месте, на посаде уфимской крепости стояла деревянная церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. После пугачевского бунта рядом с ней была построена деревянная Спасская церковь. Оба храма сгорели во время пожара 1821 года. Новая каменная церковь была заложена

⁴⁵ Крупская Н.К. Письма из Уфы (1900-1901 гг.) / автор предисловия, комментариев и составитель Г.Ф. Павлюченков. Уфа, 1989. С. 22.

⁴⁶ Павлюченков Г.Ф. Крупская в уфимской ссылке. Уфа, 1973. С. 56.

⁴⁷ Ахмерова Ф.Д. Хозяйка исторического дома // Ахмерова Ф.Д. След земной. Уфа, 2008. С. 72-76.

⁴⁸ Адрес-календарь Оренбургского края на 1865 год. Оренбург, 1865. С. 166-167.

в 1824 году. Придел в честь святителя Николая освящен в 1829 году, главный храм в 1844, придел в честь Рождества Христова – в 1845 году⁴⁹. Церковь была закрыта в 1930-х гг. и впоследствии полуразрушена. До сегодняшнего времени сохранилась только её центральная часть, идет реконструкция. На всем протяжении улицы Октябрьской революции (бывшей Большой Казанской) во многом сохранилась уфимская историческая застройка XIX века.

В уфимской Спасской церкви 14 мая 1867 г. состоялся обряд крещения старшего брата Михаила Осоргина - Сергея, родившегося в Уфе 23 апреля. Восприемниками стали коллежский секретарь Пётр Григорьевич Резанцев и бабушка новорожденного - Надежда Львова Ильина⁵⁰. Возможно, в это время молодые родители писателя жили в Спасском приходе.

В этот же день, 14 мая 1867 года в Спасской церкви была крещена девочка Мария - дочь коллежского регистратора Андрея Васильевича Нагаткина и его супруги Александры Владимировны. Восприемницей стала поручица Александра Фёдоровна Нагаткина. Александра Фёдоровна была одной из дочерей Фёдора Васильевича Осоргина (прапрадеда писателя).

Как было сказано выше, в Спасской церкви в 1902 году венчались Людмила Петровна Резанцева и Алексей Иванович Свидерский.

Александро-Невская церковь (не сохранилась)

Уфимский храм в честь святого князя Александра Невского находился на пересечении улиц Александровской (ныне Карла Маркса) и Приютской (Кирова). Был заложен 18 сентября 1824 г. Императором Александром I, лично положившим первый камень в его основание, строился на средства дворян Оренбургской губернии и освящен в 1836 году⁵¹. В 1930-х гг. храм был разобран.

⁴⁹ Златоверховников И.Е. Уфимская епархия: географический, этнографический, административно-исторический и статистический очерк. Уфа, 1899. С. 69.

⁵⁰ НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 8.

⁵¹ Златоверховников И.Е. Уфимская епархия: географический, этнографический, административно-исторический и статистический очерк. Уфа, 1899. С. 70-71.

На его фундаменте расположено здание Федерации профсоюзов РБ (ул. Кирова, 1).

В середине XIX века Ильины или жили в приходе Александровской церкви, или являлись её прихожанами по сословию, так как храм считался «дворянским». В Национальном архиве РБ (ЦИА РБ) сохранилось несколько метрических записей по семье Ильиных. 14 января 1844 года был крещён Николай - сын титулярного советника Федора Александровича Ильина и его супруги Надежды Львовны. Восприемниками стали: коллежский советник Яков Александрович Софонов и тетка новорожденного по матери - коллежская советница Елизавета Львовна Горельская⁵². В 1870-х гг. этот дядя Михаила Осоргина - Николай Фёдорович Ильин служил в Уфе судебным следователем⁵³.

В марте 1845 года в Александровской церкви была крещена Клавдия - дочь Уголовной палаты заседателя от дворянства, титулярного советника Фёдора Александровича Ильина и его жены Надежды Львовны. Восприемниками стали отставной гвардии поручик Сергей Семенович Ахлебинин и коллежская советница Елизавета Львовна Горельская. Это ребенок Ильиных скончался в годовалом возрасте⁵⁴. 1 мая 1847 года крестили самую младшую дочь Ильиных - Александру. Восприемниками и на этот раз стали поручик Ахлебинин и Елизавета Львовна Горельская⁵⁵.

В Александровской церкви прошло отпевание деда Михаила Осоргина - коллежского асессора Федора Александровича Ильина, скоропостижно скончавшегося 8 августа 1847 года в возрасте 50 лет⁵⁶. Бабушка, Надежда Львовна, была на 17 лет моложе своего супруга (родившегося примерно в 1797 году), но, тем не менее, в начале 1890-х ко времени первой встречи с внуком Мишей, была уже очень пожилой. *«Я считал, что бабушке лет сто, но немного ошибался. Спина ее выгнулась в дугу, а с креслом она совсем сливалась»* (рассказ «Кузины»).

В январе 1866 года в Александро-Невской церкви венчались Александра Фёдоровна Ильина и Иван Иеронимович Липницкий.

⁵² НА РБ. Ф. И-294. Оп.1. Д. 59. Л. 146.

⁵³ Адрес-календарь лиц служащих в Уфимской губернии. Уфа, 1873. С. 41.

⁵⁴ НА РБ. Ф. И-294. Оп.1. Д. 59. Л. 75, 45.

⁵⁵ НА РБ. Ф. И-294. Оп.1. Д. 60. Л. 9.

⁵⁶ НА РБ. Ф. И-294. Оп. 1. Д. 60. Л. 65.

В Александро-Невской церкви 4 июля 1854 года состоялось венчание, вероятно, самой старшей дочери умершего коллежского асессора Федора Ильина, 19-летней Елизаветы. Эта была еще одна тетка Михаила Осоргина. Её супругом стал 30-летний стерлитамакский лесничий Александр Михайлович Ножин. Поручителями на бракосочетании со стороны невесты стали: кончивший курс гимназии Андрей Фёдорович Ильин, кончивший курс гимназии Владимир Фёдорович Ильин и студент Императорского Казанского университета Димитрий Васильевич Нагаткин⁵⁷.

Александр Михайлович Ножин – в 1873 году коллежский секретарь, в 1876 г. титулярный советник – служил в Уфе старшим заседателем Уездного полицейского управления⁵⁸; Елизавета Фёдоровна в 1873-1876 гг. была в составе руководства ссудо-сберегательного товарищества (состояла помощницей председателя – Валентина Аполлоновича Новикова)⁵⁹. Супруги Ножины скончались довольно молодыми. Вдова коллежского асессора Елизавета Федоровна Ножина умерла в июне 1878 года, её отпевание прошло Александро-Невской церкви⁶⁰.

В 1855 г. в Александровской церкви была крещена дочь Ножиных - Нина (восприемники: отставной полковник Михаил Фёдорович Ножин и вдова коллежская асессорша Надежда Львовна Ильина)⁶¹, а в 1857 г. сын Владимир (восприемники: Казанского университета студент Владимир Федорович Ильин и коллежского советника Михаила Федоровича Ножина дочь Ирина)⁶². Александр Михайлович Ножин в эти годы являлся «корпуса лесничих прапорщиком» и «прапорщиком, корпуса лесничих уездным лесничим». По всей видимости, еще одна их дочь – Надежда Александровна Ножина в 1873 году служила помощницей учительницы Уфимского Мариинского женского училища (его заведующей являлась Александра Фёдоровна Липницкая)⁶³.

В рассказе «Кузины» Михаил Осоргин писал о многочисленных уфимских кузинах, окружавших его во время

⁵⁷ НА РБ. Ф. И-294. Оп. 1. Д. 60. Л. 536.

⁵⁸ Адрес-календарь лиц служащих в Уфимской губернии. Уфа, 1873. С. 40.

⁵⁹ Уфимский календарь на 1876 год. Уфа, 1876. С. 71.

⁶⁰ НА РБ. Ф. И-294. Оп. 1. Д. 38. Л. 29.

⁶¹ ЦГИА РБ. Ф. И-294. Оп.1. Д. 40. Л. 2.

⁶² ЦГИА РБ. Ф. И-294. Оп.2. Д. 19. Л. 50.

⁶³ Адрес-календарь лиц служащих в Уфимской губернии. Уфа, 1873. С. 69.

второй поездки в родной город отца: «их было так много, что я путался в именах».

Благодаря М.И. Роднову удалось обнаружить ещё одну уфимскую тётушку Михаила Осоргина. Метрические записи о её семье историк обнаружил в НА РБ. Это была Любовь Фёдоровна Ильина, вышедшая замуж за губернского секретаря Александра Васильевича Боброва. Когда 5 октября 1867 г. у них родился сын Феодор, крёстной стала вдова Надежда Львовна Ильина, а 3 июля 1868 г. у Бобровых умер двухлетний сын Иван⁶⁴. Отставной коллежский секретарь Александр Васильевич Бобров скончался 4 декабря 1911 г. в возрасте 65 лет⁶⁵.

В автобиографическом повествовании «Времена» упоминаются и кузены: *«оказываюсь в кругу множества моих кузин и кузенов, молодых и веселых, школьников и студентов, гораздо старше меня и все-таки моих близких друзей»*. Возможно, это были дети не только Резанцевых и Липницких, о чём было сказано выше, но и Ножиных и Бобровых. Кроме того, в это время в Уфе могли находиться дети двух братьев Андрея Фёдоровича Ильина – Николая и Владимира.

Уфимская мужская гимназия

Мужская гимназия была открыта в Уфе в 1828 году. Первоначально она называлась Оренбургской губернской, после разделения Оренбургской губернии на Уфимскую и Оренбургскую - Уфимской мужской. Каменный двухэтажный главный корпус и два каменных двухэтажных флигеля на улице Большой Ильинской были построены для неё в 1847 году. Ныне здания гимназии (третий этаж надстроен в 1936 г.) принадлежат Башкирскому государственному медицинскому университету (ул. Заки Валиди, 47).

В Уфимской гимназии учился отец Михаила Осоргина – Андрей Фёдорович Ильин, учились его братья Николай и Владимир. Кроме того, в 1863-1865 директором гимназии являлся

⁶⁴ НА РБ. Ф. И-294. Оп. 2. Д. 8. Л. 348 об.; Д. 9. Л. 390 об.

⁶⁵ Там же. Оп. 5. Д. 29.

дед писателя со стороны матери – Александр Степанович Савин⁶⁶. По всей видимости, семья Савиных в эти годы жила в директорской квартире, которая располагалась в одном из флигелей гимназии.

Губернская земская управа
Дома, где жил А.Д. Цюрупа с семьей
(не сохранились)

Губернская земская управа находилась на Большой Ильинской улице, д. 55 (ныне З. Валиди), в угловом доме, расположенном на перекрестке с улицей Телеграфной (Цюрупы). Центральная часть здания была построена в 1880-е годы, в начале XX века оно было расширено в том же архитектурном стиле вдоль улиц Телеграфной и Ильинской. В начале 1970-х был надстроен третий этаж⁶⁷. В 2018 году началась реконструкция бывшей управы, которую завод Уфимкабель с 1940-х гг. использовал как административный корпус.

В Земской управе осенью 1916 года М.А. Осоргин выступал перед земцами. В этот приезд, по воспоминаниям писателя, *«Уфа мне не понравилась, хотя раньше я очень любил этот город, его сиреневый дух, его Белую и особенно его Дёму»* («По городам»). По всей видимости, Уфа не понравилась Осоргину потому, что внешний вид и дух города значительно изменился со времени его детства. После строительства железной дороги и в годы общероссийского экономического подъема Уфа стала довольно быстро застраиваться новыми домами и целыми улицами, появились первые промышленные предприятия. Кроме того, для Осоргина это был город, *«в котором я никого не оставляю»* («Времена»). *«Из тысячи уфимских кузин осталась одна, но и та была во временной отлучке»* («Кузины»).

В Земской управе Осоргин встретился с её мужем – Александром Дмитриевичем Цюрупой, у которого позже побывал в гостях. В повествовании «Времена» Осоргин писал: *«Ко мне*

⁶⁶ Буравцов В.Н. Уфимские гимназии и средние специальные училища: (очерки по истории учебных заведений Уфы первой половины XIX – первой четверти XX вв.). Уфа. 2013. С. 21-22.

⁶⁷ Егоров П.В. Уфимское губернское земство // Уфа: страницы истории / сост. М.В. Агеева. Уфа, 2006. Уфа, 2013. С. 191-193.

подойдет незнакомый человек и скажет: "Вы помните свою кухню Манечку? Я ее муж". Я помню очень молодую девушку, при которой я состоял рыцарем! "Приходите к нам сегодня пообедать"». В рассказе «По городам» у дверей кабинета председателя управы «...меня поджидал скромный человек секретарского вида, типичный "третий элемент" – Позвольте познакомиться. Я муж Марьи Петровны... Ее нет, она в отъезде. Прошу вас пообедать, и посмотреть ваших племянников. Моя фамилия – Цюрупа. Племянники очаровательны, и я засиделся до вечера. Будущий народный комиссар земледелия был очень любезным и хлебосольным хозяином. Позже, когда он жил в Кремле, а я в Чернышевском переулке, мы не встречались. Он умер – пусть земля ему будет легкой».

А.Д. Цюрупа родился в Таврической губернии в семье служащего городской управы. Еще во время учебы в Херсонском сельскохозяйственном училище приобщился к революционной работе, был два раза арестован, в 1897 года переехал в Уфу, где работал в Губернском земстве. В 1900 г. женился на Марии Петровне Резанцевой. С конца 1904 г., после ссылки в Олонецкую губернию, Цюрупа жил в селе Бекетово Уфимского уезда, где служил управляющим имением у состоявшего в партии кадетов и сочувствовавшего социал-демократам «красного» князя В.А. Кугушева, кроме того, и родственника, так как князь женился на сестре Цюрупы – Анне Дмитриевне. Можно отметить, что недалеко от Бекетова в районе деревни Осоргино когда-то находились имения уфимских дворян Осоргиных, затем Ильиных – предков Михаила Осоргина и сестер Резанцевых – «своя земля», которую так никогда и не увидел Михаил Осоргин.

С 1914 года А.Д. Цюрупа опять начинает служить в Уфе⁶⁸. В 1916-17 гг. в Губернской земской управе он являлся помощником уполномоченного по закупкам хлеба для армии⁶⁹. Кузина Манечка – Мария Петровна Цюрупа в этот период также служила в земстве. В 1917 г. она была членом совета Общества народных университетов, которое действовало при Губернской земской управе, а также являлась инструктором в кассе мелкого кредита

⁶⁸ Захаров А. Революцией призванный // Уфимцы – соратники В.И.Ленина. Уфа, 1989. С. 48-92.

⁶⁹ Адрес-календарь Уфимской губернии на 1916 год. Уфа, 1916. С. 20; Адрес-календарь Уфимской губернии и справочная книжка на 1917 год. Уфа, 1917. С. 20.

Уфимского уездного земства⁷⁰ (его здание по ул. Большой Ильинской, 48 не сохранилось).

В 1916 году, когда Михаил Осоргин посетил Уфу, в городе мог находиться и А.И. Свидерский, женатый на другой кузине Михаила Осоргина – Людмиле Петровне Резанцевой. Алексей Иванович Свидерский родился в Черниговской губернии. Во время учебы в Петербургском университете входил в ленинский ”Союз борьбы за освобождение рабочего класса”. В 1899 году был сослан в Уфу, где познакомился с А.Д. Цюрупой и семьей Резанцевых. Марию и Евгению Резанцевых он знал еще в Петербурге, где Евгения Петровна вместе с ним вела пропагандистскую работу в «Союзе борьбы», а Мария Петровна тоже участвовала в работе марксистских групп. В мае 1901 г. Свидерский женился на младшей из сестер Резанцевых – Людмиле. После окончания срока ссылки, в 1902-1915 гг. Свидерские жили в Самаре, Петербурге и Киеве, где продолжали вести революционную работу, в 1915 г. А.И. Свидерский возвратился в Уфу⁷¹.

После февральской революции 1917 года Цюрупа и Свидерский стали одними из руководителей Уфимского комитета РСДРП и Совета рабочих и солдатских депутатов, после октябрьского переворота вошли в состав Губернского революционного комитета (А.И. Свидерский в качестве председателя). В начале 1918 г. Цюрупа по вызову В.И. Ленина уехал из Уфы, где стал заместителем, а затем наркомом продовольствия, вскоре в Петербург отправился и Свидерский, где вошел в состав коллегии Наркомпрода.

Летом 1918 года, когда Уфу заняли белочехи, спешно отступавшие большевики увезли с собой заложников, часть из которых вскоре были расстреляны. В качестве ответной меры, по распоряжению городской думы, были арестованы несколько жён лидеров большевиков, не успевших эвакуироваться. В их числе оказалась и Мария Петровна Цюрупа, оставшаяся с детьми в Уфе. Начались сложные переговоры, в которых среди прочих участвовал из Москвы и её супруг. После возвращения части заложников в Уфу Мария Петровна и другие контрзаложницы были

⁷⁰ Адрес-календарь Уфимской губернии на 1916 год. Уфа, 1916. С. 51, 80.

⁷¹ Кизин Ю.П. Выбор сделан навсегда // Уфимцы – соратники В.И.Ленина. Уфа, 1989. С. 173-193.

освобождены, а когда в конце декабря 1918 года Уфа была занята Красной армией, ей удалось уехать к мужу⁷².

В нескольких произведениях Михаила Осоргина есть описание последней встречи с кузиной Манечкой, произошедшей в 1921 году в Москве на квартире дальних родственников «...входит очень пожилая, полуседая, но ещё красивая женщина. Целуемся, говорим на "ты". Я недавно выпущен из чекистского тюремного приюта, она постоянно живет в Кремле, - жена высокого сановника. Оба стесняемся. Она спрашивает: - Ты нас наведишь? Я отвечаю: - Мне всегда приятно тебя видеть, хочешь – здесь, хочешь у меня. Но ты понимаешь, что в Кремль я не приеду. - Ты нас отрицаешь? - Родных я не отрицаю, а с "вами" у меня нет общего» («Кузины»).

Впоследствии Цюрупа и Свидерский занимали ряд высоких государственных и партийных должностей. А.Д. Цюрупа скончался в 1928 году, А.И. Свидерский - в 1933-м, прах их покоится у Кремлевской стены. Мария Петровна Цюрупа, умершая в 1933 г., была похоронена на Новодевичьем кладбище⁷³.

В Уфе, кроме одной из центральных улиц, названной в честь А.Д. Цюрупы, в свое время были отмечены места, где он жил с семьей. В 1914-1916 годах Цюрупы квартировали в доме Сокурова на Телеграфной улице № 50 (впоследствии ул. Цюрупы, 58), в 1917 году переехали в дом Терегулова по ул. Большой Ильинской, 81 (З. Валиди, 85), из него же летом 1918 г. Мария Петровна была арестована⁷⁴. В одном из них осенью 1916 года и побывал Михаил Осоргин. Двухэтажный деревянный дом по ул. Цюрупы (в квартале между Чернышевского и Кирова, на котором находилась мемориальная доска), был снесен в 2008 году, также деревянный и двухэтажный по ул. З. Валиди (между Новомостовой и Воровского) снесен в 2012 году.

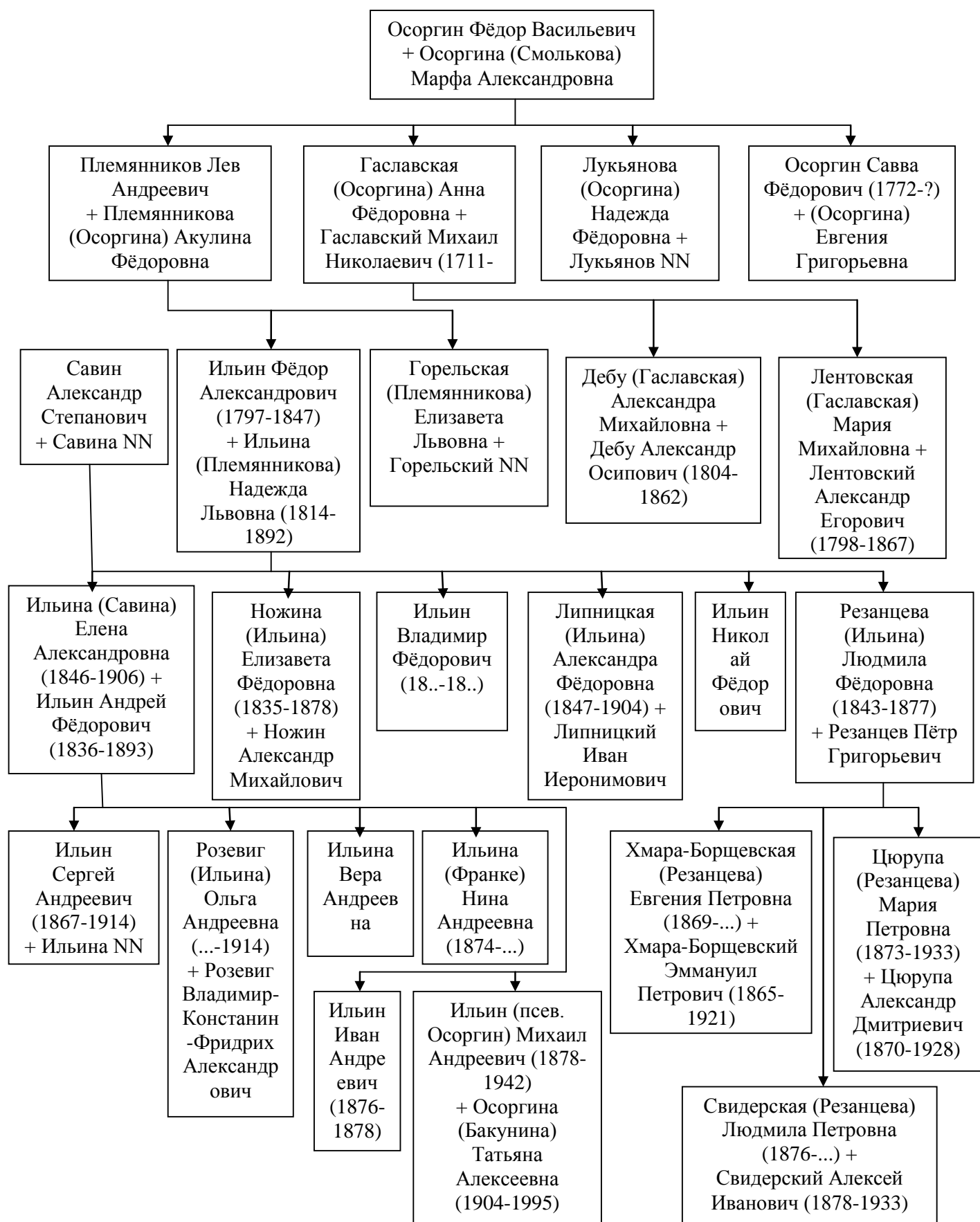
Янина Свице

⁷² Егоров А.В. Уфимские заложники // Башкирский край: сборник статей. Уфа, 1996. Вып. 6. С. 21, 36.

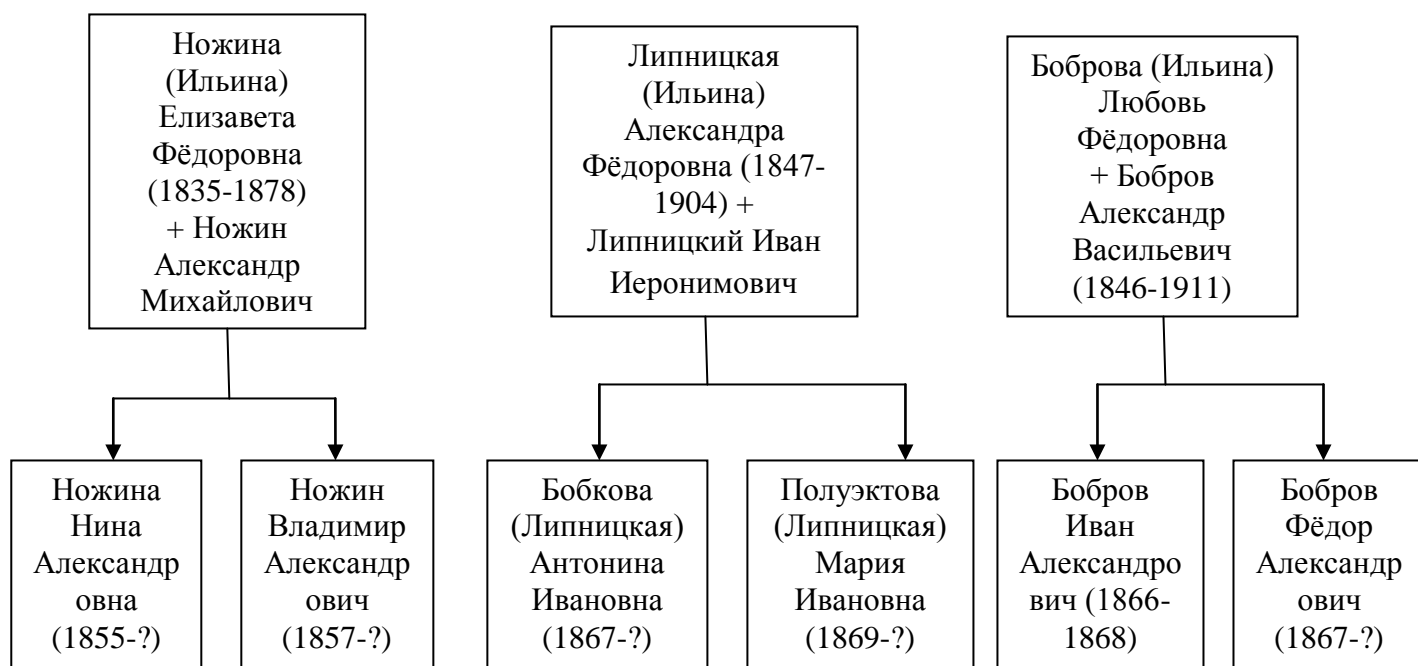
⁷³ Список похороненных на Новодевичьем кладбище [Электронный ресурс]. Режим доступа: ru.wikipedia.org.

⁷⁴ Архив уфимского музея В.И. Ленина. Д. 9/1-14. Д. 10/1-15.

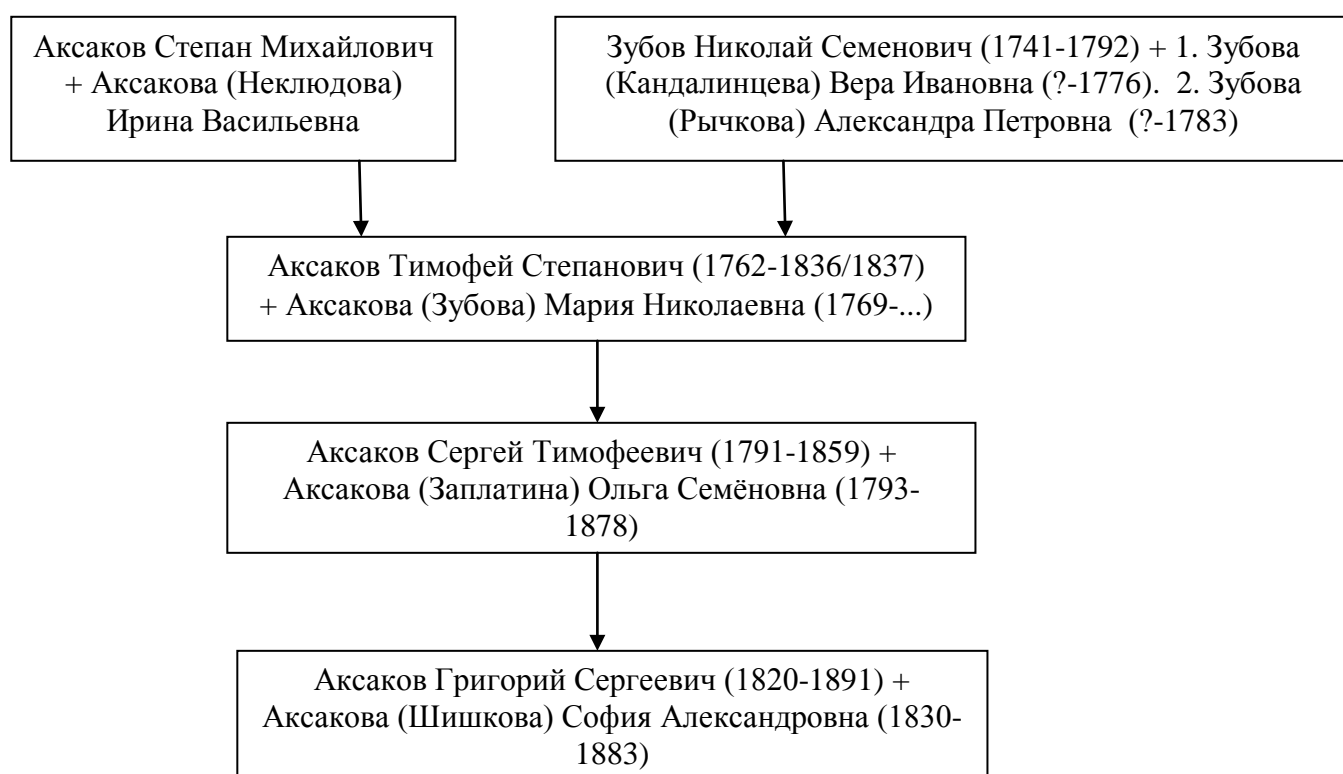
Генеалогическое древо уфимских родственников М.А. Осоргина



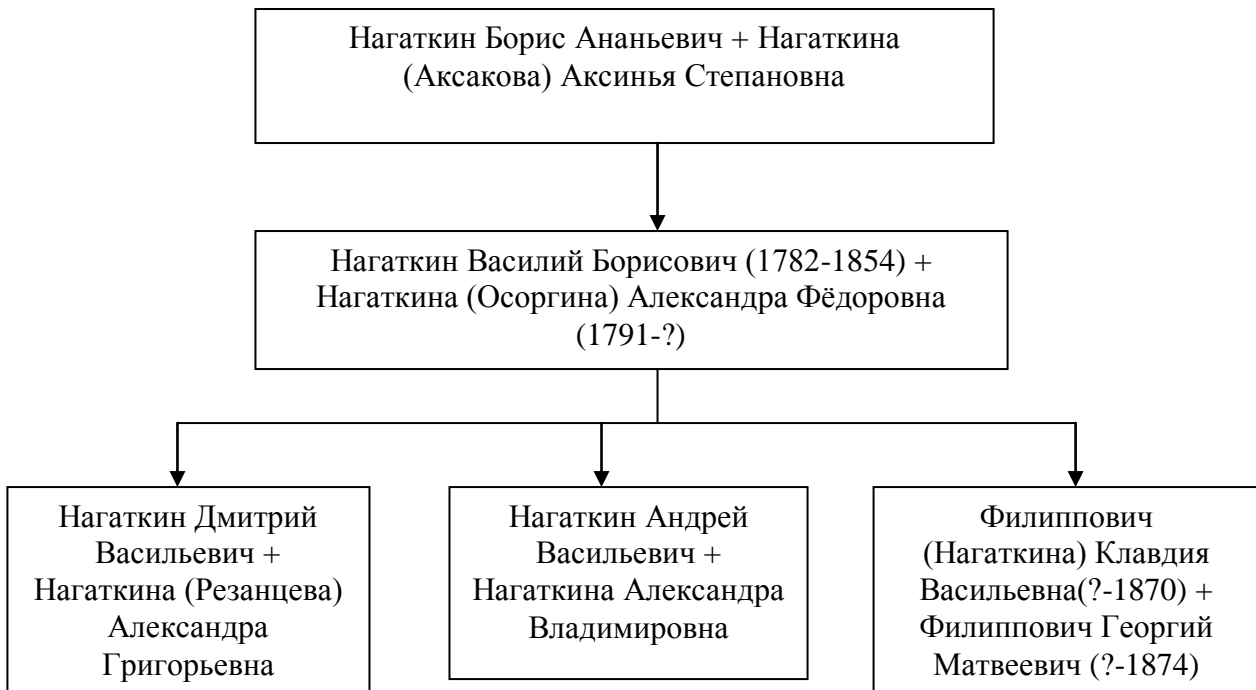
Линии Ножиных, Липницких, Бобровых



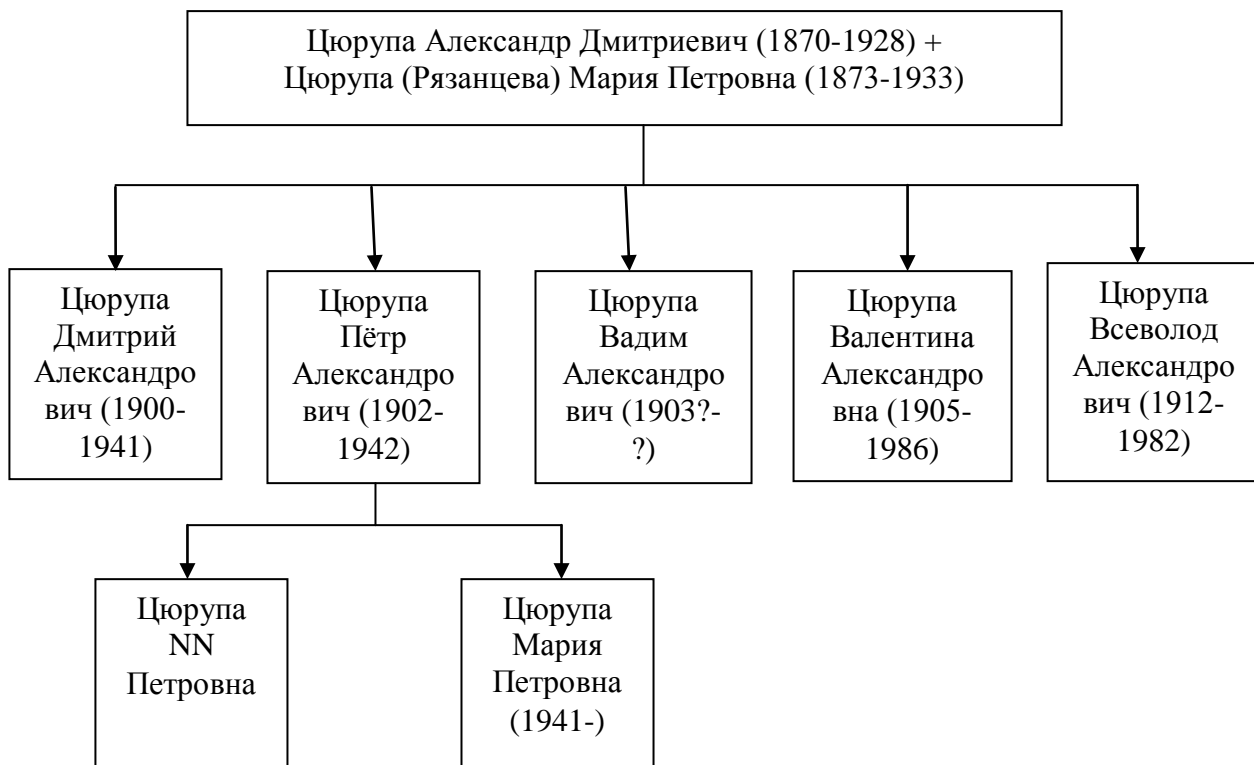
Линии Аксаковых и Зубовых



Линии Нагаткиных, Аксаковых и Осоргиных



Линия Цюруп



«Россия осталась в сердце...»
(Библиографический указатель сочинений М.А. Осоргина
и литературы о нём за 1897-2018 гг.)

Сочинения М. А. Осоргина

Книги

1913 г.

1. Осоргин, М. А. Очерки современной Италии [Текст] / М. А. Осоргин. – М. : Типолиитография творчества И. Н. Кушнеров и К^о, 1913. – 262 с.

1917 г.

2. Осоргин, М. А. Охранное отделение и его секреты [Текст] / М. А. Осоргин. – М. : Студенческое изд-во «Грядущее», 1917. – 32 с.

3. Осоргин, М. А. Призраки [Текст] : три повести / М. А. Осоргин. – М. : Задруга, 1917. – 184 с.

1918 г.

4. Осоргин, М. А. Сказки и несказки [Текст] / М. А. Осоргин. – М. : Задруга, 1918. – 161 с.

1921 г.

5. Осоргин, М. А. Из маленького домика (Москва, 1917–1919) [Текст] / М. А. Осоргин. – Рига : Книгоиздательство русских писателей, 1921. – 120 с.

1924 г.

6. Ossorguine, M. A. Rordinella Natascia ed altri raccorti russi [Текст] / М. А. Ossorguine. – Milano : Morrealle, 1924. – 126 p.

1928 г.

7. Осоргин, М. А. Сивцев Вражек [Текст] / М. А. Осоргин. – Париж, 1928. – 196 с.
8. Осоргин, М. А. Там, где был счастлив [Текст] : рассказы / М. А. Осоргин. – Париж : Paris Impr. L.Beresniak, 1928. – 196 с.

1929 г.

9. Осоргин, М. А. Вещи человека. Портрет матери. Дневник отца [Текст] / М. А. Осоргин. – Париж : Изд-во «Родник», 1929. – 64 с.
10. Осоргин, М. А. Свидетель истории [Текст] : роман / М. А. Осоргин. – Париж, 1929. – 405 с.
11. Осоргин, М. А. Сивцев Вражек [Текст] / М. А. Осоргин. – 2-е изд. – Париж : (Paris Impr. L. Beresniak), 1929. – 413 с.
12. Osorgin, M. A. Der Wolf kreist [Текст] : ein Roman aus Moskau / M. A. Osorgin. – München : Drei Masken-Verlag, 1929. – 422 s.
13. Osorgin, M. A. Sivcev Vražok [Текст] / M. A. Osorgin. – Praha, 1929. – 426 с.

1930 г.

14. Osorgin, M. A. A quiet street (Sivzev Vrazhek) [Текст] / M. A. Osorgin. – London : Secker, 1930. – 366 p.
15. Osorgin, M. A. Quiet street [Текст] / M. A. Osorgin. – New York : L. MacVeagh, The Dial press ; Toronto : Longmans, Green and co., 1930. – 344 p.

1931 г.

16. Осоргин, М. А. Повесть о сестре [Текст] / М.А. Осоргин. – Париж : Современные записки, 1931. – 187 с.
17. Осоргин, М. А. Чудо на озере [Текст] / М. А. Осоргин. – Париж : Современные записки, 1931. – 202 с.

18. Osorgin, M. A. My sister's story [Текст] / M. A. Osorgin. – New York : L. MacVeagh, The Dial Press ; Toronto : Longmans, Green and Co., 1931. – 235 p.

1932 г.

19. Осоргин, М. А. Свидетель истории [Текст] : роман / М. А. Осоргин ; предисл. от авт. ; обложка Ф. С. Рожанковского. – Париж : Типография «Pascal», 1932. – 269 с.

20. Ossorgin, M. A. Tanjuscha og hendes Bejlere [Текст] : en Roman fra Moskva / M. A. Ossorgin; Autoriseret Oversættelse fra Russisk ved C. W. Volkersen. – København, 1932. – 361 s.

1935 г.

21. Осоргин, М. А. Книга о концах [Текст] : роман / М. А. Осоргин ; предисл. от авт. ; обложка работы Ю. П. Анненкова. – Берлин : Петрополис, 1935. – 260 с.

1936 г.

22. Ossorgin, M. A. Terrorister [Текст] / M. A. Ossorgin. – København, 1936. – 270 s.

1937 г.

23. Осоргин, М. А. Вольный каменщик [Текст] : повесть / М. А. Осоргин. – Париж : Дом Книги, 1937. – 258 с.

24. Осоргин, М. А. Повесть о некоей девице [Текст] : старинные рассказы / М. А. Осоргин. – Таллинн : Русская книга, 1938. – 264 с.

1938 г.

25. Осоргин, М. А. Происшествия зеленого мира [Текст] / М. А. Осоргин ; предисл. от авт. ; обложка работы Ф. С. Рожанковского. – София, 1938. – 173 с.

1944 г.

26. Ossorgin, M.A. Die Geschichte meiner Schwester [Текст] / М. А. Ossorgin; Aus dem Russischen übertr. von Waldemar Jollos. – Zürich : Artemis, 1944. – 178 z.

1946 г.

27. Осоргин, М. А. В тихом местечке Франции: Июнь - декабрь 1940 г. [Текст] / М. А. Осоргин ; предисл. от авт. – Paris : YMCA-Press, 1946. – 223 с.

1947 г.

28. Осоргин, М. А. По поводу белой коробочки: рассказы [Текст] / М. А. Осоргин. – Париж : YMCA-PRESS, 1947. – 173 с.

29. Ossorguine, M. A. Une rue à Moscou (Sivtzev vrajek) [Текст] : roman / М. А. Ossorguine; Traduction Léo Lak. – Paris : J. Vigneau, 1947. – 483 p.

1952 г.

30. Осоргин, М. А. Письма о незначительном, 1940–1942 [Текст] / М. А. Осоргин ; с предисл. М. Алданова. – Нью-Йорк : Изд-во им. Чехова, 1952. – 388 с.

1955 г.

31. Осоргин, М. А. Времена [Текст] / М. А. Осоргин. – Париж : (Paris Impr. ALON), 1955. – 186 с.

1968 г.

32. Osorgin, M. A. Un vicolo di Mosca [Текст] / М. А. Osorgin. – Milano : Bompiani, 1968. – 401 p.

1973 г.

33. Ossorguine, M. A. Saisons [Текст] / M. A. Ossorguine ; traduit par A. Barda et S. Tecoutoff. – Lausanne : L'Age d'homme, 1973. – 197 p.
34. Ossorguine, M. A. Une rue à Moscou [Текст] / M. A. Ossorguine ; traduit par L. Lack. – Lausanne : L'Age d'Homme, 1973. – 477 p.

1982 г.

35. Osorgin, M. A. Selected stories, reminiscences, and essays / M. A. Osorgin ; edited and translated by D. M. Fiene. – Ann Arbor (Mich.) : Ardis, 1982. – 231 p.

1987 г.

36. Osorgin, M. A. Dalla piccola casetta / M. A. Osorgin ; traduzione e postfazione di Anastasia Pasquinelli. – Trento : Reverdito, 1987. – 179 p.

1989 г.

37. Осоргин, М. А. Времена [Текст] : автобиограф. повествование ; Романы / М. А. Осоргин ; сост. Н. М. Пирумова ; вступ. ст. А. Л. Афанасьева ; послесл. В. Дольникова. – М. : Современник, 1989. – 622 с.
38. Осоргин, М. А. Заметки старого книгоеда [Текст] / М. А. Осоргин ; сост., вступ. ст. и примеч. О. Ласунского. – Пермь : Книга, 1989. – 285 с.

1990 г.

39. Осоргин, М. А. Сивцев Вражек [Текст] : роман, повесть, рассказы / М. А. Осоргин ; сост., предисл. и коммент. О. Авдеевой. – М. : Моск. рабочий, 1990. – 703 с.

1992 г.

40. Осоргин, М. А. Вольный каменщик [Текст] : повесть, рассказы / М. А. Осоргин ; предисл. О. Ю. Авдеевой, А. И. Серкова ; коммент. А. И. Серкова ; художник В. Никитин. – М. : Моск. рабочий, 1992. – 337 с.
41. Осоргин, М. А. Воспоминания [Текст] ; Повесть о сестре / М. А. Осоргин ; сост., вступит. ст., примеч. О. Г. Ласунского. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1992. – 416 с.
42. Осоргин, М. А. Времена [Текст] : романы и автобиографическое повествование / М. А. Осоргин ; сост. и примеч. Е. С. Зашихина. – Екатеринбург : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1992. – 608 с.
43. Осоргин, М. А. Мемуарная проза [Текст] / М. А. Осоргин ; сост., предисл. и примеч. О. Г. Ласунского. – Пермь : Кн. изд-во, 1992. – 286 с.

1994 г.

44. Ossorguine, M. A. Les gardiens des livres [Текст] / M. A. Ossorguine ; dessins d'Alexeï Rémyzov. Poèmes et de Marina Tsvétaïeva ; trad. du russe par Sophie Benech. – Paris : Interférences, 1994. – 115 p.

1996 г.

45. Ossorguine, M. A. Les jeux du destin [Текст] / M. A. Ossorguine ; traduits, annotés et postfacés par: Elsa Gribinski. – [?], 1996. – 210 p.

1997 г.

46. Osorgin, M. A. Un russo in Italia [Текст] / M. A. Osorgin; a cura di Anastasia Pasquinelli. – Torino : Tirrenia Stampatori, 1997. – 198 p.
47. Ossorguine, M. A. Les jeux du destin: récitsm [Текст] / M. A. Ossorguine; trad. du russe par Elsa Gribinski. – Paris : Autrement, 1997. – 160 p.

1999 г.

48. Осоргин, М. А. Сивцев Вражек [Текст] / М. А. Осоргин ; сост. и примеч. В. Н. Дядичева, А. С. Иванова ; предисл. В. Н. Дядичева. – М.: Панорама, 1999. – 462 с.
49. Осоргин, М. А. Собрание сочинений [Текст] : в 2 т. / редкол.: Т. А. Бакунина-Осоргина, О. Авдеева, И. Бочарова ; художник Е. Б. Чупрыгин ; сост., вступ. ст., коммент. и послесл. О. Авдеевой. – М.: Моск. рабочий : Интелвак, 1999.
- Т. 1 : Сивцев Вражек ; Повесть о сестре ; Рассказы. – 542 с.
- Т. 2 : Старинные рассказы. – 560 с.
50. Ossorguine, M. A. L'histoire de ma sœur [Текст] : roman / M. A. Ossorguine ; trad. du russe et annot. par Marie Leymarie ; préf. de Jacques Catteau. – Paris : Ed. des Syrtes, 1999. – 187 p.
51. Russische Literatur des 20. Jahrhunderts [Текст] : Beiträge zu Aldanov, Annenskij, Brjusov, Gumilev, Morsen, Muratov, Nabokov, Osorgin / Vsevolod Setschkareff ; herausgegeben von W. Kasack. – München : Verlag Otto Sagner in Kommission, 1999. – 288 p.

2001 г.

52. Ossorguine, M. A. Témoin de l'histoire: roman [Текст] / M. A. Ossorguine; Trad. du russe Any Barda. – Paris: Lausanne, 2001. – 228 p.
53. Ossorguine, M. A. Une rue à Moscou: roman [Текст] / M. A. Ossorguine; Trad. du russe par Léo Lack. –Paris: l'Âge d'homme, 2001. – 297 p.

2003 г.

54. Осоргин, М. А. Московские письма, 1897-1903 [Текст] / М. А. Осоргин. – Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2003. – 206 с.: ил. – (Материалы Лаб. гор. культуры и СМИ Перм. ун-та ; Вып. 1).
55. Осоргин, М. А. Свидетель истории [Текст] ; Книга о концах : Романы. Рассказы / М. А. Осоргин ; сост., вступ. ст., примеч. О. Ю. Авдеевой. – М. : НПК «Интелвак», 2003. – 496 с.

2005 г.

56. Осоргин, М. А. Времена [Текст] ; Происшествия зеленого мира / М. А. Осоргин ; сост., примеч., вступ. ст. О. Ю. Авдеевой. – М. : Интелвак, 2005. – 445 с.

57. Осоргин, М. А. В тихом местечке Франции [Текст] ; Письма о незначительном / М. А. Осоргин ; сост., примеч. О. Ю. Авдеевой. – М.: Интелвак, 2005. – 540 с.

2007 г.

58. Осоргин, М. А. Заметки старого книгоеда ; Воспоминания [Текст] / М. А. Осоргин ; [сост. и примеч. О. Ю. Авдеевой]. – М. : Интелвак, 2007. – 798 с.

2008 г.

59. Осоргин, М. А. Времена [Текст] / М. А. Осоргин. – Пермь, 2008. – 140 с.

2009 г.

60. Осоргин, М. А. Времена [Текст] : рассказы ; автобиографическое повествование / М. А. Осоргин. – Пермь : Кн. площадь, 2009. – 367 с.

2013 г.

61. Ossorgin, M. Der Freimaurer [Текст] / Michail Ossorgin ; Übersetzung: Erich Liaunigg. – Wien : Edition Liaunigg e.U., 2013. – 252 s.

2015 г.

62. Ossorgin, M. Eine Strasse in Moskau [Текст] : roman / Michail Ossorgin. Aus dem Russ. übers., mit Anmerkungen und

einem Nachwort vers. von Ursula Keller unter Mitarb. von Natalja Sharandak. – Berlin : AB - Die Andere Bibliothek, 2015. – 519 s.

2016 г.

63. Ossorgin, M. Zeugen der Zeit [Текст] : romane / Michail Ossorgin ; aus dem Russischen übersetzt, mit Anmerkungen und einem Nachwort versehen von Ursula Keller unter Mitarbeit von Natalja Sharandak. – Berlin : AB - Die Andere Bibliothek GmbH & Co.KG, 2016. – 546 s.

Статъи

1897 г.

64. Ильин, М. А. Московские письма I [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1897. – 21 нояб. – С. 3.
65. Ильин, М. А. Московские письма II [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1897. – 14 дек. – С. 2–3.

1898 г.

66. М-и-н. Два мгновения [Текст] : (новогодняя фантазия) / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1898. – 1 янв. – С. 4.
67. Ильин, М. А. Московские письма III [Текст] : (от нашего корр.) / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1898. – 1 янв. – С. 4.
68. Ильин, М. А. Московские письма [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1898. – 22 февр. – С. 3–4. (По России).
69. М.И-н. Московские письма VII [Текст] : (от нашего корр.) / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1898. – 13 марта. – С. 3. (По России).

70. М.И.-н. Московские письма VIII [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1898. – 19 марта. – С. 4. (По России).
71. М.И. Московские письма [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1898. – 9 апр. – С. 3. (По России).
72. М.И. Московские письма [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1898. – 23 апр. – С. 4. (По России).
73. Ильин, М. А. В. Г. Белинский [Текст] : по поводу 50-летия со дня его смерти / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1898. – 24 мая. – С. 3.
74. И. По поводу чествования памяти В. Г. Белинского [Текст] : (письмо в редакцию) / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1898. – 9 июня. – С. 3.
75. Ильин, М. А. Бесплатная народная библиотека в Перми [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1898. – 21 июня. – С. 3.
76. И-н, М. По поводу концертов г. Славянского [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1898. – 11 июля. – С. 3. (Театр и музыка).
77. И-н, М. О стремящихся к высшему образованию [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1898. – 12 июля. – С. 2.
78. И-н, М. Реклама [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1898. – 2 авг. – С. 2. (Летучие заметки).
79. И-н, М. По наклонной плоскости [Текст] : из студенческой жизни / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1898. – 12 авг. – С.3.
80. И. Свет и тени [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1898. – 13 авг. – С. 2.
81. И. Пермь или Екатеринбург? [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1898. – 15 авг. – С. 2.
82. И-н, М. Бег в ногу с черепахой [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1898. – 15 авг. – С. 3.
83. Ильин, М. А. Император Александр II и его реформы [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1898. – 18 авг. – С. 2-3.

84. М. И. Царь-Освободитель, Царь мученик Александр II ; Поручик Д. Н. Ломан [Текст] : библиография / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1898. – 21 авг. – С. 4.
85. М. И. Концерт г-жи Диковской [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1898. – 22 авг. – С. 3. (Театр и музыка).
86. И. «Учреждение высшего учебного заведения в провинциальном городе, это целое событие для всего края...» [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1898. – 23 авг. – С. 2.
87. М.И. Студенческий вечер [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1898. – 27 авг. – С. 3. (Театр и музыка).
88. И. Свет и тени [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1898. – 29 авг. – С. 2.
89. мi. Москва (От нашего корреспондента) [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1898. – 18 сент. – С. 3. (Театр и музыка).
90. М. И. Московские письма I [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1898. – 20 сент. – С. 3.
91. мi. Театр и музыка [Текст] : (от нашего корр.) / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1898. – 25 сент. – С. 3.
92. М. И. Московские письма II [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1898. – 26 сент. – С. 3.
93. И-н, М. Классицизм и новые языки [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1898. – 29 сент. – С. 2.
94. И-н, М. Московские письма III [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1898. – 4 окт. С. 3-4.
95. И-н, М. Московские письма: IV [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1898. – 11 окт. – С. 3.
96. мi. Москва [Текст] : (от нашего корр.) / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1898. – 13 окт. – С.3. (Театр и музыка).
97. И-н, М. Один из насущных вопросов [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1898. – 18 окт. – С. 2-3.

98. Ильин, М. А. Кое-что об учащих и учащихся [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1898. – 21 окт. – С. 2.
99. Ильин, М. А. Письмо в редакцию [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1898. – 24 окт. – С. 3.
100. М. И. Московские письма V [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1898. – 31 окт. – С. 3.
101. Мi. Москва [Текст] : (от нашего корр.) / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1898. – 5 нояб. – С. 2–3. (Театр и музыка).
102. М. И. Московские письма VI [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1898. – 5 нояб. – С. 3.
103. И-н, М. Московские письма VII [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1898. – 6 нояб. – С. 3–4.
104. И-н, М. К столетию со дня рождения А. С. Пушкина [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1898. – 8 нояб. – С. 2.
105. И-н, М. Московские письма X [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1898. – 20 нояб. – С. 3.
106. И-н, М. Московские письма XI [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1898. – 21 нояб. – С. 3.
107. И-н, М. Московские письма XII [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1898. – 26 нояб. – С. 3.
108. И-н, М. Московские письма XIII [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1898. – 29 нояб. – С. 3–4.
109. Мi. Москва [Текст] : (от нашего корр.) / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1898. – 5 дек. – С. 3. (Театр и музыка).
110. И. Москва [Текст] : (от нашего корр.) / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1898. – 8 дек. – С. 3. (Наука, искусство, литература).
111. Ильин, М. А. К ходатайству о продолжении пермь-тюменской железной дороги до Тобольска [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1898. – 9 дек. – С. 2.
112. И-н, М. Московские письма XIV [Текст] : (от нашего корр.) / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1898. – 13 дек. – С. 3.

113. Мі. Москва [Текст] : (от нашего корр.) / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1898. – 20 дек. – С. 3. (Театр и музыка).
114. Ильин, М. А. Московские письма XV [Текст] : (от нашего корр.) / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1898. – 23 дек. – С. 3.
115. М. И. Москва [Текст] : (от нашего моск. корр.) / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1898. – 31 дек. – С. 3. (Наука, искусство и литература).

1899 г.

116. И-н, М. Москва [Текст] : (от нашего моск. корр.) / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1899. – 10 янв. – С.3-4. (По России).
117. Мі. Театр и музыка [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1899. – 24 янв. – С. 3.
118. М. И. Москва [Текст] : (от нашего корр.) / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1899. – 24 янв. – С. 3. (По России).
119. Ильин, М. А. А. С. Грибоедов [Текст] : (к 70-летию со дня кончины) / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1899. – 24 янв. – С. 3. (Наука, искусство и литература).
120. М. И. Москва [Текст] : (от нашего корр.) / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1899. – 27 янв. – С. 3. (По России).
121. М. И. Москва [Текст] : (от нашего корр.) / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1899. – 28 янв. – С. 3. (По России).
122. М. И. К чествованию памяти А. С. Пушкина [Текст] : (от нашего моск. корр.) / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1899. – 30 янв. – С.2.
123. мі. Чествование Н. М. Медведевой : (от нашего корр.) / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1899. – 30 янв. – С. 3. (Театр и музыка: Москва).
124. М. И. Москва [Текст] : (от нашего моск. корр.) / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1899. – 31 янв. – С. 3. (По России).

125. Ильин, М. А. Михаил Афанасьевич Афанасьев [Текст] : (из моих воспоминаний) / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1899. – 5 февр. – С. 2.
126. М. И. Москва [Текст] : (от нашего моск. корр.) // Пермские губернские ведомости. – 1899. – 16 февр. – С. 3. (По России).
127. М. И. Москва [Текст] : (от нашего моск. корр.) / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1899. – 17 фев. – С.4. (По России).
128. М. И. Москва [Текст] : (от нашего корр.) [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1899. – 18 фев. – С. 3. (По России).
129. И-н, М. Пермь или Иркутск? [Текст] : (к перевозке чая) / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1899. – 16 марта. – С.2. (От нашего моск. корр.).
130. И-н, М. Еще раз о перевозке чая [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1899. – 24 марта. – С. 3. (От нашего моск. корр.).
131. М. И. Москва [Текст] : (от нашего корр.) / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1899. – 24 марта. – С. 3. (По России).
132. И-н, М. Новый роман гр. Л. Н. Толстого [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1899. – 1 апр. – С. 2.
133. И. Арестантский вагон [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1899. – 11 апр. – С. 4. (Маленький фельетон).
134. И. Благотворительница [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1899. – 14 апр. – С. 3.
135. И-н, М. Бывшие товарищи [Текст] : (посв. Е. Ч.) / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1899. – 18 мая. – С. 3.
136. Ильин, М. А. А. С. Пушкин [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1899. – 26 мая. – С. 2–3.
137. М. И. Дневник москвича [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1899. – 18 авг. – С. 3.
138. мi. Москва [Текст] : (от нашего корр.) / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1899. – 25 авг. – С. 3. (Театр и музыка).

139. М. И. Дневник москвича [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1899. – 26 авг. – С. 3.
140. М. И. Дневник москвича [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1899. – 4 сент. – С. 3.
141. М. И. Дневник москвича [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1899. – 10 сент. – С. 3.
142. И-н, М. Дневник москвича [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1899. – 11 сент. – С. 3.
143. И. Дневник москвича [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1899. – 17 сент. – С. 3.
144. М. И. Дневник москвича [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1899. – 25 сент. – С. 3.
145. Москва [Текст] : (от нашего корр.) / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1899. – 28 сент. – С. 3. (По России).
146. М. И. Дневник москвича [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1899. – 14 окт. – С. 3.
147. М. И. Театр и музыка [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1899. – 15 окт. – С. 3.
148. М. И. Дневник москвича [Текст] : (от нашего корр.) [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1899. – 20 окт. – С. 3. (По России).
149. М. И. Дневник москвича [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1899. – 29 окт. – С. 3.
150. И-н, М. Дневник москвича [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1899. – 31 окт. – С. 4.
151. И. Москва [Текст] : (от нашего корр.) / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1899. – 16 дек. – С. 3. (По России).
152. И-н, М. Условность в сценическом искусстве [Текст] : (письмо из Москвы) / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1899. – 18 дек. – С. 2.

1900 г.

153. Ильин, М.А. Письмо в редакцию [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1900. – 5 янв. – С. 3.

154. Осоргин, М.А. Чествование А. М. Жемчужникова [Текст] : сообщение к юбилею поэта / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1900. – 18 февр. – С. 3
155. М. И. Театр и музыка [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1900. – 3 мая. – С. 3.
156. И. Театр и музыка [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1900. – 3 мая. – С. 3.
157. М. И. Театр и музыка [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1900. – 6 июня. – С. 3.
158. М. И. Г. А. Джаншиев [Текст] : (некролог) / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1900. – 26 июля. – С. 2.
159. И. К вопросу о быте фармацевтов [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1900. – 30 июля. – С. 2.
160. М. И. Театр и музыка [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1900. – 12 авг. – С. 3.
161. Ильин, М. А. Грядущие реформы средней школы [Текст] : (к учеб. сезону) / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1900. – 20 авг. – С. 2.
162. М. И. Театр и музыка [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1900. – 26 авг. – С. 3.
163. М. И. Театр и музыка [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1900. – 21 сент. – С. 2.
164. М. И. Московские письма: I [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1900. – 26 сент. – С. 4.
165. М. И. Москва [Текст] : (от нашего корр.) / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1900. – 11 окт. – С. 2–3. (Театр и музыка).
166. М. И. Московские письма [Текст] : (от нашего корр.) / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1900. – 12 окт. – С. 3.
167. И. Москва [Текст] : (от нашего корр.) / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1900. – 12 окт. – С. 3. (По России).
168. М. И. Московские письма [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1900. – 17 окт. – С. 3.
169. М. И. Москва [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1900. – 17 окт. – С. 3. (Театр и музыка).

170. М. И. Московские письма [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1900. – 27 окт. – С. 3.
171. М. И. Московские письма [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1900. – 1 нояб. – С. 3.
172. М. И. Театр и музыка [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1900. – 4 нояб. – С. 2.
173. М. И. Московские письма [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1900. – 12 нояб. – С. 3.
174. М. И. Театр и музыка [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1900. – 21 нояб. – С. 4.
175. И-н, М. Московские письма [Текст] : (Худож. Общедост. театр) / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1900. – 25 нояб. – С. 2–3.
176. И-н, М. Московские письма [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1900. – 26 нояб. – С. 4.
177. М. И. Московские письма [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1900. – 28 нояб. – С. 3.
178. И. Московские письма [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1900. – 5 дек. – С. 3.

1901 г.

179. И-н, М. Нововековая фикция [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1901. – 1 янв. – С. 2.
180. М. И. Татьянин день [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1901. – 12 янв. – С. 3.
181. И-н, М. Московские письма [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1901. – 23 марта. – С. 4.
182. И-н, М. Московские письма [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1901. – 4 мая. – С. 4–5.
183. И-н, М. В защиту правых [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1901. – 31 мая. – С. 3.
184. И-н, М. К истории одного учреждения [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1901. – 10 июня. – С. 3.
185. И-н, М. Почему мы не знаем России [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1901. – 12 июня. – С. 1–2.

186. М. И. Wunderkind [Текст] : (a propos) / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1901. – 17 июня. – С. 4.
187. И-н, М. Письмо в редакцию [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1901. – 19 июня. – С. 3.
188. И-н, М. Всякого рода полемика [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1901. – 22 июня. – С. 3.
189. И. Н. Миль. Из дневника наблюдателя [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1901. – 23 июня. – С. 2.
190. И-н, М. Wunderbauer'ы [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1901. – 24 июня. – С. 3.
191. И. Н. Миль. Из дневника наблюдателя [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1901. – 4 июля. – С. 2.
192. М. И. Путевые наброски [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1901. – 8 июля. – С. 4.
193. М. И. Путевые наброски II [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1901. – 11 июля. – С. 2.
194. И-н, М. Осторожно с цифрами [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1901. – 11 июля. – С. 2.
195. И. Н. Миль. Из дневника наблюдателя [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1901. – 14 июля. – С. 2.
196. И. 60 лет со дня кончины М. Ю. Лермонтова [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1901. – 15 июля. – С. 2.
197. М. И-н. Новое положение о средней школе [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1901. – 17 июля, 18 июля, 20 июля, 21 июля, 22 июля, 24 июля, 27 июля. – С. 2.
198. И. Н. Миль. Из дневника наблюдателя [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1901. – 28 июля. – С. 2.
199. И. Н. Миль. Из дневника наблюдателя [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1901. – 4 авг. – С. 2.
200. И. Н. Миль. Из дневника наблюдателя [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1901. – 11 авг. – С. 2.

201. М. И. Предисловие к публикации «О моем отце» [Текст] : (автобиогр. записки одного крестьянина) / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1901. – 15 авг. – С. 2.
202. И. Н. Миль. Из дневника наблюдателя [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1901. – 25 авг. – С. 2.
203. И. Н. Миль. Из дневника наблюдателя [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1901. – 2 сент. – С. 2.
204. И. Н. Миль. Из дневника наблюдателя [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1901. – 8 сент. – С. 2.
205. И-н, М. Московские письма, 17 октября [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1901. – 26 окт. – С. 3.
206. И-н, М. Московские письма II, 21 октября [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1901. – 28 окт. – С. 4.
207. И-н, М. Московские письма III [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1901. – 11 нояб. – С. 4.
208. М. И. Московские письма IV, 1 ноября [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1901. – 14 нояб. – С. 4.
209. И-н, М. Московские письма, 16 ноября [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1901. – 25 нояб. – С. 4.
210. М. И. Московские письма VII, 24 ноября [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1901. – 14 дек. – С. 4.

1902 г.

211. И-н, М. Московские письма IX, 8 января [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1902. – 15 янв. – С. 3.
212. И-н, М. Московские письма [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1902. – 18 янв. – С. 3.

213. И-н, М. Московские письма, 30 января [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1902. – 7 февр. – С. 3.
214. И-н, М. Московские письма, 3 мая [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1902. – 17 мая. – С. 2–3.
215. И-н, М. Московские письма, 8 сентября [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1902. – 17 сент. – С. 3.
216. Ильин, М. А. Московские письма, 10 сентября [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1902. – 18 сент. – С. 3.
217. И-н, М. Московские письма, 17 сентября [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1902. – 26 сент. – С. 4.
218. И-н, М. Московские письма, 21 сентября [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1902. – 29 сент. – С. 5.
219. М. И. Московские письма, 21 октября [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1902. – 30 окт. – С. 2–3.
220. М. И. Московские письма, 22 октября [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1902. – 3 нояб. – С. 3.
221. И-н, М. Московские письма, 6 ноября [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1902. – 16 нояб. – С. 3 .
222. И-н, М. Московские письма, 8 ноября [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1902. – 17 нояб. – С. 3.

1903 г.

223. И-н, М. Московские письма, 23 марта [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1903. – 6 апр. – С. 4.

224. И-н, М. Московские письма, 26 марта [Текст] : Леонид Андреев / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1903. – 11 апр. – С. 3.
225. Ильин, М. А. Из дневника наблюдателя [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1903. – 10 авг. – С. 3–4.
226. Ильин, М. А. Из дневника наблюдателя [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1903. – 12 авг. – С. 3.
227. Ильин, М. А. На собачьем дворе [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1903. – 14 авг. – С. 2–3.
228. Ильин, М. А. Из дневника наблюдателя [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1903. – 15 авг. – С. 2–3.
229. М. И. Театр и музыка [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1903. – 24 авг. – С. 4.
230. М. И. Театр и музыка [Текст] : о выступлении г-жи Зенкель / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1903. – 26 авг. – С. 3.
231. М. И. Результаты работы комиссии по народному образованию [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1903. – 11 и 12 сент. – С. 2
232. Ильин, М. А. Московские письма, 25 ноября [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1903. – 6 дек. – С. 5.
233. И-н, М. Московские письма, 29 ноября [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1903. – 12 дек. – С. 3.
234. И-н, М. Московские письма, 30 ноября [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1903. – 17 дек. – С. 3.

1904 г.

235. Осоргин, М. А. О благотворительном спектакле в пользу Красного Креста Перми [Текст] / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1904. – 19 февр. – С. 3. (Театр и музыка).

236. Осоргин, М. А. Сцена и школа [Текст] : спор об ученических спектаклях / М. А. Осоргин // Пермские губернские ведомости. – 1904. – 28 нояб. – С. 2.

1907 г.

237. Осоргин, М.А. «Недозревший читатель» [Текст] : о публичной городской библиотеке : (фельетон) // Пермские губернские ведомости. – 1907. – 10 янв. – С. 3.

1923 г.

238. Осоргин, М. А. Итальянское письмо [Текст] // Воля России. – 1923. – № 15. – С. 34–45.

239. Осоргин, М. А. Книжная лавка писателей [Текст] // Новая рус. книга. – Берлин, 1923. – № 3/4. – С. 38–40.

240. Осоргин, М. А. Николай Иванович [Текст] : (из воспоминаний) // На чужой стороне : ист.-лит. сб. / под ред. С. П. Мельгунова. – Берлин ; Прага, 1923. – № 3. – С. 88–105.

241. Осоргин, М. А. Отец Яков [Текст] // На чужой стороне : ист.-лит. сб. / под ред. С. П. Мельгунова. – Берлин ; Прага, 1923. – № 2. – С. 88–105.

242. Осоргин, М. А. [Рец. на кн.: Белый, А. Записки чудака : в 2 т. – М. ; Берлин : Геликон, 1922.] [Текст] // Новая рус. книга. – Берлин, 1923. – № 5/6. – С. 18–19.

243. Осоргин М. А. Этюды о писателях [Текст] : Б. Зайцев / М. А. Осоргин // Новая рус. книга. – 1923. – № 3/4. – С. 8–9.

1924 г.

244. Осоргин, М. А. Чтобы лучше ощущать свободу [Текст] : (из «Воспоминаний») / М. А. Осоргин // На чужой стороне. – Берлин ; Прага, 1924. – № 8. – С. 109–122.

245. Осоргин, М. А. Неизвестный по прозвищу Вернер [Текст] // На чужой стороне / под ред. С. Мельгунова ; при участии Е. Ляцкого, В. Мякотина. – Берлин ; Прага, [1924]. – [Сб. 4]. – С. 191–203.

246. Осоргин, М. А. Венок памяти малых [Текст] // На чужой стороне : ист.-лит. сб. / под ред. С. П. Мельгунова. – Берлин ; Прага, 1924. – С. 101–118.
247. Осоргин, М. А. Ответ соблазнителя [Текст] // Последние новости. – Париж, 1924. – № 1208 (30 марта). – С. 2.
248. Осоргин, М. А. Блокнот [Текст] // Последние новости. – Париж, 1924. – № 1415 (4 дек.). – С. 2.

1926 г.

249. Осоргин, М. А. Милое имя – Наташа [Текст] : (начало) // Перезвоны. – 1926. – № 9. – С. 241–244.
250. Осоргин, М. А. Милое имя – Наташа [Текст] : (окончание) // Перезвоны. – 1926. – № 10. – С. 273–279.
251. Осоргин, М. А. [Рец. на кн.: Сирин, В. Машенька. – Берлин, 1926] [Текст] // Совр. записки. – 1926. – № 28. – С. 474–476.

1927 г.

252. Осоргин, М. А. Дневник отца [Текст] // Последние новости. – Париж, 1927. – № 2398 (16 октября). – С. 13, 3; 15, 3.
253. Осоргин, М. А. Дни Турбиных [Текст] : [рец. на кн.: Булгаков, М. Белая гвардия] / М. А. Осоргин // Новое рус. слово. – Нью-Йорк, 1927. – 20 ноября. – № 5411. – С. 10.
254. Осоргин, М. А. Портрет матери [Текст] // Последние новости. – Париж, 1927. – № 2364 (12 сентября). – С. 13, 2; 15, 2.
255. Осоргин, М. А. [Рец. на кн.: Булгаков, М. Дни Турбиных (Белая гвардия). – Париж: Concorde. – Т. 1. – 1927] [Текст] / М. А. Осоргин // Последние новости. – Париж, 1927. – 20 окт. – С. 3.

1928 г.

256. Осоргин, М. А. Благословенные дни [Текст] / М. А. Осоргин // Русская земля : альманах для юношества : (ко дню рус. культуры) / под ред. В. В. Зеньковского, А. М. Чернаго

; обложка работы Ф. С. Рожанковского ; портреты А. А. Гефтера. – Paris, 1928. – С. 29–35.

257. Осоргин, М. А. М. Горький. Жизнь Клим Самгина: сорок лет [Текст] / М. А. Осоргин // Дни. – 1928. – 25 марта. – № 1369. – С. 4.

258. Осоргин, М. А. Книжная лавка писателей [Текст] / М. А. Осоргин // Временник Общества друзей русской книги.– Париж, 1928 . – Вып. II. – С. 19–32.

259. Осоргин, М. А. Париж, 13 мая [Текст] / М. А. Осоргин // Дни. – 1928. – 13 мая. – № 1416. – С. 3.

260. Осоргин, М. А. [Рец. на кн.: Набоков, В. Король, дама, валет. – Берлин : Слово, 1928] [Текст] / М. А. Осоргин // Последние новости – Париж, 1928. – 4 окт. – С. 3.

1929 г.

261. Осоргин, М. А. Дни Турбиных [Текст] / М. А. Осоргин // Последние новости. – Париж, 1929. – 11 апр. – № 2941. – С. 3.

262. Осоргин, М. А. Земля [Текст] // Последние новости. – Париж, 1929. – № 3084 (1 сентября). – С. 15, 1 ; № 3090 (7 сентября). – С. 120, 55-56.

1930 г.

263. Осоргин, М. А. Возлюбленный [Текст] : похвальное слово / М. А. Осоргин // Последние новости. – Париж, 1930. – 10 апр. – С.2.

264. Осоргин, М. А. Мудрый [Текст] / М. А. Осоргин // Последние новости. – Париж, 1930. – 30 марта. – № 3294. – С. 5.

265. Осоргин, М. А. Литературная анкета [Текст] / М. А. Осоргин // Числа : сб. / под ред. И. В. Манциарли, Н. А. Оцуа. – Париж, 1930. – С. 318–322.

1931 г.

266. Осоргин, М.А. Для кого писать [Текст] / М. А. Осоргин // Числа : сб. / под ред. И. В. Манциарли, Н. А. Оцуа. – Париж, 1931. – С. 283–285.

1932 г.

267. Осоргин М. А. О Пелагее Брюэр и Гретхен Мещерской [Текст] / М. А. Осоргин // Последние новости. – Париж, 1932. – 4 сент. – № 4183. – С. 5.
268. Осоргин М. А. План предисловия [Текст] / М. А. Осоргин // Последние новости. – Париж, 1932. – 17 авг. – № 4165. – С. 3.
269. Осоргин, М. А. Рукописные книги московской лавки писателей 1919-1921 [Текст] // Временник Общества друзей русской книги / ред. Г. Лозинский, Я. Полонский. – Париж, 1932. – Т. 3. – С. 49–60.
270. Осоргин М. А. [Рец. на роман В. В. Набокова «Подвиг»] [Текст] / М. А. Осоргин // Последние Новости. – Париж, 1932. – 27 окт.

1933 г.

271. Осоргин, М. А. Кузины [Текст] // Последние новости. – Париж, 1933. – № 4352 (20 февраля). – С. 120 ; № 4353 (21 февраля). – С. 95, 96.
272. Осоргин, М. А. По городам [Текст] // Последние новости. – Париж, 1933. – № 45678 (24 сентября). - (из цикла «Встречи»).

1934 г.

273. Осоргин, М. А. Калейдоскоп [Текст] / М. А. Осоргин // Инвалиды : лит. сб. / под ред. А. Андреевой ; вступ. ст. от ред. – Париж, 1934. – С. 23–26.
274. Осоргин М.А. О себе [Текст] / М. А. Осоргин // Калифорнийский альманах 1934 / редкол.: Н. Л. Лаврова, Е. А. Малоземова, В. И. Шнеерова, П. П. Балакшина ; Лит.-худож. кружок в Сан-Франциско. – Сан-Франциско, 1934. – С. 115–116.
275. Осоргин М. А. Посолонь [Текст] / М. А. Осоргин // Памяти руссаго студенчества : сб. воспоминаний конца XIX – начала XX вьковъ / редкол.: П. А. Бобринский, Б. Н. Беляев, А. П. Матвеев, С. К. Сочивко ; вступ. слово от изд-ва ; обложка Ф.

С. Рожанковского ; виньетки и заставки В. Ф. Кривуца, Ф. С. Рожанковского. – Париж, 1934. – С. 11-16.

276. Осоргин М.А. [Рец. на кн.: Набоков, В. В. Камера обскура] [Текст] / М. А. Осоргин // Совр. Записки. – Париж, 1934. - № 54. – С. 458-460.

1935 г.

277. Осоргин, М. А. Рассказы бесхитростного [Текст] : [очерк об А. Т. Болотове] // Последние новости. – Париж, 1935. – 3 июня.

1937 г.

278. Осоргин М. А. Убийство по суду [Текст] / М. А. Осоргин // Русские записки. – 1937. – № 1. – С. 192–204.

279. Ossorguine M. A. Exposé de l'histoire de la musique religieuse en Russie [Текст] / М. А. Ossorguine // Exposition internationale de 1937 à Paris. Congrès international de musique sacrée, chant et orgue organisé par l'Union des Maîtres de chapelle et Organistes. – Paris, 1937. – P. 122-128.

1938 г.

280. Осоргин, М. А. Детство (начало) [Текст] / М. А. Осоргин // Рус. записки. – 1938. - № VI. – С. 65–89.

281. Осоргин, М. А. Детство (окончание) [Текст] / М. А. Осоргин // Рус. записки. – 1938. – № VII. – С. 58–71.

282. Осоргин, М. А. Московский журнал [Текст] // Временник Общества друзей русской книги / ред. Г. Лозинский, Я. Полонский. – Париж, 1938. – Т. 4. – С. 105–112.

283. Осоргин, М. А. Повесть о некоей девице : Старинные рассказы [Текст] / М. А. Осоргин ; обложка работы Ю. Анненкова. – Таллинн : Б.и., 1938 . – 264 с.

284. Осоргин М.А. Юность [Текст] / М. А. Осоргин // Рус. записки. – 1938. – № X. – С. 7–46.

1941 г.

285. Осоргин, М. А. Конец русской свободной печати [Текст] / М. А. Осоргин // *Bonniers litterara magasin*. – Stockholm, 1941. – № 7. – P. 567–570.

1942 г.

286. Осоргин, М. А. Времена [Текст] // *Новый журнал*. – 1942. – № I. – С. 78–93 ; № II. – С. 59–73 ; № III. – С. 40–55.

1943 г.

287. Осоргин, М. А. Времена [Текст] // *Новый журнал*. – 1943. – № IV. – С. 5–21 ; № V. – С. 5–22.

1973 г.

288. Осоргин, М. А. Заметки старого книгоеда [Текст] / М. А. Осоргин // *В мире книг*. – 1973. – № 5. – С. 87–90 ; № 8. – С. 90–93.

1981 г.

289. Осоргин, М. А. Противоречия [Текст] : (А. Соболев) // *Глагол* : [альманах «Ардиса»] / Ed. C. Proffer, E. Proffer . – Ann Arbor, 1981. – Вып. 3. – С. 241–251.

1982 г.

290. Осоргин, М. А. Доля писателя в разные времена ; Оцениваю человека [Текст] : литературные размышления / М. А. Осоргин // *Урал*. – 1982. – № 8. – С. 167.

1988 г.

291. Осоргин, М. Великие друзья [Текст] / М. А. Осоргин //

Сов. библиография. – 1988. – № 1. – С. 69 – 81.

1989 г.

292. Осоргин, М. А. Как мы торговали [Текст] / М. А. Осоргин ; [публ. Т. А. Осоргиной] // Наше наследие = Our heritage. – М., 1989. – № 6. – С. 131–132.
293. Осоргин, М. А. Книжная лавка писателей [Текст] / предисл. и подгот. текста С. Шумихина // Наше наследие = Our heritage. – М., 1989. – № 6. – С. 124–132.
294. Осоргин, М. А. Времена [Текст] : воспоминания / М. А. Осоргин ; вступ. ст. О. Ласунского // Уральский следопыт. – 1989. – № 1. – С. 10–24 ; № 2. – С. 15–27 ; № 3. – С. 55–66 ; № 4. – С. 57–71.
295. Осоргин М. А. Путаница эпох [Текст] : этюд о Салтыкове-Щедрине / М. А. Осоргин // Лит. Россия. – 1989. – № 19 (12 мая). – С. 11.
296. Осоргин М.А. Поэт Марина Цветаева [Текст] / М. А. Осоргин // Лит. газ. – 1989. – № 49. – 6 дек.
297. Осоргин, М. А. О Борисе Зайцеве [Текст] / М. А. Осоргин // Лит. газ. – 1989. – № 49. – 6 дек.

1990 г.

298. Осоргин, М. А. Вагон [Текст] ; Россия : рассказы / М. А. Осоргин // Лит. газ. – 1990. – 31 окт.
299. Осоргин, М. А. Как мы уехали [Текст] / М. А. Осоргин ; публ. В. В. Сапова // Социол. исслед. – М., 1990. – № 5. – С. 117–124.
300. Осоргин, М. А. Крылатые слова ; Филология русской души [Текст] / М. А. Осоргин // Рус. речь. – 1990. – № 1.
301. Осоргин, М. А. Письма М.А. Осоргина Марку Вишняку [Текст] / М. А. Осоргин // Новый журнал. – 1990. – № 178. – С. 277–303.
302. Осоргин, М. А. Российские журналы [Текст] / М. А. Осоргин // Литература русского зарубежья: 1920–1925 / науч. ред. А. Л. Афанасьев ; вступ. ст. А. Л. Афанасьева ; сост. В. В.

Лавров ; ред.: А. Б. Гудович, Ю. В. Устинов. – М., 1990. – С. 360–364.

303. Осоргин, М. А. Старинные рассказы [Текст] / М. А. Осоргин ; вступ. ст. М. Алданова ; публ. и послесл. С. Никоненко // Юность. – 1990. – № 5. – С. 62–77.

304. Осоргин, М. А. Там, где был счастлив [Текст] / М. А. Осоргин // Литература русского зарубежья. 1920-1925 / науч. ред. А. Л. Афанасьев ; вступ. ст. А. Л. Афанасьева ; сост. В. В. Лавров ; ред.: А. Б. Гудович, Ю. В. Устинов. – М., 1990. – С. 167–178.

305. Осоргин, М. А. Тем же морем... [Текст] / М. А. Осоргин // Смена. – 1990. – № 8. – С. 274–281.

1991 г.

306. Осоргин, М. А. Гриша – череподробитель [Текст] / М. А. Осоргин // Столица. – 1991. – № 23. – С. 42–43.

307. Осоргин, М. А. Кама [Текст] : рассказ : из кн. «Там, где был счастлив» / М. А. Осоргин // Мысль. – 1991. – № 1 (5–10 авг.). – С. 4.

308. Осоргин, М. А. Литературные размышления [Текст] / М. А. Осоргин // Вопр. лит. – 1991. – № 6. – С. 278–310.

309. Осоргин, М. А. Мемуарная проза и эссе [Текст] / М. А. Осоргин // Подъем. – Воронеж, 1991. – № 8. – С. 75–148.

310. Осоргин, М. А. По Москве [Текст] : очерк / М. А. Осоргин // Сов. библиография. – 1991. – № 2. – С. 127–135.

311. Осоргин, М. А. Российские журналы [Текст] / М. А. Осоргин // Литература русского зарубежья : антология / науч. ред. А. Афанасьев ; сост. В. Лавров ; указатель В. Лаврова ; ред. А. Гудович, Ю. Устинов. – М., 1991. – Т. 1, кн. 2 : 1920–1925. – С. 360–364.

312. Осоргин, М. А. Язык русской литературы [Текст] / М. А. Осоргин // Рус. речь. – 1991. – № 2.

1992 г.

313. Осоргин, М. Из творческого наследия ; Воспоминания [Текст] / М. А. Осоргин // Урал. – 1992. – № 4. – С. 130–154.
314. Осоргин, М. А. Эмигранты [Текст] / М. А. Осоргин // Столица. – 1992. – № 49. – С. 58–59.
315. Разговор «через решетку» [Текст] : [переписка М. А. Осоргина с врачом А. С. Буткевичем (Париж-Москва, 1936-1937 гг.)] / публ. А. Серкова // Звенья : ист. альманах. – СПб., 1992. – Вып. 2. – С. 489-536.

1993 г.

316. Осоргин, М. Литературные размышления [Текст] / вступ. заметка О. Ласунского // Альманах библиофила. – М., 1993. – Вып. 28. – С. 202-297.
317. Осоргин, М. А. Милое имя – Наташа: Рассказ [Текст] / М. А. Осоргин // Лепта. – 1993. – № 4. – С. 105–163.
318. Осоргин, М. А. Мудрый [Текст] : очерк / М. А. Осоргин // Слово. – 1993. – № 5/6. – С. 6–7.
319. Осоргин, М. А. «Отговорила роща золотая...» [Текст] : (памяти Сергея Есенина) // Русское Зарубежье о Есенине : эссе, очерки, рецензии, статьи / вступ. статья, сост. и коммент. Н. Шубниковой-Гусевой. – М., 1993. – Кн. 2. – С. 45–47.
320. Осоргин, М. А. Суета сует и томление духа [Текст] / М. А. Осоргин // Новое время. – 1993. – № 21. – С. 58–59.

1994 г.

321. Московские корреспонденции М. Осоргина на страницах «Пермских губернских ведомостей» [Текст] / вступ. ст. Л. В. Поликовской // Михаил Осоргин: Страницы жизни и творчества. – Пермь, 1994. – С. 101-125.
322. Осоргин, М. А. Известные по качеству ; Егошиха [Текст] / М. А. Осоргин // Родное Прикамье : учеб. хрестоматия / авт.-сост. Д. А. Красноперов. – Пермь, 1994. – С.88, 92–96.
323. Осоргин, М. А. Личное мнение [Текст] : [статья начала XX в. о полит. жизни] / публ., вступ. ст. и коммент. Л. В. Поликовской // De visu. – М., 1994. - № 3/4. – С. 3-7.

324. Осоргин, М. А. Рассказы бесхитростного [Текст] : [очерк об А. Т. Болотове] / публ. подгот. А. Серков // Родина. – 1994. – № 5. – С. 95-97.

1995 г.

325. Осоргин, М. А. Из автобиографического повествования «Времена» [Текст] / М. А. Осоргин // Русское зарубежье : хрестоматия по литературе / сост. В. Е. Кайгородова, В. И. Бурдин, М. А. Петрова. – Пермь, 1995. – С. 60–67.

326. Осоргин М.А. Из старинных рассказов [Текст] / М. А. Осоргин // Лепта. – 1995. – № 24. – С. 3–38.

327. Осоргин, М. А. Повесть о некоей девице [Текст] / М. А. Осоргин // Русское зарубежье : хрестоматия по литературе / сост. В. Е. Кайгородова, В. И. Бурдин. М. А. Петрова. – Пермь, 1995. – С. 229–242.

328. Осоргин, М. А. Поправка к повести И. П. Белкина [Текст] : [рассказ] // Даугава. – Рига, 1995. – № 2 (190) . – С. 153–156.

329. Осоргин, М. А. Продолжение «Призрака» М. Лермонтова [Текст] // Даугава. – Рига, 1995. – № 2 (190). – С. 157–160.

1996 г.

330. Неопубликованная речь М. Осоргина [Текст] : [речь на юбилее еврейского писателя Шолома Аша (1930 г.)] / вступ. заметка, публ. и примеч. Л. Поликовской // Вопр. лит. – 1996. – Вып. 5. – С. 375-377.

331. Михаил Осоргин о Борисе Зайцеве [Текст] / М. А. Осоргин ; публикация А. М. Иванов // Русская мысль = La pensee russe. – Париж, 1996 . – № 4133 (10 июля). – С. 11, 12.

1997 г.

332. Осоргин, М. А. Книжная лавка писателей [Текст] / М. А. Осоргин // Московский альбом: Воспоминания о Москве и москвичах XIX – XX веков / сост.: Ю. Н. Александров, В. П. Енишерлов, Д. Иванов ; предисл. Д. Швидковского ; коммент. Ю. Н. Александрова ; под ред. Д. Иванова ; художник А. Рюмин

; иллюстрации Е. Голицыной, Ю. Гроссе, Е. Хохловой. – М., 1997. – С. 339–350.

333. Осоргин, М. А. В. Сирин. «Камера обскура»: роман. Берлин, 1934 [Текст] // В. В. Набоков: pro et contra : личность и творчество Владимира Набокова в оценке русских и зарубежных мыслителей и исследователей : антология / сост.: Б. Аверин, М. Маликова, А. Долинин ; коммент. Е. Белодубровского, Г. Левинтона, М. Маликовой, В. Новикова ; вступ. статья А. Битова ; Русский Христианский гуманитарный ин-т. – Санкт-Петербург, 1997. – С. 240–241.

1998 г.

334. Осоргин, М. А. В тихом местечке Франции [Текст] / М. А. Осоргин // Русский Париж / сост., предисл. и коммент. Т. П. Буслаковой ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М., 1998. – С. 330-349.

335. Осоргин, М. А. Игрок [Текст] : рассказ // Современное русское зарубежье / сост.: П. В. Басинский, С. Р. Федякин. – М., 1998. – С. 122–129.

336. Осоргин, М. А. Исповедь мастера [Текст] / М. А. Осоргин // Масонство и русская культура / сост., предисл. и коммент. В. И. Новикова ; оформление В. К. Завадовской. – М., 1998. – С. 404-413.

337. Осоргин, М. А. «Etoile du Nord» [Текст] / М. А. Осоргин // Масонство и русская культура / сост., предисл. и коммент. В. И. Новикова ; оформление В. К. Завадовской. – М., 1998. – С. 387–390.

338. Осоргин, М. А. Кишиневский случай [Текст] : (рассказ по архивным документам) / М. А. Осоргин // Тайна Пушкина : из прозы и публицистики первой эмиграции / сост., предисл. и коммент. М. Д. Филина ; оформление В. М. Мельникова. – М., 1998. – С. 116–126.

339. Осоргин, М. А. Памяти Пушкина [Текст] // Масонство и русская культура / предисл., сост. и коммент. В. Новикова. – М., 1998. – С. 334–343.

340. Осоргин, М. А. Письма о незначительном [Текст] / М. А. Осоргин // Русский Париж / сост., предисл. и коммент. Т.

П. Буслаковой ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М., 1998. – С. 350–361.

341. Осоргин, М. А. Путь русского вольного каменщика [Текст] / М. А. Осоргин // Массонство и русская культура / сост., предисл. и коммент. В. И. Новикова ; оформление В. К. Завадовской. – М., 1998. – С. 414–425.

342. Осоргин, М. А. Речь 20 января 5936 г. [Текст] / М. А. Осоргин // Массонство и русская культура / сост., предисл. и коммент. В. И. Новикова ; оформление В. К. Завадовской. – М., 1998. – С. 378–386.

343. Осоргин, М. А. Речь 24 февраля 5936г. [Текст] / М. А. Осоргин // Массонство и русская культура / сост., предисл. и коммент. В. И. Новикова ; оформление В. К. Завадовской. – М., 1998. – С. 368–373.

344. Осоргин, М. А. Ритуал и традиция [Текст] / М. А. Осоргин // Массонство и русская культура / сост., предисл. и коммент. В. И. Новикова ; оформление В. К. Завадовской. – М., 1998. – С. 391–403.

345. Осоргин, М. А. Символическое миропонимание [Текст] // Массонство и русская культура / сост., предисл. и коммент. В. И. Новикова ; оформление В. К. Завадовской. – М., 1998. – С. 374–377.

346. Осоргин, М. А. Судьба зарубежной книги [Текст] / М. А. Осоргин // Русский Париж / сост., предисл. и коммент. Т. П. Буслаковой ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М., 1998. – С. 268–280.

347. Осоргин, М. А. Человек, похожий на Пушкина [Текст] / М. А. Осоргин // Тайна Пушкина : из прозы и публицистики первой эмиграции / сост., предисл. и коммент. М. Д. Филина ; оформление В. М. Мельникова. – М., 1998. – С. 105–115.

1999 г.

348. Осоргин, М. А. Из маленького домика (Москва, 1917-1919) [Текст] : повесть [Текст] / М. А. Осоргин // Сивцев Вражек / М. А. Осоргин ; сост. и примеч.: В. Н. Дядичева, А. С. Иванова ; предисл. В. Н. Дядичева. – М., 1999. – С. 311–380.

349. Осоргин, М. А. Милое имя – Наташа [Текст] : рассказ / М. А. Осоргин // Сивцев Вражек / М. А. Осоргин ; сост. и примеч.: В. Н. Дядичева, А. С. Иванова ; предисл. В. Н. Дядичева. – М., 1999. – С. 419–433.
350. Осоргин, М. А. Певец кабачков [Текст] / М. А. Осоргин // Сивцев Вражек / М. А. Осоргин ; сост. и примеч.: В. Н. Дядичева, А. С. Иванова ; предисл. В. Н. Дядичева. – М., 1999. – С. 381–395.
351. Осоргин, М. А. Ресницы [Текст] : рассказ / М. А. Осоргин // Сивцев Вражек / М. А. Осоргин ; сост. и примеч.: В. Н. Дядичева, А. С. Иванова ; предисл. В. Н. Дядичева. – М., 1999. – С. 414–418.
352. Осоргин, М. А. Сивцев Вражек [Текст] : роман / М. А. Осоргин // Сивцев Вражек / М. А. Осоргин ; сост. и примеч.: В. Н. Дядичева, А. С. Иванова ; предисл. В. Н. Дядичева. – М., 1999. – С. 31–310.
353. Осоргин, М. А. Там, где был счастлив [Текст] : рассказ / М. А. Осоргин // Сивцев Вражек / М. А. Осоргин ; сост. и примеч.: В. Н. Дядичева, А. С. Иванова ; предисл. В. Н. Дядичева. – М., 1999. – С. 396–413.
354. Осоргин, М. А. Пушкин – «вольный каменщик» [Текст] / М. А. Осоргин // Пушкин в эмиграции 1937 / вступ. ст., сост. и коммент. В. Перельмутера. – М., 1999. – С. 346–352.

2001 г.

355. «Мы можем быть только летописцами...» [Текст] : письма М. Осоргина А. Полякову (1940-1942) / публ. О. Демидовой // Диаспора : новые материалы. – Париж ; СПб., 2001. – Вып. 1. – С. 422-476.

2002 г.

356. Осоргин, М. А. «Как нас уехали» [Текст] : из воспоминаний // «Философский пароход»: год 1922-й : историографические этюды / М. Е. Главацкий ; оформление В. С. Солдатова ; Урал. ун-т. – Екатеринбург, 2002. – С. 197–202.

357. Осоргин, М. А. О «молодых писателях» [Текст] // Критика русского зарубежья : в 2 ч. / сост., авт. примеч. О. А. Коростелев, Н. Г. Мельников. – М., 2002. – Ч. 1. – С. 139–142.
358. Осоргин, М. А. Переписка [Письма М. А. Осоргина и М. Горького] [Текст] / М. А. Осоргин, М. Горький ; вступ. ст., публ. и примеч. И. А. Бочаровой // С двух берегов : рус. лит. XX в. в России и за рубежом / ред.: Р. Дэвис Р., В. А. Келдыш ; предисл. В. А. Келдыша ; Рос. Акад. наук, Лит. ин-т им. М. Горького, Лидский ун-т. – М., 2002. – С. 387–539.
359. Осоргин, М. А. Российские журналы [Текст] / М. А. Осоргин // Критика русского зарубежья : в 2 ч. / сост., авт. примеч. О. А. Коростелев, Н. Г. Мельников. – М., 2002. – Ч. 1. – С. 130–139.
360. Осоргин, М. А. Е. И. Замятин [Текст] / М. А. Осоргин // Критика русского зарубежья : в 2 ч. / сост., авт. примеч. О. А. Коростелев, Н. Г. Мельников. – М., 2002. – Ч. 1. – С. 142–150.

2003 г.

361. Осоргин, М. А. Книжная лавка писателей [Текст] / М. А. Осоргин // Первопрестольная далекая и близкая / сост. и коммент. М. Д. Филина ; худож. оформление С. Ю. Губина. – М., 2003. – С. 459–475.
362. Осоргин, М. А. Поэт Марина Цветаева [Текст] / М. А. Осоргин // Марина Цветаева в критике современников / сост. Л. А. Мнухина ; подготовка текста и коммент. Л. А. Мнухина, Е. В. Толкачевой ; предисл. Е. В. Толкачевой ; указатель Г. С. Бернштейн. – М., 2003. – С. 207–210.

2004 г.

363. Осоргин, М. А. Благословенные дни [Текст] / М. А. Осоргин // Аня в Стране Чудес / сост., вступ. ст. и коммент. М. Д. Филина ; худож. оформление С. Ю. Губина. – М., 2004. – С. 47–51.
364. Осоргин, М. А. Борода [Текст] / М. А. Осоргин // Первопрестольная далекая и близкая / сост., вступ. ст. и

коммент. М. Д. Филина ; худож. оформление С. Ю. Губина. – М., 2004. – С. 491–495.

365. Осоргин, М. А. В подмосковном [Текст] / М. А. Осоргин // Первопрестольная далекая и близкая / сост., вступ. ст. и коммент. М. Д. Филина ; худож. оформление С. Ю. Губина. – М., 2004. – С. 460–465.

366. Осоргин, М. А. Великий крысолов [Текст] / М. А. Осоргин // Первопрестольная далекая и близкая / сост., вступ. ст. и коммент. М. Д. Филина ; худож. оформление С. Ю. Губина. – М., 2004. – С. 534–541.

367. Осоргин, М. А. Выбор невесты [Текст] / М. А. Осоргин // Первопрестольная далекая и близкая / сост., вступ. ст. и коммент. М. Д. Филина ; худож. оформление С. Ю. Губина. – М., 2004. – С. 454–459.

368. Осоргин, М. А. Голубой грот [Текст] / М. А. Осоргин // Антология романтики и приключений. – М., 2004. – Т. 2. – С. 262–268.

369. Осоргин, М. А. Голубой конь [Текст] / М. А. Осоргин // Антология романтики и приключений. – М., 2004. – Т. 2. – С. 252–261.

370. Осоргин, М. А. Камер-юнкер Рококо [Текст] / М. А. Осоргин // Первопрестольная далекая и близкая / сост., вступ. ст. и коммент. М. Д. Филина ; худож. оформление С. Ю. Губина. – М., 2004. – С. 510–516.

371. Осоргин, М. А. Любитель смерти [Текст] / М. А. Осоргин // Первопрестольная далекая и близкая / сост., вступ. ст. и коммент. М. Д. Филина ; худож. оформление С. Ю. Губина. – М., 2004. – С. 496–502.

372. Осоргин, М. А. Московский подвижник [Текст] / М. А. Осоргин // Первопрестольная далекая и близкая / сост., вступ. ст. и коммент. М. Д. Филина ; худож. оформление С. Ю. Губина. – М., 2004. – С. 517–520.

373. Осоргин, М. А. Настенькина маета [Текст] / М. А. Осоргин // Первопрестольная далекая и близкая / сост., вступ. ст. и коммент. М. Д. Филина ; худож. оформление С. Ю. Губина. – М., 2004. – С. 466–471.

374. Осоргин, М. А. Озорной колокол [Текст] / М. А. Осоргин // Первопрестольная далекая и близкая / сост., вступ. ст. и

коммент. М. Д. Филина ; худож. оформление С. Ю. Губина. – М., 2004. – С. 485–490.

375. Осоргин, М. А. По Москве [Текст] / М. А. Осоргин // Первопрестольная далекая и близкая / сост., вступ. ст. и коммент. М. Д. Филина ; худож. оформление С. Ю. Губина. – М., 2004. – С. 472–484.

376. Осоргин, М. А. Свечка [Текст] / М. А. Осоргин // Первопрестольная далекая и близкая / сост., вступ. ст. и коммент. М. Д. Филина ; худож. оформление С. Ю. Губина. – М., 2004. – С. 528–533.

377. Осоргин, М. А. Сивцев Вражек : (фрагмент) ; Первый поцелуй ; О «молодых писателях» [Текст] // Возвращенный мир / Правительство Москвы, Департамент международных связей г. Москвы, Московский Дом соотечественников ; науч.-ред. совет: Г. Мурадов, П. Шереметев, А. Горенков, С. Есин ; вступ. слово П. Шереметева. – М., 2004. – Т. 1. – С. 415–422.

378. Осоргин, М. А. Стойкий дворянин Расчетов [Текст] / М. А. Осоргин // Первопрестольная далекая и близкая / сост., вступ. ст. и коммент. М. Д. Филина ; худож. оформление С. Ю. Губина. – М., 2004. – С. 503–509.

2006 г.

379. Ильин, М. Михаил Афанасьевич Афанасьев [Текст] : (из моих воспоминаний) // Михаил Осоргин: Художник и журналист / Пермский гос. ун-т. – Пермь, 2006. – С. 136–137.

380. Осоргин, М. А. Мемуарная проза [Текст] / М. А. Осоргин ; сост., вступ. ст. и примеч. О. Г. Ласунского. – 2-е изд. – Пермь : Дом учителя, 2006. – 204 с. : ил.

381. Осоргин, М. А. Чудеса охраны [Текст] / М. А. Осоргин // Михаил Осоргин: Художник и журналист / Пермский гос. ун-т. – Пермь, 2006. – С. 98–103.

2007 г.

382. Осоргин, М. А. «Великий и могучий» [Текст] // Русский язык в зарубежной России / Правительство Москвы, Департамент межд. связей, Международный совет российских

соотечественников, Московский Дом соотечественников ; науч.-ред. совет: Г. Мурадов, П. Шереметев, А. Горенков, С. Есин ; сост. О. Манихин, В. Тихонов ; предисл. В. Дурновцева. – М., 2007 . – С. 298–301.

383. Осоргин, М. А. Крылатые слова [Текст] // Русский язык в зарубежной России / Правительство Москвы, Департамент межд. связей, Международный совет российских соотечественников, Московский Дом соотечественников ; науч.-ред. совет: Г. Мурадов, П. Шереметев, А. Горенков, С. Есин ; сост. О. Манихин, В. Тихонов ; предисл. В. Дурновцева. – М., 2007 . – С. 292–295.

384. Осоргин, М. А. Филология русской души [Текст] // Русский язык в зарубежной России / Правительство Москвы, Департамент межд. связей, Международный совет российских соотечественников, Московский Дом соотечественников ; науч.-ред. совет: Г. Мурадов, П. Шереметев, А. Горенков, С. Есин ; сост. О. Манихин, В. Тихонов ; предисл. В. Дурновцева. – М., 2007 . – С. 296–297.

385. Осоргин, М. А. Чувство Рима [Текст] / М. А. Осоргин // Русские письма о Риме : сб. / подготовка текста, сост. и послесл. Л. И. Иогансон ; оформление серии В. Каратаевой. – М., 2007. – С. 362–371.

2008 г.

386. Осоргин, М. А. Московский подвижник [Текст] // Город и люди : книга московской прозы / сост. и коммент. В. Калмыковой и В. Перельмутера ; автор проекта В. Перельмутер ; вступ. статья В. Калмыковой ; послесл. В. Перельмутера. – М., 2008. – С. 113–116.

387. Осоргин, М. А. По Москве [Текст] // Город и люди : книга московской прозы / сост. и коммент. В. Калмыковой и В. Перельмутера ; автор проекта В. Перельмутер ; вступ. статья В. Калмыковой ; послесл. В. Перельмутера. – М., 2008. – С. 265–274.

388. Осоргин, М. А. Улыбка Монны-Лизы [Текст] / вступ. заметка и публ. Л. В. Поликовской // Русская литература конца

XIX – начала XX века в зеркале современной науки. – М., 2008.
– С. 400-405.

2009 г.

389. Осоргин, М. А. О «душевной опустошенности» [Текст] // Собрание сочинений : в 5 т. / Г. Газданов ; общ. ред., подгот. текста и сост. Т. Красавченко ; вступ. статья и коммент. Л. Диенеша ; сост., подгот. текста, предисл. и коммент. С. Никоненко, Л. Сыроватко, С. Федякина. – М., 2009. – Т. 5: Письма ; Poleмика ; Современники о Газданове. – С. 325–330.
390. Осоргин, М. А. О «молодых писателях» [Текст] // Собрание сочинений : в 5 т. / Г. Газданов ; общ. ред., подгот. текста и сост. Т. Красавченко ; вступ. статья и коммент. Л. Диенеша ; сост., подгот. текста, предисл. и коммент. С. Никоненко, Л. Сыроватко, С. Федякина. – М., 2009. – Т. 5: Письма ; Poleмика ; Современники о Газданове. – С. 297–299.

2010

391. Осоргин, М. А. Доклад для чтения в масонской ложе [Текст] // Государственно-правовые воззрения русской эмиграции : (1920-е - 1940-е годы) / отв. ред. С. Михальченко ; Брянский гос. ун-т. – Брянск, 2010. – С. 247–249.

2011 г.

392. «В прошлом же – Россия и твоя любовь» [Текст] : письма М. А. Осоргина В. Н. Ключевой [1922-1927 гг.] / публ. И. И. Аброскиной // Встречи с прошлым. – М., 2011. – Вып. 11. – С. 328-370.

2012 г.

393. Осоргин, М. А. Детище Тургенева [Текст] // Русская общественная библиотека имени И. С. Тургенева: Сотрудники. Друзья. Почитатели : сборник статей / ред. Т. Бакунина-

Осоргина, Т. Гладкова ; предисл. Н. Олесич. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 18–22.

394. Осоргин, М. А. Письма М. А. Осоргина (1924–1939) [Текст] / публикация А. Конечного // Русско-итальянский архив = Archivio Russo-italiano. – Салерно, 2012. – Т. IX, кн. 2: Ольга Ресневич-Синьорелли и русская эмиграция : переписка / ред.-сост. Э. Гаретто, А. д'Амелия, К. Кумпан, Д. Рицци. – С. 119–130.

395. Осоргин, М. А. Редкости Тургеневской Библиотеки [Текст] // Русская общественная библиотека имени И. С. Тургенева: Сотрудники. Друзья. Почитатели : сборник статей / ред. Т. Бакунина-Осоргина, Т. Гладкова ; предисл. Н. Олесич. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 68–74.

2013 г.

396. Осоргин, М. А. Андрей Белый [Текст] // Смерть Андрея Белого : документы, некрологи, письма, дневники, посвящения, портреты / сост. М. Спивак, Е. Наседкина. – М., 2013 . – С. 486–500.

397. Осоргин, М. А. Памяти Андрея Белого [Текст] // Смерть Андрея Белого : документы, некрологи, письма, дневники, посвящения, портреты / сост. М. Спивак, Е. Наседкина. – М., 2013 . – С. 485–486.

2014 г.

398. «Я – профессионал дикий и злобный, ни в какой мелочи не уступающий» / М. А. Осоргин [Текст] / публ., вступ. ст. и примеч. А. Данилевского // «Современные записки» (Париж, 1920–1940) : из архива редакции / под ред. О. Коростелева, М. Шрубы. – М., 2014 . – Т. 4. – С. 343–432.

2017 г.

399. Осоргин, М. А. Летопись внутренней жизни [Текст] // Революция 1917 года глазами современников : в 3 т. / ред. совет: В. Журавлев, А. Ненароков, К. Соловьев, А. Сорокин,

В. Шелохаев ; Вступ. статья от сост-лей. – М., 2017. – Т. 2 :
Июнь - Сентябрь / ред.-сост. А. Ненароков ; предисл. В.
Шелохаева. – С. 255–264

Литература о М. А. Осоргине

400. Алданов, М. А. М. А. Осоргин [Текст] // Картина Октябрьской революции ; Исторические портреты ; Портреты современников ; Загадка Толстого / М. А. Алданов ; Рус. христианский гуманитар. ин-т. – СПб., 1999. – С. 307–321 ; то же: Армагеддон : записные книжки, воспоминания, портреты современников / М. А. Алданов ; сост. и примеч. Т. Прокопова. – М., 2006. – С. 468–486.
401. Г-к, А. Первые Осоргинские чтения [Текст] : 23-24 нояб. 1993 г. // De visu. – М., 1994. - № 5. – С. 158-159.
402. Газданов, Г. Осоргин [Текст] // Собрание сочинений : в 5 т. / Г. Газданов ; общ. ред., подгот. текста и сост. Т. Красавченко ; вступ. статья и коммент. Л. Диенеша ; сост., подгот. текста, предисл. и коммент. С. Никоненко, Л. Сыроватко, С. Федякина. – М., 2009. – Т. 3. : Романы ; Рассказы ; Литературная критика и эссеистика ; Массонские доклады. – С. 673–674.
403. Геллер, М. Я. Осоргин – писатель на все времена [Текст] // Новый журнал. – 1988. – № 117. – С. 127-143.
404. Гладышев, В. Белый пароход [Текст] // Пермский пресс-центр. – 1999. – № 4. – С. 78-79.
405. Гладышев, В. Глазами Осоргина [Текст] // Пермские новости. – 1992. – 28 нояб.
406. Гладышев, В. Канонизация писателя состоялась. Что дальше? [Текст] // Пермские новости. – 1993. – 26 нояб.
407. Гладышев, В. Ф. Чего не сделаешь ради любви! : женщины в жизни и творчестве М. Осоргина // М. А. Осоргин и литература русского зарубежья : материалы VIII региональной науч.-практ. конф. Пермь, 19 окт. 2011 г. / редкол.: Н. К. Оконская (науч. ред.), Л. В. Масалкина (отв. ред.) ; М-во образования и науки РФ, Пермский нац. исслед. политехн. ун-т. – Пермь, 2012. – С. 47-54.
408. Гутин, А. Романтик, революционер и член масонской ложи [Текст] : к 120-летию со дня рождения М. Осоргина // Независимая газ. (Кулиса НГ). – 1998. - № 18 (6 нояб.). – С. 15.

409. Давыдов, Д. Гений места [Текст] : [рец. на кн.: Михаил Осоргин: Художник и журналист. – Пермь, 2006. – 232 с.] // Кн. обозрение. – 2007. - № 12. – С. 9.
410. Жохов, А. В. О любивших мудрость и Россию [Текст] // Михаил Осоргин и вечные ценности русской культуры : материалы науч.-практ. конф. – Пермь, 2003. – С. 48–49.
411. Забеженский, Г. Жизнь и творчество М. А. Осоргина [Текст] : к десятилетию со дня его смерти // Новое рус. слово. – Нью-Йорк, 1952. – 5 октября. – С. 8.
412. Забытые имена: Михаил Осоргин [Текст] : (краткая история жизни и творчества) / мат. подгот. Г. Кустова // Искра Прикамья. – 1994. – 4 марта.
413. Зайцев, Б. К. Осоргин [Текст] // Мои современники = *My contemporaries* / Б. К. Зайцев ; сост. Н. Зайцева-Соллогуб ; вступ. статья Б. Филиппова ; предисловие от сост-ля. – London, 1988. – С. 129–132.
414. Зайцева, Е. Осоргин – «наше все...» [Текст] : к 120-летию писателя М. Осоргина // Пермские новости. – 1998. – 11 июня (№ 89). – С. 14.
415. Иванов, А. Вечер на Сивцевом Вражке [Текст] : памяти М. Осоргина [Текст] // Рус. мысль = *La pensee russe*. – Париж, 1992. – № 3958 (11 дек.). – С. 16-17.
416. Казаков, М. П. Осоргин [Текст] // Отечество. – 1993. - № 28 (окт.). – С. 5.
417. Куличкина, Г. Время возвращать долги [Текст] // Вечерняя Пермь. – 1996. – 22 октября.
418. Куприн, А. [М. А. Осоргин] [Текст] // Новая газета. – 1931. – № 2. – С. 5.
419. Ласунский, О. Г. В память о Михаиле Осоргине [Текст] // Новое рус. слово. – Нью-Йорк, 1996. – 7-8 декабря. – С.
420. Ласунский, О. Г. Крестник Камы [Текст] // Осоргин, М. А. Мемуарная проза. – Пермь, 1992. – С. V-XXXII.
421. Ласунский, О. Г. Крестник Камы [Текст] // Осоргин, М. А. Мемуарная проза. – 2-е изд. – Пермь, 2006. – С. 5-18.
422. Ласунский, О. Г. Литературная биография [Текст] // Вопр. лит. - 1991. – № 6. – С. 278–283.
423. Ласунский, О. Г. Михаил Осоргин: структура, качество и эволюция таланта [Текст] // Михаил Осоргин: Страницы жизни и творчества. – Пермь, 1994. – С. 5–13.

424. Ласунский, О. Г. Похвала Михаилу Осоргину [Текст] // Михаил Осоргин и вечные ценности русской культуры : материалы науч.-практ. конф. – Пермь, 2003. – С. 4–5.
425. Ласунский, О. Г. Право на искренность [Текст] : [о жизни и творчестве М. А. Осоргина] // Уральский следопыт. – 1989. – № 1. – С. 10.
426. Ласунский, О. Г. Талант и его поклонники [Текст] // Вечерняя Пермь. – 1994. – 1 февр.
427. Ласунский, О. Г. Цветы с Родины [Текст] : [о жизни и творчестве М. А. Осоргина] // Лит. газ. – 1989. – № 49 (6 дек.). – С. 6.
428. Лобанова, Г. И. «Россия осталась в сердце...» [Текст] : к 120-летию со дня рождения М. А. Осоргина // Вестн. Вост. ин-та экономики, гуманитар. наук, упр. и права. Филология. – Уфа, 1998. – № 7. – С. 73-75.
429. Марченко, Т. В. Осоргин [Текст] // Литература русского зарубежья, 1920-1940 / отв. ред. О. Н. Михайлов ; Рос. Акад. наук, Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького. – М., 1993. – С. 286–320.
430. Марченко, Т. В. Осоргин Михаил Андреевич [Текст] // Литературная энциклопедия Русского Зарубежья 1918-1940. Писатели Русского Зарубежья / гл. ред. А. Н. Николукин. – М., 1997. – С. 297-300.
431. Марченко, Т. Осоргин Михаил Андреевич [Текст] // Русское Зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть XX века : энциклопедический биограф. словарь / под общ. ред. В. В. Шелохаева ; отв. ред. Н. И. Канищева. – М., 1997. – С. 472-474.
432. Материалы к биографии М. Осоргина [Текст] ; Критика о творчестве М. Осоргина // Современное русское зарубежье / сост. П. В. Басинский, С. Р. Федякин. – М., 1998. – С. 393-402.
433. Михаил Осоргин и вечные ценности русской культуры [Текст] : материалы науч.-практ. конф. / науч. ред. В. А. Кайдалов. – Пермь, 2003. – 82 с.
434. Михаил Осоргин: Страницы жизни и творчества [Текст] : материалы науч. конф. «Осоргинские чтения» (23-24 нояб. 1993 г.) / [редкол.: В. В. Абашев (отв. ред.) и др.]. – Пермь : Перм. ун-т, 1994. – 127 с. : портр.
435. Нохрина, Н. Л. Из истории литературного краеведения Прикамья [Текст] // Михаил Осоргин и вечные ценности русской

- культуры : материалы науч.-практ. конф. – Пермь, 2003. – С. 56–57.
436. Оконская, Н. К. О судьбах русской интеллигенции [Текст] // Михаил Осоргин и вечные ценности русской культуры : материалы науч.-практ. конф. – Пермь, 2003. – С. 49–52.
437. Осоргин (Ильин) Михаил Андреевич (7.10.1878, г. Пермь – 27.11.1942, г. Шабри, Франция), писатель [Текст] // Башкирская энциклопедия : в 7 т. / гл. ред. М. А. Ильгамов. – Уфа, 2008. – Т. 4: Л-О. – С. 568.
438. Сборовский, В. Приключения с Осоргиным [Текст] // Пермские новости. – 1992. – 17 окт. – С. 13.
439. Славин, В. Возвращение Осоргина [Текст] // Местное время. – Пермь, 1993. – 27 нояб.
440. Спешилова, Е. Он оставался верен себе и Родине [Текст] : М. А. Осоргин // Веч. Пермь. – 1998. – 20 февр.
441. Сухих, И. Н. Писатель с философского парохода : (Михаил Андреевич Осоргин) [Текст] // От... и до... : этюды о русской словесности / И. Н. Сухих ; предисл. автора. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 664–700.
442. Тарасенко, О. Уфимская сирень Михаила Осоргина [Текст] / О. Тарасенко, П. Федоров // Уфа. – 2009. - № 4. – С. 76-79.
443. Толстой, И. «Семейный» Осоргин [Текст] // Рус. мысль = La pensee russe. – Париж, 2000. – № 4299 (6–12 янв.). – С. 14.
444. Федоров, В. Михаил Осоргин: «Жизнь продолжается» [Текст] // Пермские новости. – 1996. – 16 окт.
445. Федоров, П. Билет на «философский» пароход был в один конец... [Текст] : нам остается вернуть из «эмиграции» творческое наследие писателя М. Осоргина // Республика Башкортостан. – 2009. – 13 янв. – С. 3.
446. Федоров, П. И. Возвращение [Текст] : [о жизни и творчестве М. А. Осоргина] // Живая память : краеведческий сб. / сост. М. Г. Рахимкулов, В. А. Скачилов. – Уфа, 1997. – С. 331-339.
447. Федоров, П. Возвращение к М. Осоргину [Текст] : [к 130-летию со дня рождения М. А. Осоргина и новых книгах о нем, вышедших в Уфе] // Словесность. – Уфа, 2008. - № 28 (окт.-нояб.). – С. 3.

448. Федоров, П. Долгое возвращение [Текст] : 130-летие рус. писателя-эмигранта М. Осоргина достойно отметили не только в Перми, Париже, Риме и Нью-Йорке, но и на родине его родителей – в нашем городе // Веч. Уфа. – 2008. – 20 нояб. – С. 3.
449. Федоров, П. Посредник двух культур [Текст] : [жизнь и судьба М. А. Осоргина] // Белый лист (Лит.-худож. прилож. к газ. “Волга-Урал”). – 1992. - № 3. – С. 15.
450. Филатова, А. И. Осоргин Михаил [Текст] // Русские писатели, XX век : биобиблиогр. словарь : в 2 ч. / под ред. Н. Н. Скатова. – М., 1998. – Ч. 2.: М-Я. – С. 148-151.
451. Харитоновна, Е. Русский парижанин из Перми [Текст] : М. А. Осоргин // Досуг. – 1992. – 27 нояб.
452. Черта, Т. Европа его знает [Текст] : писатель М. Осоргин // Меркурий. – 1993. – 16 окт.
453. Fiene, D. M. Life and Work of M. Osorgin, 1878-1942 [Текст] : diss. / D. M. Fiene ; Indiana Univ. – [?], 1974. – 294 p.
454. Fiene, D. M. M. Osorgin – The Last Mogician of the Russian Intelligentsia [Текст] // Russian Literature triquarterly. – 1979. – P. 6.
455. [Mikhail Osorgin] [Текст] // Columbia Dictionary of Modern European Literature. – Columbia University Press, 1980. – P. 585.
456. [Mikhail Osorgin] [Текст] // A Russian Cultural Revival: A Critical Anthology of Émigré Literature Before 1939. Edited and translated by T. Pachmuss. – Knoxville : University of Tennessee Press, 1981. – P. 189–191.
457. Pasquinelli, A. La vita e le opinioni di M. A. Osorgin [Текст] / A. B. Pasquinelli. – Firenze : La nuova Italia, 1986. – 236 p.

Биография М. А. Осоргина и его окружения

458. Авдеева, О. Ю. Свидетель истории [Текст] : вехи жизни Михаила Осоргина // Времена ; Происшествия зеленого мира / М. А. Осоргин ; сост., примеч., статья О. Ю. Авдеевой. – М., 2005. – С. 351–391.
459. Безелянский, Ю. Н. Осоргин: революционер, ставший оппозиционером [Текст] // Отечество. Дым. Эмиграция :

- Русские поэты и писатели вне России / Ю. Н. Безелянский ; вступ. статья от авт. – М., 2016 . – С. 221–225.
460. Богданов, А. П. Персональная история. Исповедь судьбы [Текст] : [о М. А. Осоргине] // Вопр. истории. – 2002. - № 7. – С. 170-171.
461. Богданова, Е. М. М. А. Осоргин – иностранный корреспондент «Русских ведомостей» [Текст] // Известия Пензенского гос. пед. ун-та им. В. Г. Белинского. Обществ. науки. – Пенза, 2012. - № 27, ч. 1. – С. 207-211.
462. Весновский, В. А. С. А. Ильин [Текст] : некролог // Пермские губернские ведомости. – 1914. – 15 июля.
463. Власова, Е. Г. Поэтическое творчество С. А. Ильина в истории пермской литературы начала века [Текст] // Пермский край: прошлое и настоящее : (к 200-летию образования Пермской губернии) : материалы междунар. науч.-практ. конф. Пермь, 28–29 мая 1997г. – Пермь, 1997. – С.149–151.
464. Геллер, М. Я. Писатель и власть [Текст] : Михаил Осоргин // Михаил Осоргин: Страницы жизни и творчества. – Пермь, 1994. – С. 86-89.
465. Геллер, М. Я. Писатель и власть [Текст] : Михаил Осоргин // Вместо мемуаров : памяти М. Я. Геллера : сб. / сост.: Л. Геллер, Н. Зеленко. – М., 2000. – С. 215–218.
466. Гилева, С. Михаил Осоргин [Текст] : биография на фоне Камы // Пермские квартиры. – 2000. – № 46 (25 нояб.-1 дек.). – С. 22.
467. Гладышев, В. Ф. Итальянские скрещенья судеб братьев Сведомских и Михаила Осоргина [Текст] // Сведомские в селе Завод-Михайловский : материалы региональной науч.-практ. конф., посвящ. 150-летию со дня рождения П. А. Сведомского / Департамент культуры и искусства администрации Пермской области, Пермский областной краеведческий музей, Чайковский филиал Пермского областного краеведческого музея ; редкол.: В. И. Якунцов, Р. М. Романова, Е. Г. Литвинова ; введ. Р. М. Романовой. – Чайковский, 1999. – С. 52–55.
468. Гладышев, В. Ф. «Несовместимо с моими убеждениями» [Текст] : Что искал Осоргин в секретных архивах царской охраны? // Михаил Осоргин: Художник и журналист / Пермский гос. ун-т. – Пермь, 2006. – С. 92–97.

469. Гудкова, З. Загадка псевдонима [Текст] : к 125-летию М. Осоргина : [о родственных связях М. А. Осоргина с семьей Аксаковых] // Бельские просторы. – 2003. - № 9. – С.171-176.
470. Гудкова, З. И. “Знал и любил по-настоящему” [Текст] : о родстве М. Осоргина с Аксаковым // Веч. Уфа. – 2000. – 21 сент. – С. 2-3.
471. Давыдов, Д. Биография как сюжет : [о кн. Л. Поликовской «Жизнь Михаила Осоргина, или Строительство собственного храма» (СПб., 2014)] // Кн. обозрение. – 2015. - № 23/24. – С. 13.
472. Елина, Н. Роза Гинцберг-Осоргина – дочь Ахад-ха-Ама // Евреи в культуре Русского Зарубежья: 1919–1939 гг. / сост. М. А. Пархомовский. – Бейт-Шемеш, 1993. – Т. 2. – С. 545–565.
473. Зайцева, Е. «Неслучившаяся невеста» [Текст] : героиня мемуарной прозы М. А. Осоргина – К. Чикина, пермская гимназистка, в которую был влюблен писатель // Пермские новости. – 1998. – 14 авг. (№ 119). – С. 14.
474. Зайцева, Е. Зачем я бросал окурки в кратер Везувия [Текст] : 27 ноября 1942 г. ушел из жизни замечательный писатель М. Осоргин // Местное время. – Пермь, 1992. – 26 нояб.
475. Князева, Н. А. Опыт семейного воспитания Осоргиных [Текст] // Михаил Осоргин и вечные ценности русской культуры : материалы науч.-практ. конф. – Пермь, 2003. – С. 63–64.
476. Королев, А. В. Бесконечное бегство [Текст] : (попытка догнать) // Михаил Осоргин: Художник и журналист / Пермский гос. ун-т. – Пермь, 2006. – С. 9–13.
477. Красноперов, Д. «Русский парижанин» [Текст] : писатель М. А. Осоргин (Ильин), живший в Перми // Вечерняя Пермь. – 1988. – 29 сент.
478. Красноперов, Д. А. Сергей Андреевич Ильин – старший брат писателя М. А. Осоргина [Текст] : (из заметок краеведа) // Михаил Осоргин. Страницы жизни и творчества : материалы науч. конф. «Осоргинские чтения» (23–24 ноября 1993 г.). – Пермь, 1994. – С. 90–94.
479. Ласунский, О. Г. “Плохой век для жизни мы себе избрали...” [Текст] : памяти Т. А. Бакуниной-Осоргиной // Библиография. – 1996. - № 2. – С. 103-108. – Список лит.: с. 108-109.

480. Лихачев, Н. П. Грамоты рода Осоргиных [Текст] : [о Ю. Лазаревской] / Н. П. Лихачев. – СПб. : Типография П. В. Мартынова, 1900. – 27 с.
481. Лихачев, Н. П. Грамоты рода Осоргиных [Текст] // Известия Рус. генеалогического общества. – СПб., 1900. – Вып. 1, отд. 3. – С. 14-40.
482. Лобанова, Г. И. “С Аксаковым мы были в родстве...” [Текст] : (М. А. Осоргин и С. Т. Аксаков) // Аксаковские чтения : духовное и литературное наследие семьи Аксаковых : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (28-29 сент. 2001 г.) / М-во культуры и нац. политики РБ, М-во нар. образования РБ, Аксаковский фонд, Башк. ин-т развития образования ; отв. ред. Т. Н. Дорожкина. – Уфа, 2001. – Ч. 1. – С. 63-66.
483. Макарова, В. Н. Савины / В. Н. Макарова, О. С. Тарасенко // Дворянский род Осоргиных в истории и культуре России : Всерос. науч. конф., приуроченная к 135-летию со дня рождения писателя и публициста М. А. Осоргина, 13 дек. 2013 г. / отв. ред. О. С. Тарасенко ; М-во образования РБ, Башк. акад. гос. службы и управления при Президенте РБ, Башк. гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы. – Уфа, 2014. – С. 7-11.
484. М. Т. Россия и Италия: XX век [Текст] : [о 3 вып. альманаха «Россия и Италия», в котором содержится статья Н. П. Комоловой «Русская эмиграция в Италии в начале XX века», посвящ. итальянскому периоду в жизни А. Амфитеатрова, М. Осоргина, М. Горького и др.] // Рус. мысль. – Париж, 1999. – 21 окт. – С. 15.
485. Назарова, Л. Н. Татьяна Алексеевна Осоргина (1904-1995) [Текст] // Рус. лит. – 1996. - № 4. – С. 174-176.
486. Нестерова, Н. В. Просветительская деятельность М. А. Осоргина в 1923-1940 гг. // Русское наследие в странах Восточной и Центральной Европы. – Брянск, 2010. – С. 230-232.
487. Носик, Б. “Единственное, в чем виноваты...” [Текст] : [об участии М. Осоргина в борьбе с голодом в России в 1920-е гг.] // Смена. – 1990. - № 8. – С. 268-273.
488. Осоргина-Бакунина, Т. А. “Хотел бы печататься только в России...” [Текст] : [о писателе М. А. Осоргине : беседа с вдовой писателя Т. А. Осоргиной-Бакуниной / записал Б. Носик] // Кн. обозрение. – 1990. - № 19 (11 мая). – С. 10.

489. Пасквинелли, А. М. Осоргин и экскурсии русских учителей в Италию [Текст] // Михаил Осоргин: Страницы жизни и творчества. – Пермь, 1994. – С. 95-97.
490. Пирумова, Н. Оставался гражданином России [Текст] : писатель М. А. Осоргин, уроженец Перми, начал печататься в «Пермских губернских ведомостях» // Урал. – 1989. – № 5. – С. 5–7.
491. Пискунова, С. [Рец. на кн.: Поликовская, Л. Жизнь Михаила Осоргина, или Строительство собственного храма / Л. Поликовская. – СПб. : Крига; Победа, 2014.] // Вопр. лит. – 2016. - № 1. – С. 382-385.
492. Поликовская, Л. Жизнь Михаила Осоргина, или Строительство собственного храма / Л. Поликовская. – СПб. : Крига; Победа, 2014. – 448 с.
493. Поликовская, Л. М. А. Осоргин [Текст] : биогр. очерк // Антология романтики и приключений. – М., 2004. – Т. 2. – С. 248–251.
494. Поликовская, Л. М. А. Осоргин в собственных рассказах и документах ГПУ [Текст] // Минувшее : ист. альманах. – СПб., 1996. – 19. – С. 199-209.
495. Поликовская, Л. В. Михаил Осоргин: начало пути [Текст] // Библиография. – 1993. – № 2. – С.89–101. – Список лит.: с. 102-104.
496. Раев, М. Памяти Т. А. Осоргиной-Бакуниной [Текст] // Новый журн. = New rev. – Нью-Йорк, 1996. – Кн. 197. – С. 337-338.
497. Решикова, В. А. Высылка из РСФСР [Текст] : [Воспоминания о высылке в 1922 г. на знаменитом «философском» пароходе среди прочих писателя М. А. Осоргина] // Минувшее : ист. альманах. – М.; СПб., 1992. – С. 199–208.
498. Сатаева, Л. В. Духовная связь поколений [Текст] : Аксаковы и Осоргин // Аксаковский сборник / Аксаковский фонд, Мемориальный дом-музей С. Т. Аксакова ; ред.-сост. Г. О. Иванова. – Уфа, 1998. – Вып. 2. – С. 134-139.
499. Сатаева, Л. В. «Чаепитие» на Телеграфной улице, год 1916-й : к 135-летию со дня рождения писателя русского зарубежья М. А. Ильина-Осоргина // Дворянский род Осоргиных в истории и культуре России : Всерос. науч. конф.,

- приуроченная к 135-летию со дня рождения писателя и публициста М. А. Осоргина, 13 дек. 2013 г. / отв. ред. О. С. Тарасенко ; М-во образования РБ, Башк. акад. гос. службы и управления при Президенте РБ, Башк. гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы. – Уфа, 2014. – С. 12-16.
500. Свице, Я. С. Новые материалы по уфимской родословной писателя Михаила Осоргина [Текст] // Река времени. 2012 : Мир южноуральской усадьбы / отв. ред. Ю. М. Абсалямов, М. И. Роднов ; Рос. акад. наук, УНЦ, Ин-т истории, яз. и лит. – Уфа, 2012. – С. 136-151.
501. Свице, Я. С. Племянниковы : (материалы к родословной М. Осоргина) // Дворянский род Осоргиных в истории и культуре России : Всерос. науч. конф., приуроченная к 135-летию со дня рождения писателя и публициста М. А. Осоргина, 13 дек. 2013 г. / отв. ред. О. С. Тарасенко ; М-во образования РБ, Башк. акад. гос. службы и управления при Президенте РБ, Башк. гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы. – Уфа, 2014. – С. 16-22.
502. Свице, Я. С. «Я тебя люблю, земля, меня родившая...» : (новые материалы по уфимской родословной М. Осоргина) // Вестн. Башк. гос. пед. ун-та им. М. Акмуллы. – 2011. - № 3/4 (26). – С. 64-83.
503. Свице, Я. С. «Я тебя люблю, земля, меня родившая...» : (новые материалы по уфимской родословной М. Осоргина) // М. А. Осоргин и литература русского зарубежья : материалы VIII региональной науч.-практ. конф. Пермь, 19 окт. 2011 г. / редкол.: Н. К. Оконская (науч. ред.), Л. В. Масалкина (отв. ред.) ; М-во образования и науки РФ, Пермский нац. исслед. политехн. ун-т. – Пермь, 2012. – С. 77-90.
504. Спешилова, Е. А. Талант на «злобу дня» [Текст] : [о жизни и творчестве С. А. Ильина] // Веч. Пермь. – 1997. – 28 ноябр.
505. Сысоев, В. И. Татьяна Алексеевна Бакунина-Осоргина [Текст] : иллюстрированный биографический очерк / В. И. Сысоев ; предисл. автора. – Тверь : ЗАО СДЦ "Престо", 2005. – 128 с.
506. Тарасенко, О. С. Влияние матерей на становление индивидуальностей С. Т. Аксакова и М. А. Осоргина // Гуманистическое наследие просветителей в культуре и образовании : материалы V Междунар. науч.-практ. конф. 17

- дек. 2010 г. : в 4 т. / отв. ред. А. Ф. Мустаев ; Башк. гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы. – Уфа, 2011. – Т. 4. – С. 76-78.
507. Тарасенко, О. С. К разгадке псевдонима М. А. Осоргина-Ильина : материалы к родословной Осоргиных // Дворянский род Осоргиных в истории и культуре России : Всерос. науч. конф., приуроченная к 135-летию со дня рождения писателя и публициста М. А. Осоргина, 13 дек. 2013 г. / отв. ред. О. С. Тарасенко ; М-во образования РБ, Башк. акад. гос. службы и управления при Президенте РБ, Башк. гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы. – Уфа, 2014. – С. 22-33.
508. Тарасенко, О. С. «С Аксаковыми мы были в тройном родстве...» [Текст] : [о родственных связях писателя М. А. Осоргина с семьей Аксаковых] // Аксаковские чтения : материалы XI Всерос. науч. конф. (Уфа, 2 окт. 2009 г.) / редкол.: В. В. Борисова (отв. ред.) [и др.] ; Башк. гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы, Аксаковский фонд, Мемориальный дом-музей С. Т. Аксакова. – Уфа, 2009. – С. 171-176.
509. Титова, О. А. «Старики Нагаткины» Михаила Осоргина // Дворянский род Осоргиных в истории и культуре России : Всерос. науч. конф., приуроченная к 135-летию со дня рождения писателя и публициста М. А. Осоргина, 13 дек. 2013 г. / отв. ред. О. С. Тарасенко ; М-во образования РБ, Башк. акад. гос. службы и управления при Президенте РБ, Башк. гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы. – Уфа, 2014. – С. 34-40.
510. Унковский, В. У писателя и библиофила [Текст] : М. А. Осоргин – о своей работе, планах и любимых занятиях : [впервые опубликовано в ж. «Рубеж». – Харбин, 1938. - № 14] // Рус. мысль = La pensee russe. – Париж, 1998. – № 4233 (30 июля). – С. 13.
511. Хакимов, С. Х. Г. С. Аксаков и династия Ильиных-Осоргиных // Дворянский род Осоргиных в истории и культуре России : Всерос. науч. конф., приуроченная к 135-летию со дня рождения писателя и публициста М. А. Осоргина, 13 дек. 2013 г. / отв. ред. О. С. Тарасенко ; М-во образования РБ, Башк. акад. гос. службы и управления при Президенте РБ, Башк. гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы. – Уфа, 2014. – С. 40-49.
512. Чуракова, Т. П. Семья Ильиных в Перми [Текст] // Михаил Осоргин: Художник и журналист / Пермский гос. ун-т. – Пермь, 2006. – С. 125–131.

513. Шугрин, Ю. Литература и голод [Текст] : [М. Осоргин и Книжная лавка писателей в Москве в 1920-е гг.] // Независимая газ. – 1996. – 15 февр. – С. 8.
514. Шумихин, С. Михаил Андреевич Осоргин. Книжная лавка писателей // Наше наследие. – 1989. – VI. – С. 124-131.
515. Ярома, О. В. С. А. Ильин и отражение деятельности городской Думы в стихотворных фельетонах [Текст] // История Прикамья XX века в лицах : материалы науч.-практ. конф. 31 мая 2001 г. – Пермь, 2001. – С. 26-30.
516. Pasquinelli, A. Ricordo di Tat'jana Osorgina [Текст] // Slavia. – Roma, 1996. – 5, n. 2/3. – P. 53.

Осоргинские места в России и за рубежом

517. Агте, В. С. Об усадьбе Бакуниных : (с. Прямухино Тверской области) // Дворянский род Осоргиных в истории и культуре России : Всерос. науч. конф., приуроченная к 135-летию со дня рождения писателя и публициста М. А. Осоргина, 13 дек. 2013 г. / отв. ред. О. С. Тарасенко ; М-во образования РБ, Башк. акад. гос. службы и управления при Президенте РБ, Башк. гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы. – Уфа, 2014. – С. 80-85.
518. Бонелло, Г. Л. Вилла «Мария» [Текст] : из истории «русской колонии» в Лигурии // Рус. мысль = La pensee russe / гл. ред. И. Кривова. – Париж, 1997. – 3 сент. – С. 11.
519. Быстрых, Т. И. М. А. Осоргин и пермская гимназия [Текст] // Два рубежа : материалы междунар. науч.-практ. конф. – Пермь, 1998. – С. 134–137.
520. Галатиото, Л. Б. Вилла «Мария» [Текст] : [о пребывании М. А. Осоргина в Италии в 1906 г.] // Рус. мысль = La pensee russe. – Париж, 1997. - № 4186. – С. 11.
521. Желвакова, И. А. «Тогда в Сивцевом...» [Текст] : прогулки по Сивцеву Вражку и воображаемые путешествия в прошлое старого московского переуллка / И. А. Желвакова. – М. : Моск. рабочий, 1992. – 134 с. : ил.
522. Кара-Мурза, А. А. Знаменитые русские в Неаполе : [о пребывании в Неаполе известных деятелей рус. культуры, в том числе, М. А. Осоргина] / А. А. Кара-Мурза. – М. : Изд-во О. Морозовой, 2016. – 575 с. : ил.

523. Куличкина, Г. В. Пермь во снах и наяву [Текст] : (к проблеме правды мемуарной прозы М. Осоргина) // Вестн. Пермского гос. ин-та искусства и культуры. – Пермь, 2006. – Т. 1, № 1. – С. 35-42.
524. Куличкина, Г. В. Пермь как миф и факт [Текст] : по страницам мемуарной прозы М. Осоргина // Михаил Осоргин: Художник и журналист / Пермский гос. ун-т. – Пермь, 2006. – С. 113–125.
525. Ласунский, О. Г. Мемориальная доска Михаилу Осоргину в Перми [Текст] // Рус. мысль = La pensee russe. – Париж, 1996. – № 4154 (19–25 дек.). – С. 16.
526. Ласунский, О. Г. Осоргинские дни в Перми [Текст] // Рус. мысль = La pensee russe. – Париж, 1994. – № 4015 (3-9 февр.). – С. 13.
527. Масалкина, Л. Возвращение «Крестника Камы» [Текст] : [о мемуарной прозе М. Осоргина, посвященной г. Перми] // Осоргин, М. А. Мемуарная проза. – 2-е изд. – Пермь, 2006. – С. 19-21.
528. Осоргино, деревня в Уфимском р-не, относится к Таптыковскому с/с [Текст] // Башкирская энциклопедия : в 7 т. / гл. ред. М. А. Ильгамов. – Уфа, 2008. – Т. 4: Л-О. – С. 568.
529. Ревякина, И. А. М. А. Осоргин о Капри: возвращение к неповторимому [Текст] // Русское зарубежье: история и современность : сб. ст. / ред.-сост. Ю. В. Мухачев, Т. Г. Петрова ; Рос. Акад. наук, ИНИОН, Центр комплексных исслед. рос. эмиграции. – М., 2016. – С. 140-153.
530. Свице, Я. С. Литературно-краеведческая экскурсия «Осоргинские места города Уфы» / Я. С. Свице, О. С. Тарасенко, П. И. Федоров // Музей и проблемы «культурного туризма» : материалы тринадцатого Круглого стола 9-10 апр. 2015 г. / рабочая группа проекта: В. Ю. Матвеев, О. Б. Архипова, А. В. Диденко ; Гос. Эрмитаж. – СПб., 2015. – С. 178-183.
531. Свице, Я. С. Осоргинские места города Уфы // Дворянский род Осоргиных в истории и культуре России : Всерос. науч. конф., приуроченная к 135-летию со дня рождения писателя и публициста М. А. Осоргина, 13 дек. 2013 г. / отв. ред. О. С. Тарасенко ; М-во образования РБ, Башк. акад.

гос. службы и управления при Президенте РБ, Башк. гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы. – Уфа, 2014. – С. 100-124.

532. Свище, Я. Уфа Михаила Осоргина // Истоки. – Уфа, 2015. – № 44 (4 нояб.). – С. 11.

533. Степанов, М. Н. Традиции пермской интеллигенции в создании культурного пространства Перми [Текст] // Михаил Осоргин и вечные ценности русской культуры : материалы науч.-практ. конф. – Пермь, 2003. – С. 16–22.

534. Тарасенко, О. С. М. А. Осоргин и Уфа [Текст] // Научный Башкортостан : альманах / под ред. А. Г. Мустафина ; Акад наук РБ, Башк. гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы. – Уфа, 2009. – № 2. – С. 141-150.

535. Чемляков, В. Возвращение Михаила Осоргина [Текст] : [о селе Осоргино в Башкирии] // Рус. обозреватель. – 2003. – № 7 (12 сент.). – С. 14.

Мировоззрение М. А. Осоргина

536. Абашев, В. В. Человек воды [Текст] : заметки о мистике Михаила Осоргина // Михаил Осоргин: Художник и журналист / Пермский гос. ун-т. – Пермь, 2006. – С. 14–25.

537. Гладышев, В. Ф. Писатель вне политики [Текст] : (о масонстве М. А. Осоргина) // Михаил Осоргин и вечные ценности русской культуры : материалы науч.-практ. конф. – Пермь, 2003. – С. 12–16.

538. Горюнов, Д. В. М. А. Осоргин как представитель русского масонства [Текст] // Михаил Осоргин и вечные ценности русской культуры : материалы науч.-практ. конф. – Пермь, 2003. – С. 52–55.

539. Лапаева, Н. Б. «Письма о незначительном» М. Осоргина [Текст] : антропология против идеологии // Михаил Осоргин и вечные ценности русской культуры : материалы научно-практической конференции. – Пермь, 2003. – С. 8–12.

540. Лобанова, Г. И. «Русская идея» М. Осоргина [Текст] // Роль классических университетов в формировании инновационной среды регионов. Сохранение и развитие родных языков и культур в условиях многонационального государства: проблемы и перспективы : материалы Междунар. науч.-практ.

- конф. (г. Уфа, БГУ, 2-5 дек. 2009 г.) / Башк. гос. ун-т. – Уфа, 2009. – Т. 3. – С. 240-243.
541. Нестерова, Н. В. Общественно-политические взгляды и деятельность М. А. Осоргина : автореф. дис. ... канд. наук; Исторические науки : 07.00.02 / Нестерова Н. В. ; Брянский гос. ун-т им. И. Г. Петровского. – Брянск, 2009. – 23 с.
542. Нестерова, Н. В. Очерк VI. Михаил Андреевич Осоргин : [с приложением доклада М. А. Осоргина, предназначенного для чтения в масонской ложе 31 марта 1947 г.] // Государственно-правовые воззрения русской эмиграции (1920-е – 1940-е годы) : ист.-правовые очерки. – Брянск, 2010. – С. 222-246.
543. Нестерова, Н. В. Проблема просвещения и религии в мировоззрении М. А. Осоргина // Проблемы славяноведения. – Брянск, 2008. – Вып. 10. – С. 172-178.
544. Поликовская, Л. Большая политика и «маленький домик» [Текст] : к 70-летию со дня смерти М. Осоргина : [о его политической публицистике 1916-1919 гг.] // Сиб. огни. – Новосибирск, 2012. - № 4. – С. 139-147.
545. Поликовская, Л. «От национального к общечеловеческому» [Текст] : эпизоды из жизни М. Осоргина : [его отношение к «еврейскому вопросу» и антисемитизму] // Вопр. лит. – 2013. – Вып. 3. – С. 218-238.
546. Разгон, А. О «Русском одиночестве» Михаила Осоргина [Текст] : (по материалам сионистской газеты «Рассвет») : 1919–1939 гг. // Евреи в культуре Русского Зарубежья / сост. М. А. Пархомовский ; под ред. М. А. Пархомовского, Л. Юниверга. – Бейт-Шемеш, 1992. – Т. 1. – С. 13-24.
547. Семенов, В. Л. Этика М. А. Осоргина [Текст] / В. Л. Семенов. – Пермь : Богатырев П.Г., 2003. – 262 с.
548. Серков, А. И. Масонское наследие М. А. Осоргина [Текст] // Михаил Осоргин: Художник и журналист / Пермский гос. ун-т. – Пермь, 2006. – С. 73–76.
549. Серков, А. И. Осоргин Михаил Андреевич [Текст] // Русское масонство. 1731–2000 гг. : энциклопедический словарь / А. И. Серков. – М., 2001. – С. 614–615.

Творчество М. А. Осоргина

550. Абашев, В. В. В крепости чистоты : заметки о слове М. Осоргина // Текст. Поэтика. Стиль : сб. науч. ст. – Екатеринбург, 2004. – С. 78-88.
551. Авдеева, О. Ю. Воспитание души [Текст] / О. Ю. Авдеева, А. И. Серков // Осоргин, М. А. Вольный каменщик : Повесть. Рассказы. – М., 1992. – С. 3-15.
552. Авдеева, О. Ю. «Ласточки непременно прилетят...» [Текст] // Осоргин, М. А. Сивцев Вражек : Роман. Повесть. Рассказы. – М., 1990. – С. 5-36.
553. Авдеева, О. Ю. «Природа мертвой не бывает...» [Текст] : (о книге М. Осоргина «Происшествия зеленого мира») // Михаил Осоргин: Художник и журналист / Пермский гос. ун-т. – Пермь, 2006. – С. 68–72.
554. Агеносов, В. В. «Вольный каменщик» М.А. Осоргин (1878–1942) [Текст] // Избранные труды и воспоминания / В. В. Агеносов ; предисл. от авт. – М., 2012. – С. 361–377.
555. Адамович, Г. О творчестве М. Осоргина ; Литературные беседы ; «Сивцев Вражек» М. А. Осоргина // Современное литературное зарубежье. – М., 1998. – С. 398-399.
556. Адамович, Г. [Рец. на кн.: Осоргин М. Книга о концах] [Текст] // Последние новости. – Париж, 1935. – 9 мая. – С. 4.
557. Адамович, Г. [Рец. на кн.: Осоргин М. Происшествия зеленого мира] [Текст] // Последние новости. – Париж, 1939. – 5 янв. – С. 3.
558. Адамович, Г. [Рец. на кн.: Осоргин М. Свидетель истории] [Текст] // Совр. записки. – 1932. - № 50. – С. 459-461.
559. Адамович, Г. [Рец. на кн.: Осоргин М. Там, где был счастлив] [Текст] // Совр. записки. – 1929. - № 38. – С. 526-527.
560. Азматов, Р. «Я был и остался сыном матери-реки и отца-леса...» : (по произведениям М. Осоргина) // М. А. Осоргин и литература русского зарубежья : материалы VIII региональной науч.-практ. конф. Пермь, 19 окт. 2011 г. / редкол.: Н. К. Оконская (науч. ред.), Л. В. Масалкина (отв. ред.) ; М-во образования и науки РФ, Пермский нац. исслед. политехн. ун-т. – Пермь, 2012. – С. 97-100.
561. Алданов, М. [Вступительное слово к публикации «Старинных рассказов» М. А. Осоргина] [Текст] // Юность. – 1990. - № 5. – С. 62-64.

562. Алданов, М. М. А. Осоргин // Картины Октябрьской революции. Исторические портреты. Портреты современников. Загадка Толстого / сост., вступ. ст. Б. Аверина ; коммент. Б. Аверина, Н. Бочкаревой. – СПб., 1999. – С. 307-321.
563. Андреев, М. Суровый лирик с Арбата [Текст] : [Рец. на кн.: Собрание сочинений : в 2 т. / Михаил Осоргин ; сост., предисл. О. Ю. Авдеевой. – М., 1999. – Т. 1. – 542 с. ; Т. 2. – 560 с.] // Книжное обозрение. – 1999. – № 27 (5 июля). – С. 13.
564. Барковская, Н. В. Возвращение к истокам [Текст] : (осмысление исторической судьбы России в «Старинных рассказах» М. Осоргина) // Михаил Осоргин: Страницы жизни и творчества. – Пермь, 1994. – С. 72-77.
565. Бастриков, А. В. Концепт «Свой – Чужой» в картине мира М. Осоргина [Текст] : (на материале рассказа «Вещи человека») // Русская и сопоставительная филология '2006. – Казань, 2006. – С. 51-56.
566. Беем, А. Л. Bloшиная философия [Текст] : (Осоргин М. Конец отца Якова) // Молва. – 1933. – № 225 (1 окт.).
567. Белобровцева, И. З. [Рец. на кн. Михаил Осоргин: художник и журналист / сост. и ред. В.Абашев] [Текст] // Вопросы литературы. – 2008. – № 1. – С. 350–351.
568. Белоусова, Е. Г. Особенности организации художественного пространства в романе М. Осоргина «Времена» / Е. Г. Белоусова, Е. П. Маренина // Вестн. Челябин. гос. ун-та, Филология. Искусствоведение. – Челябинск, 2013. – Вып. 78, № 16 (307). – С. 8-13.
569. Божкова, Г. Н. Поэтика заглавий рассказов М. А. Осоргина / Г. Н. Божкова, Д. Р. Нуриева // Филологические науки. Вопросы теории и практики : научно-теоретический и прикладной журнал. – Тамбов, 2013. - № 12 (30). – С. 44-46. – Библиогр.: с. 46 (8 назв.).
570. Болдырева, Е. М. Автобиографическая орнаментальность: текст как ризома [Текст] : (на материале автобиогр. повествования М. Осоргина «Времена») // Историософия в русской литературе XX и XXI веков: традиции и новый взгляд. – М., 2007. – С. 17-20.
571. Болдырева, Е. М. Деконструкция автобиографического инварианта в романе М. Осоргина «Времена» [Текст] //

Культура. Литература. Язык. – Ярославль, 2006. – Ч. 1. – С. 146-150.

572. Большакова, Т. И. Отбор и использование иноязычных вкраплений в романе М. Осоргина «Сивцев Вражек» / Т. И. Большакова, Ю. Т. Правда // Вестн. Воронеж. гос. ун-та = Proc. of Voronezh state univ. Сер.: Лингвистика и межкульт. коммуникация. – Воронеж, 2013. – Вып. 2. – С. 100-103.

573. Боравская, И. Б. Воплощение натурфилософской концепции в художественной прозе М. Осоргина 1920-х годов [Текст] : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / И. Б. Боравская ; Моск. гос. обл. ун-т. – М., 2007. – 30 с.

574. Боравская, И. Б. Космос и хаос в романе М. Осоргина «Сивцев Вражек» [Текст] // Русская литература конца XIX – начала XX вв. Литература русского зарубежья / Ред.-сост. Л. Ф. Алексеева, В. А. Скрипкина. – М., 2003. – С. 125–127.

575. Боравская, И. Б. Осмысление законов жизни в свете натурфилософской концепции М. Осоргина [Текст] : на материале рассказов из цикла «Чудо на озере» // Вестн. Волж. ун-та. Сер.: Филология. – Тольятти, 2006. – Вып. 6. – С. 162-172.

576. Боравская, И. Б. Сборники рассказов М. Осоргина «Вещи человека», «Чудо на озере» [Текст] // Малоизвестные страницы и новые концепции истории русской литературы XX века. – М., 2006. – Вып. 3, ч. 1. – С. 27-32.

577. Бронская, Л. И. Концепт «родная земля» в творчестве М. А. Осоргина периода эмиграции [Текст] // Восток – Запад: пространство русской литературы и фольклора. – Волгоград, 2006. – С. 597-602.

578. Бронская, Л. И. Символика названия рассказа М. А. Осоргина «Земля» [Текст] // Интеллигенция России: история и судьбы. – Ставрополь, 1999. – С. 18-23.

579. Васильева, Е. Н. Образ дома в романе М. Осоргина «Сивцев Вражек» [Текст] // Центральная Россия и литература русского зарубежья (1917-1939). – Орел, 2003. – С. 252-255.

580. Великая, Н. И. О времени и о себе [Текст] : мемуары М. Осоргина // Проблемы славянской культуры и цивилизации : материалы междунар. науч. конф. – Уссурийск, 2001. – С. 224-229.

581. Власова, Е. Г. «Московские письма» М. А. Осоргина [Текст] : в начале «мечтаемой с детства дороги» // Михаил Осоргин: Художник и журналист / Пермский гос. ун-т. – Пермь, 2006. – С. 104–112.
582. Власова, Е. Г. “Я родился в жалком городишке...” [Текст] : М. Осоргин и провинциальный миф рус. лит. второй половины XIX - нач. XX в. // Литература Урала: история и современность : материалы Всерос. науч. конф. “Литература Урала : проблема региональной идентичности и развитие художественной традиции”, Екатеринбург, 5-7 окт. 2006 г. / УрО РАН, Ин-т истории и археологии. – Екатеринбург, 2006. – Вып. 2. – С. 44-51.
583. Волкоморова, О. Б. Особенности употребления возрастных номинаций в автобиографическом повествовании М. Осоргина «Времена» [Текст] // Этнокультурное пространство региона и языковое сознание. – Тюмень, 2006. – Ч. 2. – С. 28-31.
584. Волошина, В. Ю. М. А. Осоргин. Неопубликованная рукопись [Текст] : [предисл. к ст. М. А. Осоргина «Размышления»] // Берега – СПб., 2007. – С. 10–11.
585. Гашева, Н. Н. Возникновение смыслового инновационного поля в русской культуре XX века [Текст] : (М. Осоргин и киноязык) // Вестн. Перм. ун-та = Perm univ. Herald. – Пермь, 2009. – Вып. 3. – С. 95-99.
586. Гашева, Н. Н. Кинематографичность прозы М. Осоргина [Текст] : (на материале анализа романа «Сивцев Вражек») // Михаил Осоргин: Страницы жизни и творчества. – Пермь, 1994. – С. 37-43.
587. Гашева, Н. Н. Кинематографичность прозы М. Осоргина [Текст] : аспект структурного синтеза на межвидовом уровне // Вестн. Воронежского гос. ун-та. Сер.: Филология. Журналистика. – Воронеж, 2005. - № 2. – С. 37-41.
588. Гершон, С. О книге М. А. Осоргина «Письма о незначительном» [Текст] // Новое рус. слово. – Нью-Йорк, 1952. – 28 сент.
589. Гладышев, В. Ф. Прощение «Проклятой дочери», или «Страшная ошибка» писателя : [об одном образе в книге М. А. Осоргина «Времена»] // Дворянский род Осоргиных в истории и культуре России : Всерос. науч. конф., приуроченная к 135-

- летию со дня рождения писателя и публициста М. А. Осоргина, 13 дек. 2013 г. / отв. ред. О. С. Тарасенко ; М-во образования РБ, Башк. акад. гос. службы и управления при Президенте РБ, Башк. гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы. – Уфа, 2014. – С. 85-92.
590. Гладышева, С. Н. Вторая мировая война в публицистике М. Осоргина [Текст] // Средства массовой информации в современном мире: Петербургские чтения : материалы межвуз. науч. конф. Санкт-Петербург, 22-24 апр. 2010 г. – СПб., 2010. – С. 319-320 ; то же: Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Сер.: Филология. Журналистика. – Воронеж, 2011. - № 2. – С. 163-167.
591. Гладышева, С. Н. Жанровое своеобразие «Писем о незначительном» М. А. Осоргина [Текст] // Жанровые особенности публицистики России XXI века : материалы VIII Всерос. науч.-практ. конф. Самара, 13-14 марта 2014 г. / Самарский гос. ун-т. – Самара, 2014. – С. 19-21.
592. Глушанок, Г. «... Я пишу не произведение – я пишу жизнь» [Текст] : к 70-летию смерти М. А. Осоргина : к 70-летию выхода в «НЖ» мемуаров Осоргина «Времена» : [публикуются письма М. А. Осоргина к В. М. Зензинову и Б. К. Зайцеву] // Новый журн. = New rev. – Нью-Йорк, 2012. – Кн. 268. – С. 206-231.
593. Деблик, Н. М. Типы повествования в прозе М. Осоргина : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Деблик Наталья Михайловна. – М., 1999. – 181 с.
594. Дергачева, Э. С. Дом и история в романе М. Осоргина «Сивцев Вражек» [Текст] // Михаил Осоргин: Страницы жизни и творчества. – Пермь, 1994. – С. 56-64.
595. Жаботинский, В. Е. О «Вольном каменщике» М. Осоргина [Текст] // Последние новости. – Париж, 1937. – 11 февр. – С. 4.
596. Жиганова, О. Г. Проявление оппозиции «свое-чужое» в романе М. А. Осоргина «Сивцев Вражек» [Текст] // Науч. перспектива. – Уфа, 2010. - № 3/4. – С. 68-71.
597. Жлюдина, А. В. Природный топос в романе М. Осоргина «Сивцев Вражек» [Текст] // Сиб. филол. журн. – Барнаул и др., 2011. - № 1. – С. 77-82.
598. Жлюдина, А. В. Путь Наташи Калымовой в романе М. А. Осоргина «Свидетель истории» [Текст] // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. – 2010. – Вып. 8. – С. 110-114.

599. Жлюдина, А. В. Семантика художественного пространства в романах М. Осоргина : дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Жлюдина Анастасия Викторовна. – Томск, 2012. – 217 с.
600. Жлюдина, А. В. Топология романа М. Осоргина «Свидетель истории» [Текст] : путешествие Якова Кампинского / А. В. Жлюдина, М. А. Хатямова // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. – Томск, 2011. – Вып. 11 (113). – С. 149-155.
601. Жулькова, К. А. Авантюристка или фантазерка [Текст] : история одного экфрасиса («Княжна Тараканова» М. А. Осоргина) // Русское зарубежье: История и современность : сб. ст. / ред.-сост. Т. Г. Петрова, В. Г. Шаронова ; Рос. акад. наук, ИНИОН, Центр сравнительного изучения цивилизаций. – М., 2017. – С. 134-141.
602. Загороднева, К. В. Особенности очерковой манеры М. А. Осоргина [Текст] / К. В. Загороднева, Е. А. Князева // Михаил Осоргин и вечные ценности русской культуры : материалы науч.-практ. конф. – Пермь, 2003. – С. 34–39.
603. Зайцев, Б. [Рец. на кн.: Осоргин М. Сивцев Вражек] [Текст] // Совр. записки. – 1932. - № 49. – С. 457-458.
604. Захарова, В. Т. Образ провинции в автобиографической прозе М. А. Осоргина («Повесть о сестре») [Текст] : мифопоэтический аспект // Жизнь провинции: История и современность : сб. ст. по материалам Всерос. науч. конф. Нижний Новгород, 11-12 нояб. 2016 г. – Нижний Новгород, 2017. – С. 60-66.
605. Иванов, А. Возвращение [Текст] : в России опубликованы воспоминания М. Осоргина [«Воспоминания ; Повесть о сестре» (Воронеж, 1992)] [Текст] // Рус. мысль = La pensee russe. – Париж, 1992. – № 3944 (4 сент.). – С. 12.
606. Иванов, А. Пермский гимназист в конце XIX – начале XX века [Текст] : по мемуарной прозе М. Осоргина // Два рубежа : материалы междунар. науч.-практ. конф. – Пермь, 1998. – С. 167–168.
607. Иванов, Ф. В. Мирская покинутость : Мих. Осоргин – из маленького домика [Текст] // Красный Парнась : литературно-критические очерки / Ф. В. Иванов. – Берлин, 1922. – С. 109–116.

608. Иващенко, Е. Г. Стиховые приемы в романе М. Осоргина «Сивцев Вражек» / Е. Г. Иващенко, Е. А. Мишун // Вестн. Амур. гос. ун-та. Сер.: Гуманит. науки. – Благовещенск, 2010. – Вып. 50. – С. 138-142.
609. Каганов, Г. З. Горожанин в городе [Текст] : идентификация с землей и небом [в т. ч. идентификация с родной средой в автобиогр. повествовании М. А. Осоргина «Времена»] // Человек. – 2001. – № 4. – С. 28–38.
610. Камянов, В. Падая с идейной высоты [Текст] : [о романе М. Осоргина “Свидетель истории”] // Октябрь. – 1990. - № 11. – С. 167-173.
611. Ковалева, Ю. Н. Космос и хаос в романе М. Осоргина «Сивцев Вражек» [Текст] // Классические и неклассические модели мира в отечественной и зарубежной литературах. – Волгоград, 2006. – С. 393-398.
612. Ковалева, Ю. Н. М. А. Осоргин // Литература русского зарубежья («первая волна» эмиграции: 1920-1940 годы) : учеб. пособие : в 2 ч. / под общей ред. А. И. Смирновой. – Волгоград, 2004. – Ч. 2. – С. 65-92.
613. Ковалева, Ю. Н. Человек и вселенная в романе М. А. Осоргина «Сивцев Вражек» // Человек в современных философских концепциях. – Волгоград, 2007. – Т. 2. – С. 684-687.
614. Колбас, В. С. Луня, Колобок, Молекула и другие : (о кличках и прозвищах школьных учителей) // М. А. Осоргин и литература русского зарубежья : материалы VIII региональной науч.-практ. конф. Пермь, 19 окт. 2011 г. / редкол.: Н. К. Оконская (науч. ред.), Л. В. Масалкина (отв. ред.) ; М-во образования и науки РФ, Пермский нац. исслед. политехн. ун-т. – Пермь, 2012. – С. 91-97.
615. Кондрашов, А. Е. Функции природной образности в мемуарно-публицистической прозе М. А. Осоргина [Текст] // Проблемы языковой картины мира на современном этапе. – Н. Новгород, 2011. – С. 177-181.
616. Коневских, Л. А. «Возлюби ближнего своего...» : (по материалам мемуарной прозы М. Осоргина) // М. А. Осоргин и литература русского зарубежья : материалы VIII региональной науч.-практ. конф. Пермь, 19 окт. 2011 г. / редкол.: Н. К. Оконская (науч. ред.), Л. В. Масалкина (отв. ред.) ; М-во

- образования и науки РФ, Пермский нац. исслед. политехн. ун-т. – Пермь, 2012. – С. 3-9.
617. Курбатов, В. Космос хаоса [Текст] : [о романе М. Осоргина «Сивцев Вражек»] // Москва. – 1990. - № 7. – С. 199-203.
618. Ланглебен, М. Трилогия о Москве в романе М. А. Осоргина «Сивцев вражек» [Текст] // Вторая проза : сб. статей / ред.: И. З. Белобровцева, С. Н. Доценко, Г. А. Левинтон, Т. В. Цивьян. – Таллинн, 2004. – С. 167–204.
619. ...Лапаева, Н. Б. «Большое» и «малое» как стилевая антиномия в романе М. Осоргина «Сивцев Вражек» [Текст] // Русская литература XX века : направления и течения / отв. ред. Н. В. Барковская ; Уральский гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 1998. – Вып. 4. – С.
620. Лапаева, Н. Б. Герои М. Осоргина [Текст] : структура, иерархии, принципы изображения // Обновления содержания и методики филологического образования : тез. докл. регион., науч.-практ. конф. – Пермь, 1996. – С. 18–20.
621. Лапаева, Н. Б. Культура и история в художественном мире М. А. Осоргина [Текст] // Проблемы языка и литературы : методология, теория, история : тез. докл. – Пермь, 1998. – С.41–43.
622. Лапаева, Н. Б. М. Осоргин: взгляд на провинцию [Текст] // Искусство Перми в культурном пространстве России. Век XX : исследования и материалы. – Пермь, 2000. – С. 210–217.
623. Лапаева, Н. Б. Михаил Осоргин: взгляд на провинцию [Текст] // Русская провинция: миф – текст – реальность. – М. ; СПб., 2000. – С. 210–217.
624. Лапаева, Н. Б. Образ провинции в художественном мире М. А. Осоргина [Текст] : (по материалам мемуарной прозы) // Михаил Осоргин: Страницы жизни и творчества. – Пермь, 1994. – С. 64-72.
625. Лапаева, Н. Б. Россия и Запад в художественном мире М. Осоргина [Текст] // «Экватор» 90-х. – Пермь, 1995. – С. 218-221.
626. Лапаева, Н. Б. Художественный мир М. Осоргина [Текст] : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Н. Б. Лапаева ; Тюменский гос. ун-т. – Тюмень, 1998. – 23 с.

627. Ласунский, О. В споре с эпохой [Текст] : [об автобиограф. повести М. Осоргина] // Осоргин, М. А. Воспоминания ; Повесть о сестре. – Воронеж, 1992. – С. 5-24.
628. Лекух, Д. [Рец. на кн.: Осоргин М.А. Вольный каменщик : повесть, рассказы.- М.: Моск. рабочий, 1992.] // Лит. газ. – 1992. - № 31 (29 июля). – С. 4.
629. Лифанова, И. В. Образ дома в романе М. Осоргина «Сивцев Вражек» // Ученые записки Сахалинского гос. ун-та. – Южно-Сахалинск, 2009. – Вып. 8. – С. 134-138.
630. Лифанова, И. В. Свидетель, преступник или жертва? [Текст] : (образ отца Якова в дилогии М. Осоргина «Свидетель истории», «Книга о концах») // Русская литература XX века: итоги и перспективы изучения : сб. науч. тр. / редкол.: А. А. Алексеев, Б. С. Бугров, А. И. Василевский и др. – М., 2002. – С. 311-321.
631. Лобанова, Г. И. Взаимодействие сакрального и профанного в повести М. Осоргина «Вольный каменщик» [Текст] // Поэтика русской литературы XX века / Башк. гос. ун-т. – Уфа, 2004. – С. 160-167.
632. Лобанова, Г. И. Кризис нравственного сознания «маленького человека» в романе М. Осоргина «Сивцев Вражек» [Текст] // Проблемы филологии / Башк. гос. ун-т. – Уфа, 2001. – Ч. 2. – С. 53-61.
633. Лобанова, Г. И. М. Осоргин: пафос срединности // Проблемы взаимодействия языка, литературы и фольклора и современная культура : материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию Л. Г. Барага / отв. ред Р. Х. Якубова, С. А. Салова ; Башк. гос. ун-т. – Уфа, 2011. – С. 254-258.
634. Лобанова, Г. И. «Маленький человек» в большой истории : (по произведениям М. Осоргина 1920-1930-х гг.) // М. А. Осоргин и литература русского зарубежья : материалы VIII региональной науч.-практ. конф. Пермь, 19 окт. 2011 г. / редкол.: Н. К. Оконская (науч. ред.), Л. В. Масалкина (отв. ред.) ; М-во образования и науки РФ, Пермский нац. исслед. политехн. ун-т. – Пермь, 2012. – С. 19-28.
635. Лобанова, Г. И. «Маленький человек» в вихре истории [Текст] : опыт анализа романов М. Осоргина 1920-1930 гг. / Г. И. Лобанова. – Уфа : Вагант, 2008. – 208 с. – (Уфимская книга).

636. Лобанова, Г. И. Мотивы и символы масонства в повести М. Осоргина «Вольный каменщик» [Текст] // Вестн. Вост. ин-та экономики, гуманитар. наук, упр. и права. Филология. – Уфа, 2000. - № 11. – С. 22-26.
637. Лобанова, Г. И. Нравственная эволюция «маленького человека» в романах М. Осоргина 1920-1930 годов [Текст] // Русское зарубежье – духовный и культурный феномен : материалы междунар. науч. конф. / редкол.: В. Л. Гопман, А. Г. Тоне, Н. М. Щедрина ; Новый Гуманитарный ун-т Н. Нестеровой. – М., 2003. – Ч. 1. – С. 136-140.
638. Лобанова, Г. И. Святость повседневности в романах М. Осоргина // Научно-философский анализ повседневности: проблемы и перспективы развития в XXI веке. – Воронеж, 2010. – С. 89-93 ; то же: Дворянский род Осоргина в истории и культуре России : Всерос. науч. конф., приуроченная к 135-летию со дня рождения писателя и публициста М. А. Осоргина, 13 дек. 2013 г. / отв. ред. О. С. Тарасенко ; М-во образования РБ, Башк. акад. гос. службы и управления при Президенте РБ, Башк. гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы. – Уфа, 2014. – С. 62-65.
639. Лобанова, Г. И. Эволюция нравственного сознания “маленького человека” в романах М. Осоргина 1920-1930 годов [Текст] : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Г. И. Лобанова ; Моск. пед. ун-т. – М., 2002. – 24 с. – Список науч. работ авт.: с. 24 (5 назв.).
640. Маренина, Е. П. Антиномичная природа стиля М. Осоргина // Вестн. Челябин. Гос. ун-та. Филология. Искусствоведение. – Челябинск, 2012. – Вып. 72, № 36. – С. 36-39.
641. Маренина, Е. П. «Времена» М. Осоргина: стиль и контекст : дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 – Русская литература / Маренина Евгения Павловна ; науч. рук. Е. Г. Белоусова ; Челябинский гос. ун-т. – Челябинск, 2015. – 183 с.
642. Маренина, Е. П. М. Осоргин: от личности к стилю писателя : (на материале «Повести о сестре») // М. А. Осоргин и литература русского зарубежья : материалы VIII региональной науч.-практ. конф. Пермь, 19 окт. 2011 г. / редкол.: Н. К. Оконская (науч. ред.), Л. В. Масалкина (отв. ред.) ; М-во образования и науки РФ, Пермский нац. исслед. политехн. ун-т. – Пермь, 2012. – С. 54-55.

643. Маренина, Е. П. Прием монтажа в романе М. Осоргина «Времена» [Текст] // Вестн. Волгоградского гос. ун-та. Сер. 8: Литературоведение. Журналистика. – 2014. - № 1. – С. 21-28.
644. Маренина, Е. П. Приемы живописи в романе М. Осоргина «Времена» : к вопросу о стиле писателя // Филологические науки. Вопросы теории и практики : научно-теоретический и прикладной журнал. – Тамбов, 2013. - № 12 (30). – С. 138-140. – Библиогр.: с. 140 (7 назв.).
645. Маренина, Е. П. Принцип антиномичности в стиле М. Осоргина // Литературный текст XX века: проблемы поэтики. – Челябинск, 2012. – С. 222-225.
646. Маренина, Е. П. Стилизовое воплощение образа мира в романе М. Осоргина «Времена» [Текст] // Русская литература: национальное развитие и региональные особенности. – Екатеринбург, 2012. – Т. 2. – С. 227-231.
647. Мароши, В. В. Ласточка в интертекстуальности и скрипции романа М. Осоргина «Сивцев Вражек» [Текст] // Михаил Осоргин: Страницы жизни и творчества. – Пермь, 1994. – С. 44-56.
648. Марченко, Т. Между вечностями [Текст] : [предисл. к очерку М. Осоргина «Мудрый»] // Слово. – 1993. - № 5/6. – С. 8-9.
649. Марченко, Т. В. Осоргин М.А. Вещи человека ; Портрет матери ; Дневник отца [Текст] / Т. В. Марченко // ТамИздат : 100 избранных книг / сост. и вступ. статья М. Сеславинского. – М., 2012 . – С. 341–346 ; то же: М., 2014. – С. 408–414.
650. Марченко, Т. В. Осоргин М.А. Вольный каменщик : повесть [Текст] / Т. В. Марченко // ТамИздат : 100 избранных книг / сост. и вступ. ст. М. Сеславинского. – М., 2012 . – С. 335–340 ; то же: М., 2014 . – С. 401–407.
651. Марченко, Т. Путь без перспективы [Текст] : [Рец. на кн.: Осоргин М.А. Вольный каменщик : повесть, рассказы.- М.: Моск. рабочий, 1992.] // Лит. Россия. – 1993. - № 15 (16 апр.). – С. 11.
652. Михаил Осоргин: Художник и журналист [Текст] / ред.-сост. В. В. Абашев. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 2006. – 232 с.
653. Мочульский, К. Михаил Осоргин «Чудо на озере» [Текст] // Современное литературное зарубежье. – М., 1998. – С.

- 399-400 ; то же: Кризис воображения. – Томск, 1999. – С. 298–300.
654. Мужайлова, Е. А. Мифопоэтика образа земли у Михаила Андреевича Осоргина [Текст] // Проблемы лингвистики, методики обучения иностранным языкам и литературоведения в свете межкультурных коммуникаций : материалы междунар. науч.-практ. конф. / Башк. гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы. – Уфа, 2007. – С. 294-297.
655. Мужайлова, Е. А. Михаил Андреевич Осоргин: почвеннические мотивы в творчестве писателя-эмигранта [Текст] // Проблемы преподавания русского языка и литературы в условиях двуязычия : материалы Всерос. науч.-практ. конф. / Стерлитамакская гос. пед. акад. – Стерлитамак, 2007. – С. 225-229.
656. Муравски, А. Место человека в концепции времени Михаила Осоргина [Текст] // *Studia rossica posnaniensia*. – Poznan, 2012. – Z. 37. – С. 185-194.
657. Нечаева, М. В. Игра как отражение жизненных ценностей в газетной публицистике М. А. Осоргина [Текст] // XII Державинские чтения : Факультет журналистики. – Тамбов, 2007. – С. 17-18.
658. Нечаева, М. В. Поэтико-философский контекст и околороманное пространство романа М. А. Осоргина «Сивцев Вражек» [Текст] : автореф. дис. ... канд. филол. наук / М. В. Нечаева. – Тамбов, 1997. – 19 с.
659. Нечаева, М. В. Философия стоицизма в художественной ткани романа М. А. Осоргина «Сивцев Вражек» [Текст] // Русская литература XX века: онтология и поэтика. – Тамбов, 2005. – С. 155-159.
660. Новикова, Л. И. Художественный мир М. А. Осоргина [Текст] // Михаил Осоргин и вечные ценности русской культуры : материалы науч.-практ. конф. – Пермь, 2003. – С. 28–30.
661. Нуриева, Д. Р. Виды психологического анализа в рассказах М. А. Осоргина [Текст] / Д. Р. Нуриева, Г. Н. Божкова // *Алманах современной науки и образования*. – 2013. - № 4 (71). – С. 135-137.
662. «Он был писателем и незаурядным...»[Текст] : материалы о творчестве М. А. Осоргина / Шк.-гимназия № 4 г. Перми. – Пермь, 2000. – 86 с.

663. Орлицкий, Ю. Б. «Это вопрос техники...» [Текст] : стиховое начало в прозе М. Осоргина // Михаил Осоргин: Художник и журналист / Пермский гос. ун-т. – Пермь, 2006. – С. 31–39.
664. Осоргина-Бакунина, Т. Письма в Москву 1989-1990 [о творчестве М. Осоргина] / публ. С. Никоненко // Лит. учеба. – 2006. - № 6. – С. 75-97.
665. Папшева, Г. О. Образ врача в творчестве М. Осоргина [Текст] : опыт интерпретации / Г. О. Папшева, И. И. Папшева // Научный альманах. – 2016. - № 4-4 (18). – С. 337-340.
666. Папшева, Г. О. Проблема национальной идентичности в романе М. А. Осоргина «Сивцев Вражек» [Текст] // Наука сегодня: проблемы и пути решения : материалы междунар. науч.-практ. конф. : в 3 ч. Вологда, 28 марта 2018 г. – Вологда, 2018. – С. 73-74.
667. Папшева, Г. О. Художественная картина мира в романе М. А. Осоргина «Сивцев Вражек»: генезис и творческое воплощение : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Папшева Г. О. ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 2011. – 19 с.
668. Папшева, Г. О. Эсхатологические мотивы в романе М. Осоргина «Сивцев Вражек» // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Сер.: Филология. Журналистика. – Воронеж, 2010. - № 1. – С. 75-78.
669. Поликовская, Л. Нереабилитированный философ [Текст] : [о сочинениях М. А. Осоргина, опубликованных в России в 1992 г.] // Лит. обозрение. – 1993. - № 7/8. – С. 84-88.
670. Поликовская, Л. В. Публицистика Михаила Осоргина (август 1916 – сентябрь 1918 гг.) [Текст] : темы, идеи, жанры // Михаил Осоргин: Страницы жизни и творчества. – Пермь, 1994. – С. 77-85.
671. Правда, Ю. Т. Москва начала XX века сквозь призму топонимов в романе М. А. Осоргина «Сивцев Вражек» [Текст] / Ю. Т. Правда, Л. И. Зубкова // Современные проблемы лингвистики и методики преподавания русского языка в вузе и школе. – Воронеж, 2012. – Вып. 20. – С. 101-111.
672. [Предисловие к рассказу М. Осоргина «Милое имя – Наташа»] [Текст] // Лепта. – М., 1993. - № 4. – С. 155-156.
673. Савельев, А. [Рец. на кн.: Осоргин М. Свидетель истории] [Текст] // Наш век. – 1932. – 14 февр.

674. Савицкая, И. В. Роль монтажа в организации художественной структуры романа М. Осоргина «Сивцев Вражек» [Текст] : (постановка проблемы) // Проблемы взаимодействия эстетических систем реализма и модернизма. – Ульяновск, 1998. – С. 24-26.
675. Сатаева, Л. В. Нерусские народы России в автобиографической, мемуарной и публицистической прозе М. А. Ильина-Осоргина [Текст] : к 125-летию со дня рождения // Народы Урало-Поволжья: история, культура, этничность : материалы межрегион. Науч.-практ. конф., Уфа, 28 нояб. 2003 г. – Уфа, 2003. – С. 141-145.
676. Сваровская, А. С. «В тихом местечке Франции» М. Осоргина как локальный текст [Текст] // Диалог культур: поэтика локального текста : материалы IV Междунар. науч. конф. / под ред. П. В. Алексеева ; Горно-Алтайский гос. ун-т. – Горно-Алтайск, 2014. – С. 97-103.
677. Сваровская, А. С. Романная диалогия М. Осоргина «Свидетель истории» и «Книга о концах»: текст – историческое деяние – самодвижение жизни [Текст] // Русская литература в XX веке: имена, проблемы, культурный диалог. – Томск, 2005. – № 7. – С. 76-91.
678. Секачева, И. Г. Своеобразие стиля и композиции автобиографического повествования М. Осоргина «Времена» [Текст] // Мировая словесность для детей и о детях. – М., 2003. – Вып. 8. – С. 239-245.
679. Сидорова, М. Ю. Язык и художественный мир романа М. А. Осоргина «Сивцев Вражек» [Текст] // Литература XX века: итоги и перспективы изучения. – М., 2003. – С. 89-97. – Библиогр.: с. 97.
680. Силаева, Е. И. Автобиографизм литературы русского зарубежья : (о воспоминаниях М. Осоргина) // Россия и современность. – 2007. - № 4 (57). – С. 196-203.
681. Силаева, Е. И. Автобиографическое повествование «Времена»: художественный вымысел или реальная действительность? [Текст] // Вопр. гуманит. наук. – М., 2006. - № 5. – С. 66-68.
682. Силаева, Е. И. Мастерство авторских подтекстовых обобщений в «Повести о сестре» М. А. Осоргина [Текст] // Вопр. гуманит. наук. – М., 2005. - № 6. – С. 130-131.

683. Спиридонов, И. А. Образ дома в романе М. А. Осоргина «Сивцев Вражек» [Текст] // Философия и история педагогики. – Уфа, 2004. – С. 322-325.
684. Старикова, Е. Заметки запоздалого читателя [Текст] : [о романе М. Осоргина «Сивцев Вражек»] // Октябрь. – 1991 – № 3 – С. 196–201.
685. Степанова, Н. С. Внесубъектные формы выражения авторского сознания в автобиографическом произведении М. А. Осоргина «Времена» // Дворянский род Осоргиных в истории и культуре России : Всерос. науч. конф., приуроченная к 135-летию со дня рождения писателя и публициста М. А. Осоргина, 13 дек. 2013 г. / отв. ред. О. С. Тарасенко ; М-во образования РБ, Башк. акад. гос. службы и управления при Президенте РБ, Башк. гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы. – Уфа, 2014. – С. 69-74.
686. Степанова, Н. С. Гармония человека и природы как условие формирования свободной души в автобиографическом повествовании М. Осоргина «Времена» [Текст] // // Ученые записки Рос. гос. социального ун-та. – 2011. - № 2. – С. 160-165.
687. Степанова, Н. С. Михаил Осоргин и его «Времена» [Текст] // Россия. Духовная ситуация времени. – 2006. - № 1/2 (27/28). – С. 187-196.
688. Степанова, Н. С. Публицистика М. А. Осоргина периода второй эмиграции [Текст] / Н. С. Степанова, Е. А. Котова // Журналистика. Культура. Социум – 2011. – Курск, 2011. – Ч. 1. – С. 22-29.
689. Степанова, Н. С. Публицистическая деятельность и эпистолярное наследие М. А. Осоргина: подходы к изучению / Н. С. Степанова, Е. А. Котова // Terra Cultura. – 2010. – Курск, 2010. – С. 68-71.
690. Степанова, Н. С. Семейный фактор духовного становления личности в автобиографическом повествовании М. Осоргина «Времена» [Текст] // Ученые записки Рос. гос. социального ун-та. – 2010. - № 3. – С. 219-223.
691. Степанова, Н. С. Топографический хронотоп в автобиографическом повествовании М. А. Осоргина «Времена» // М. А. Осоргин и литература русского зарубежья : материалы VIII региональной науч.-практ. конф. Пермь, 19 окт. 2011 г. / редкол.: Н. К. Оконская (науч. ред.), Л. В. Масалкина (отв. ред.)

- ; М-во образования и науки РФ, Пермский нац. исслед. политехн. ун-т. – Пермь, 2012. – С. 38-42.
692. Степанова, Н. С. Формы выражения авторского сознания в автобиографической прозе М. Осоргина [Текст] // Известия Юго-Западного ун-та. Сер.: Лингвистика и педагогика. – Курск, 2015. - № 3 (16). – С. 34-39.
693. Строганова, И. А. Миф в структуре романа М. Осоргина «Сивцев Вражек» [Текст] // Вестн. Моск. гос. обл. ун-та. – 2014. - № 4. – С. 18.
694. Сухих, И. Писатель с «философского парохода» [Текст] : [Рец. на кн.: Осоргин М. А. Вольный каменщик : повесть, рассказы. – М.: Моск. рабочий, 1992.] // Нева. – 1993. - № 2. – С. 228-246.
695. Тихомирова, А. О. Типология рассказов Михаила Осоргина [Текст] // Малоизвестные страницы и новые концепции истории русской литературы XX века. – М., 2006. – Вып. 3, ч. 1. – С. 83-86.
696. Трофимов, И. В. Природа конфликта в книге М. А. Осоргина «Из маленького домика» [Текст] // Русское зарубежье – духовный и культурный феномен : материалы междунар. науч. конф. / редкол.: В. Л. Гопман, А. Г. Тоне, Н. М. Щедрина ; Новый Гуманитарный ун-т Н. Нестеровой. – М., 2003. – Ч. 1. – С. 129–135.
697. Урвилов, В. А. Система персонажей в романе М. А. Осоргина «Сивцев Вражек» как отражение авторской концепции мира // Вестн. Ленинград. гос. ун-та. Сер.: Филология. – СПб., 2010. - № 1. – С. 26-33.
698. Фоминых, Т. Н. Историко-культурный контекст образа мировой войны в романе М. Осоргина «Сивцев Вражек» [Текст] // Художественный текст и историко-культурный контекст. – М., 1996. – С. 49-60.
699. Хатямова, М. А. Концепция времени в автобиографическом повествовании М. А. Осоргина «Времена» («Детство») // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. – 2010. – Вып. 8. – С. 107-109.
700. Хатямова, М. А. Метатекстовая структура в романе М. А. Осоргина «Вольный каменщик» (1935) [Текст] // Сибирский филологический журнал. – Новосибирск, 2008. - № 2. – С. 88-103.

701. Цетлин, М. [Рец. на кн.: Осоргин М. Вещи человека ; Книга о концах] [Текст] // Совр. записки. – 1935. - № 58. – С. 474-476.
702. Чернышев, А. [Отклик на кн. М. Осоргина “Вольный каменщик”] [Текст] // Октябрь. – 1993. - № 4. – С. 188-189.
703. Чудинова, Г. В. Художественное изображение русского национального характера в автобиографической книге М. А. Осоргина «Времена» [Текст] // Михаил Осоргин и вечные ценности русской культуры : материалы науч.-практ. конф. – Пермь, 2003. – С. 31–34.
704. Щербакова, И. [Рец. на кн.: Осоргин М.А. Времена: Романы и автобиогр. повествование.- Екатеринбург: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1992.] [Текст] // Урал. – 1993. - № 7. – С. 190-191.
705. Якунина, Е. В. Единство этики и поэтики М. А. Осоргина // Вопросы археологии, истории, культуры и природы Верхнего Поочья. – Калуга, 2008. – С. 350-353.
706. Яновский, В. С. [Рец. на кн.: Осоргин М. Происшествия зеленого мира] // Рус. записки. – 1939. - № 15. – С. 197-198 ; то же: Любовь вторая : избранная проза / В. С. Яновский ; вступ. статья, коммент. и пер. М. Рубинс. – М., 2014. – С. 515–516 .
707. Яновский, В. С. [Рец. на кн.: Осоргин М. Свидетель истории] // Числа. – 1938. – Кн. 7/8. – С. 264-265 ; то же: Любовь вторая : избранная проза / В. С. Яновский ; вступ. статья, коммент. и пер. М. Рубинс. – М., 2014. – С. 500-502.
708. Яценко, С. “Очаровательное время распада...” [Текст] : [рец. на кн.: Осоргин М. А. Избранное.- Екатеринбург: Сред.-Урал. кн. изд-во; Ассоц. “Российская книга”, 1992.] // Кн. обозрение. – 1992. - № 29 (17 июля). – С. 9.
709. Hochweis, O. «Eine Straße in Moskau»: Reise in den Kosmos Russland = Путешествие в космос России [Электронный ресурс] [о романе М. А. Осоргина «Сивцев Вражек»]. – Режим доступа: https://www.deutschlandfunkkultur.de/eine-strasse-in-moskau-reise-in-den-kosmos-russland.1270.de.html?dram:article_id=326104 (дата обращения: 01.01.2018)
710. Urban, T. Warten auf die Schwalben = В ожидании ласточек [Электронный ресурс] : [о романе М. А. Осоргина «Сивцев Вражек»]. – Режим доступа:

Связь творчества писателя с отечественной и зарубежной культурой

711. Абашев, В. В. Набоков и Осоргин [Текст] // Вторая проза : сб. статей / Таллинский пед. ун-т, Ин-т мировой культуры (МГУ), Европейский ун-т в Санкт-Петербурге ; редкол.: И. З. Белобровцева, С. Н. Доценко, Г. А. Левинтон, Т. В. Цивьян. – Таллинн, 2004. – С. 205–215.
712. Абашев, В. В. Осоргин и Набоков [Текст] : вероятность встречи // Михаил Осоргин: Страницы жизни и творчества. – Пермь, 1994. – С. 28–37.
713. Ахметова, М. А. Отображение темы голода в Поволжье в произведениях М. А. Осоргина и Вс. В. Иванова [Текст] // В мире научных открытий. – 2015. - № 11 (71). – С. 162-167.
714. Два поколения русской эмиграции [Текст] : Михаил Осоргин и Гайто Газданов / публ. и коммент. О. Орловой // Лит. учеба. – 2004. - № 3. – С. 159-164.
715. Агеносов, В. В. Вселенная, революция и культура в романе М. Осоргина «Сивцев Вражек» [Текст] : (М. Осоргин и М. Горький) // Горьковские чтения 1993 г. : материалы конф. «А. М. Горький и литературный процесс XX века». – Н. Новгород, 1994. – С. 147-151.
716. Агеносов, В. В. Идеалы серебряного и фантомы железного XX века в прозе русского зарубежья [Текст] : (М. Осоргин и Н. Нароков) // Время Дягилева: Универсалии серебряного века : третьи дягилевские чтения : материалы. – Пермь, 1993. – Вып. 1. – С. 19–35.
717. Анисимова, М. С. Мифологема «дом» и ее художественное воплощение в автобиографической прозе первой волны русской эмиграции [Текст] : на примере романов И. С. Шмелева «Лето Господне» и М. А. Осоргина «Времена» : автореферат дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Нижегород. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского. – Нижний Новгород, 2007. – 17 с.
718. Анисимова, Т. Я. «Остров Духовности» в областной детской библиотеке [Текст] // Михаил Осоргин и вечные

ценности русской культуры : материалы науч.-практ. конф. – Пермь, 2003. – С. 71–73.

719. Антипина, З. С. Лес и река в произведениях М. Осоргина и В. Каменского [Текст] // Река и Гора: локальные дискурсы. – Пермь, 2009. – С. 71-79.

720. Артемова, И. В. М. А. Осоргин – М. А. Булгаков: переключка в ночи // Дворянский род Осоргиных в истории и культуре России : Всерос. науч. конф., приуроченная к 135-летию со дня рождения писателя и публициста М. А. Осоргина, 13 дек. 2013 г. / отв. ред. О. С. Тарасенко ; М-во образования РБ, Башк. акад. гос. службы и управления при Президенте РБ, Башк. гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы. – Уфа, 2014. – С. 50-54.

721. Барковская, Н. В. Апология Плюшкина [Текст] : М. Осоргин и В. Топоров // Михаил Осоргин: Художник и журналист / Пермский гос. ун-т. – Пермь, 2006. – С. 40–48.

722. Белоусова, Е. Г. О художественном ясновидении М. Осоргина и В. Набокова // Литература в контексте современности : сб. материалов V Междунар. науч.-метод. конф. (Челябинск, 12-13 мая 2011 г.). – Челябинск, 2011. – С. 70-74.

723. Богач, Д. А. Художественная аксиология природы Ф. М. Достоевского и М. А. Осоргина сквозь призму почвенничества // Литературный текст XX века: проблемы поэтики. – Челябинск, 2012. – С. 41-44.

724. Болдырева, Е. М. Нарративная модель в автобиографических произведениях И. Бунина («Жизнь Арсеньева») и М. Осоргина («Времена») // Культура. Литература. Язык. – Ярославль, 2009. – С. 98-104.

725. Бочарова, И. А. Горький и разрыв единой русской литературы [Текст] : (по переписке с писателями рус. зарубежья [В. Ф. Ходасевичем, Ф. А. Степуном, М. А. Осоргиным]) // Горьковские чтения 1995 г. – Н. Новгород, 1996. – С. 215-217.

726. Бочарова, И. А. Италия в автобиографической прозе Горького и Осоргина // Горький, Шмелев, Тэффи и другие : юбил. сб. к 80-летию Л. А. Спиридоновой. – М., 2015. – С. 45-50.

727. Бронская, Л. И. Концепция личности в автобиографической прозе русского зарубежья первой половины XX века [Текст] : (И. С. Шмелев, Б. К. Зайцев, М. А.

- Осоргин) / Л. И. Бронская ; М-во образования РФ, Ставроп. гос. ун-т. – Ставрополь, 2001. – 120 с.
728. Бронская, Л. И. Концепция личности в автобиографической прозе русского зарубежья (первая половина XX века) [Текст] : И. С. Шмелев, Б. К. Зайцев, М. А. Осоргин : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.01.01 / Ставроп. гос. ун-т. – Ставрополь, 2001. – 42 с.
729. Бронская, Л. И. Концепция личности в автобиографической прозе русского зарубежья [Текст] : И. С. Шмелев, Б. К. Зайцев, М. А. Осоргин : дис. ... д-ра филол. наук : 10.01.01. – Ставрополь, 2001. – 371 с.
730. Бронская, Л. И. Русская идея в автобиографической прозе русского зарубежья [Текст] : И. С. Шмелев, Б. К. Зайцев, М. А. Осоргин / Л. И. Бронская; М-во образования РФ, Ставроп. гос. ун-т. – Ставрополь : Изд-во Ставроп. гос. ун-та, 2000. – 99 с.
731. Бугаева, Л. Д. Масонство как историко-литературная проблема [Текст] : Г. Газданов и М. Осоргин // История и филология : проблемы научной и образовательной интеграции на рубеже тысячелетий : материалы междунар. конф., 2-5 февраля 2000 г. / Петрозаводский гос. ун-т ; отв. ред. И. О. Ермаченко. – Петрозаводск, 2000. – С. 255–260.
732. Быстрых, Т. И. Пермские учителя в мемуарной литературе и публицистике М.А. Осоргина [Текст] // Михаил Осоргин и вечные ценности русской культуры : материалы науч.-практ. конф. – Пермь, 2003. – С. 22–27.
733. Быстрых, Т. И. Счастлив, кто посетил сей мир... [Текст] : (пермские страницы двух писателей : М. Осоргин и В. Иванов) // Уральский следопыт. – 1999. – № 1. – С.4–8.
734. Вздорнов, Г. И. Италия в изображении Павла Муратова и Михаила Осоргина (1911, 1912, 1913) // В созвездии Льва : сб. ст. по древнерус. искусству в честь Льва Исааковича Лифшица. – М., 2014. – С. 76-87.
735. Власова, Е. Г. Пермский поэт Михаил Афанасьев [Текст] : общая память братьев Ильиных // Михаил Осоргин: Художник и журналист / Пермский гос. ун-т. – Пермь, 2006. – С. 132–135.
736. Власова, Е. Г. «Я родился в жалком городишке...» [Текст] : М. Осоргин и провинциальный миф рус. лит. второй

- половины XIX – начала XX в. // Литература Урала: история и современность. – Екатеринбург, 2006. – Вып. 2. – С. 44-51.
737. Герасимова, М. А. Философия космизма в творчестве Михаила Осоргина [Текст] // Вестн. Рос. ун-та дружбы народов. Сер.: Литературоведение. Журналистика. – М., 2013. – № 4. – С. 80-86.
738. Гладышев, В. Ф. Яков Шестаков-Камасинский: жизненности залог // Дворянский род Осоргиных в истории и культуре России : Всерос. науч. конф., приуроченная к 135-летию со дня рождения писателя и публициста М. А. Осоргина, 13 дек. 2013 г. / отв. ред. О. С. Тарасенко ; М-во образования РБ, Башк. акад. гос. службы и управления при Президенте РБ, Башк. гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы. – Уфа, 2014. – С. 55-60.
739. Гребнева, М. П. М. Осоргин и Флоренция [Текст] : [образ Флоренции в рассказах писателя] // Культура и текст 2005. – Барнаул, 2005. – Т. 2. – С. 48-53.
740. Гурленова, Л. Тенденции развития русской литературы европейского Северо-Востока [Текст] : К. Жаков, М. Осоргин, А. Грин / Л. Гурленова, О. Максимова // Интеллектуальная элита России на рубеже XIX-XX веков. – Киров, 2001. – С. 176-184.
741. Дворцова, Н. П. Михаил Осоргин и Саша Соколов [Текст] : (опыт интертекстуального анализа) // Михаил Осоргин: Художник и журналист / Пермский гос. ун-т. – Пермь, 2006. – С. 26–30.
742. Дворцова, Н. П. Стилистика витального потока [Текст] : (М. Осоргин и С. Соколов) // Литература и культура в современном гуманитарном знании. – Тюмень, 2005. – Ч. 2. – С. 15-17.
743. Дергачева, Э. С. Символика Дома в русской прозе 20-х годов XX века [Текст] : (Е. Замятин, М. Булгаков, М. Осоргин) // Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня. – Тамбов, 2000. – Кн. 10. – С. 39-45.
744. Дзюба, Е. М. Образ и ощущение истории в прозе М. А. Осоргина и Ю. Н. Тынянова [Текст] : («Старинные рассказы», «Восковая персона») // Традиции в русской литературе. – Нижний Новгород, 2012. – С. 153-169.

745. Дольников, В. Два поколения русской эмиграции : Михаил Осоргин и Гайто Газданов // Лит. учеба. – 2004. – Кн. 3 (май – июнь). – С. 159-164.
746. Дядичев, В. Н. «Маяковский», «Осоргин», «Цветаева» как примеры персональных статей Есенинской энциклопедии [Текст] // Новые российские гуманитарные исследования. – 2011. - № 6. – С. 29.
747. Дядичев, В. Н. Михаил Осоргин в спорах о русском и итальянском футуризме [Текст] // Метрополия и диаспора: две ветви русской культуры. – М., 2015. – С. 277-295.
748. Евстифеев, А. С. Встреча с прошлым : (сопоставительный анализ романа В. В. Набокова «Машенька» и рассказа М. А. Осоргина «Катенька») / А. С. Евстифеев, Д. Ф. Зайнутдинова // Дворянский род Осоргиных в истории и культуре России : Всерос. науч. конф., приуроченная к 135-летию со дня рождения писателя и публициста М. А. Осоргина, 13 дек. 2013 г. / отв. ред. О. С. Тарасенко ; М-во образования РБ, Башк. акад. гос. службы и управления при Президенте РБ, Башк. гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы. – Уфа, 2014. – С. 60-62.
749. Жиганова, О. Г. Специфика хронотопа в романах М. А. Осоргина «Сивцев Вражек» и М. А. Булгакова «Белая гвардия» : опыт сопоставительного изучения // Вестн. Самар. гос. ун-та. Гуманит. выпуск. – Самара, 2010. - № 1 (75). – С. 157-163.
750. Иванов, А. «Дважды дорогой и трижды милый...» [Текст] : [о личных и творческих связях А. И. Куприна и М. А. Осоргина в период эмиграции] // Нева. – 2000. - № 9. – С. 231-233.
751. Кайгородова, В. Е. «Происшествия зеленого мира» М. Осоргина и американская натурфилософская литература в русском чтении конца XIX – начала XX века // М. А. Осоргин и литература русского зарубежья : материалы VIII региональной науч.-практ. конф. Пермь, 19 окт. 2011 г. / редкол.: Н. К. Оконская (науч. ред.), Л. В. Масалкина (отв. ред.) ; М-во образования и науки РФ, Пермский нац. исслед. политехн. ун-т. – Пермь, 2012. – С. 29-37.
752. Кара-Мурза, А. А. Петр Бернгардович Струве и Михаил Андреевич Осоргин: Два лика российского либерализма [Текст] // Интеллектуальные портреты : очерки о рус. политических мыслителях XIX-XX вв. / А. А. Кара-Мурза ; Рос. Акад. наук,

Ин-т философии, Центр филос. проблем рос. реформаторства. – М., 2006. – С. 126-132.

753. Книга в жизни и творчестве М. А. Осоргина [Текст] // Смышляевские чтения : тезисы сообщений. 17–18 октября 1992г. – Пермь, 1992. – С. 33–37.

754. Князева, Н. А. Ностальгия по детству : [об автобиогр. повестях М. А. Осоргина «Времена» и И. С. Шмелева «Лето Господне»] // М. А. Осоргин и литература русского зарубежья : материалы VIII региональной науч.-практ. конф. Пермь, 19 окт. 2011 г. / редкол.: Н. К. Оконская (науч. ред.), Л. В. Масалкина (отв. ред.) ; М-во образования и науки РФ, Пермский нац. исслед. политехн. ун-т. – Пермь, 2012. – С. 43-47.

755. Колбас, В. С. Щедрый дар библиофила [Текст] // Михаил Осоргин и вечные ценности русской культуры : материалы науч.-практ. конф. – Пермь, 2003. – С. 74–79.

756. Комина, Р. В. Чеховская Россия в произведениях Осоргина [Текст] // Михаил Осоргин: Страницы жизни и творчества. – Пермь, 1994. – С. 21-27.

757. Корионова, О. С. Женские образы в мемуарных повестях С. Т. Аксакова и М. А. Осоргина [Текст] // Аксаковский сборник / ред.-сост. Г. О. Иванова ; Совет городского округа г. Уфа, Национальный музей РБ, Мемориальный дом-музей С. Т. Аксакова, Аксаковский фонд. – Уфа, 2008. – Вып. 5. – С. 150-158.

758. Корионова, О. С. «Сказка ложь, да в ней намек: добрым молодцам урок» [Текст] : сопоставительный анализ сказки С. Т. Аксакова «Аленький цветочек» и стилизованного рассказа М. А. Осоргина «Выбор невесты» // Инновационный потенциал молодежной науки : материалы внутривуз. молодежной науч.-практ. конф. 18 мая 2007 г. / под ред. В. С. Хазиева ; Башк. гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы. – Уфа, 2007. – Т. 2. – С. 168–173.

759. Кузьменко, Т. Чеховская Россия в произведениях М. Осоргина [Текст] // История культуры, теория культуры и проблемы гуманизации высшего образования : тезисы докл. – Пермь, 1996. – С. 186–187.

760. Кузьмищева, Н. М. Б. Зайцев и М. Осоргин [Текст] : со- и противопоставление мироощущений // Русская литература конца XIX – начала XXв. Литература русского зарубежья / ред.-

- сост. Л. Ф. Алексеева, В. А. Скрипкина. – М., 2003. – С. 119–125.
761. Лапаева, Н. Б. М. Осоргин и русская литература XIX века [Текст] : параллели, реминисценции, элементы полемики // Короленковские чтения, 15-16 октября 1996 г. – Глазов, 1996. – С. 28-31.
762. Лапаева, Н. Б. «Письма о незначительном» М. Осоргина и «Дневники» Б. Поплавского [Текст] : модификации смещенного жанра // Михаил Осоргин: Художник и журналист / Пермский гос. ун-т. – Пермь, 2006. – С. 57–67.
763. Ласунский, О. Г. Книга в жизни и творчестве М. А. Осоргина [Текст] // Смышляевские чтения : тез. сообщений, 17-18 окт. 1992 г. – Пермь, 1992. – С. 33–37.
764. Ласунский, О. Г. Книга в жизни и творчестве М. А. Осоргина [Текст] // Страницы прошлого : избр. материалы краевых Смышляевских чтений в Перми. – Пермь, 1995. – [Вып.1]. – С. 30–34.
765. Ласунский, О. Г. Литературный самоцвет [Текст] : М. А. Осоргин в оценках русской зарубежной критики : к 50-летию со дня смерти // Урал. – 1992. – № 7. – С. 179–189.
766. Ласунский, О. Г. М. А. Осоргин и его «Заметки старого книгоеда» [Текст] // Урал. – 1982. – № 8. – С. 163–167.
767. Леонтьев, Я. В. Образы террористов эпохи Первой Русской революции в романах Б. Савинкова и М. Осоргина [Текст] // Прямухинские чтения. – Тверь, 2006. - ... 2005 года. – С. 137-142.
768. Леонтьев, Я. В. У них была общая любовь – Италия [Текст] : [участники объединения «Lo Studio Italiano» в контексте литературной жизни Москвы 1918-1923 гг.] // Россия и Италия. – М., 2000. – Вып. 4. – С. 215-226.
769. Лобанова, Г. И. «С Аксаковым мы были в родстве...» [Текст] : (М. А. Осоргин и С. Т. Аксаков) // Аксаковские чтения: духовное и литературное наследие семьи Аксаковых : материалы междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. Т. Н. Дорожкина ; М-во культуры и нац. политики РБ, Башк. ин-т развития образования. – Уфа, 2001. – Ч. 1. – С. 63-66.
770. М. А. Осоргин и литература русского зарубежья [Текст] : Памяти М. А. Осоргина (1878-1942) : материалы VIII регион. науч.-практ. конф., Пермь, 19 окт. 2011 г. / Перм. нац. исслед.

политехн. ун-т ; науч. ред. Н. К. Оконская ; отв. ред. Л. В. Масалкина. – Пермь, 2012. – 105 с.

771. М. Осоргин о Горьком [Текст] / вступ. ст., подгот. текста и примеч. И. А. Бочаровой // Публицистика М. Горького в контексте истории. – М., 2007. – С. 540-559.

772. Масалкина, Л. В. Библиотека как просветительский Центр Михаила Осоргина [Текст] // Михаил Осоргин и вечные ценности русской культуры : материалы науч.-практ. конф. – Пермь, 2003. – С. 79–81.

773. Мороз, Д. «Из книг М. А. Осоргина» [Текст] : [о книгах из личной б-ки М. А. Осоргина, поступивших в Нац. б-ку Белоруссии] // Кн. обозрение. – 1994. – № 48 (29 нояб.). – С. 26.

774. Мужайлова, Е. А. Два «игрока» русской литературы Ф. М. Достоевского и М. А. Осоргина [Текст] // Актуальные аспекты современной науки : материалы IV Междунар. науч.практ. конф. – Прага, 2008. – С. 72-76.

775. Мужайлова, Е. А. Достоевский и Осоргин: типология почвенничества [Текст] : монография / Е. А. Мужайлова ; науч. ред. В. В. Борисова. – Уфа : Вагант, 2008. – 194 с. – (Уфимская книга).

776. Мужайлова, Е. А. М. А. Осоргин и русское неопочвенничество // М. А. Осоргин и литература русского зарубежья : материалы VIII региональной науч.-практ. конф. Пермь, 19 окт. 2011 г. / редкол.: Н. К. Оконская (науч. ред.), Л. В. Масалкина (отв. ред.) ; М-во образования и науки РФ, Пермский нац. исслед. политехн. ун-т. – Пермь, 2012. – С. 9-18.

777. Мужайлова, Е. А. М. А. Осоргин – Ф. М. Достоевскому: отрицание и преемственность [Текст] // Акад. журн. Западной Сибири. – Тюмень, 2008. – № 1. – С. 62-63.

778. Мужайлова, Е. А. Народное православие: от Ф. М. Достоевского к М. А. Осоргину : (на примере анализа образов просветленных людей – старца Зосимы и денщика Григория) // Вопр. филологии. – М., 2011. - № 3. – С. 105-111.

779. Мужайлова, Е. А. Неопочвенничество: преемственность и новаторство [Текст] // Социально-гуманитарные знания. – 2007. - № 9. – С. 272-280.

780. Мужайлова, Е. А. Образы земли и почвы в произведениях Ф. М. Достоевского и М. А. Осоргина [Текст] // Система непрерывного образования: школа – педучилище – вуз

- : материалы Всерос. науч.-практ. конф. / Башк. гос. пед. ун-т. – Уфа, 2004. – С. 134-137.
781. Мужайлова, Е. А. Почвеннические произведения Ф. М. Достоевского и М. А. Осоргина как русские философские тексты [Текст] // 2007 год – год русского языка: философия и филология русского классического текста : материалы II Всерос. науч.-практ. конф. / Пензенский ин-т развития образования. – Пенза, 2007. – С. 103-105.
782. Мужайлова, Е. А. Типология почвенничества [Текст] : Ф. М. Достоевский и М. А. Осоргин // Вестн. Башк. ун-та. – Уфа, 2008. – Т. 13, № 1. – С. 93-97.
783. Мужайлова, Е. А. Ф. М. Достоевский и М. А. Осоргин: типология почвенничества [Текст] : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Е. А. Мужайлова ; Башк. гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы. – Магнитогорск, 2008. – 24 с.
784. Мужайлова, Е. А. Эволюция концепта «народ» в творчестве Ф. М. Достоевского и М. А. Осоргина // Социально-гуманитар. вестн. Юга России. – Краснодар, 2010. - № 6/2. – С. 125-135.
785. Нечаева, М. В. Б. Зайцев в изображении М. Осоргина [Текст] // Проблемы изучения жизни и творчества Б. К. Зайцева : Третьи Междунар. Зайцевские чтения / редкол.: А. П. Черников, М. В. Михайлова, Н. И. Пак. – Калуга, 2001. – Вып. 3. – С. 194–199.
786. Орлова, О. Два поколения русской эмиграции : Михаил Осоргин и Гайто Газданов // Лит. учеба. – 2004. – Кн. 3 (май – июнь). – С. 159-164.
787. Павловский, А. И. К характеристике автобиографической прозы русского зарубежья [Текст] : (И. Бунин, М. Осоргин, В. Набоков) // Рус. лит. – 1993. - № 3. – С. 30-53.
788. Пасквинелли, А. М. А. Осоргин и итальянский футуризм [Текст] // Филол. зап. – Воронеж, 1994. – Вып. 3. – С. 43–50.
789. Пасквинелли, А. М. А. Осоргин и экскурсии русских ученых в Италию [Текст] // М. Осоргин. Страницы жизни и творчества. – Пермь, 1994. – С. 43–50.
790. Пасквинелли, А. Образы Италии в публицистике М. А. Осоргина [Текст] // Россия и Италия / редкол.: С. А. Беляев, Л. М. Брагина, Л. М. Капалет ; отв. ред. Н. П. Комолова. – М.,

2003. – Вып. 5: Русская эмиграция в Италии в XX веке. – С. 179-181.
791. Погодина, Е. В. Специфика речевого функционирования категорий «пространство» и «время» в автобиографической прозе [Текст] : (на материале произв. М. Осоргина и И. Бунина) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Е. В. Погодина ; С.-Петерб. гос. ун-т. – СПб., 2002. – 16 с.
792. Поликовская, Л. В. М. А. Осоргин и еврейский вопрос [Текст] // Михаил Осоргин: Художник и журналист / Пермский гос. ун-т. – Пермь, 2006. – С. 83–91.
793. Полупанова, А. Священные корни [Текст] : автор и герой в автобиогр. романах И. Бунина “Жизнь Арсеньева” и М. Осоргина “Времена” // Бельские просторы. – 2003. - № 10. – С. 95-99.
794. Полупанова, А. В. Формы выражения авторского сознания в автобиографической прозе И. Бунина и М. Осоргина [Текст] : «Жизнь Арсеньева» – «Времена» : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / А. В. Полупанова ; Моск. гос. обл. ун-т. – М., 2002. – 24 с.
795. Попов, В. В. М. А. Осоргин и И. Г. Эренбург [Текст] // Рус. лит. – 1997. - № 2. – С. 203-224.
796. Попов, В. В. М. Осоргин – рецензент: (своеобразие отзывов о прозе И. Г. Эренбурга) [Текст] // Русский литературный портрет и рецензия: концепции и поэтика : сб статей / ред.-сост. В. В. Перхин ; Санкт-Петербург. гос. ун-т. – СПб., 2000. – С. 114–121.
797. Порозов, В. А. Пермь музыкальная на страницах мемуарной прозы Михаила Осоргина [Текст] // В поисках истины. Интеллигенция провинции в эпоху общественных потрясений : материалы науч.-практ. конф. – Пермь, 1999. – С. 52–56.
798. Соловьева, А. В. Пейзаж как средство реализации авторской концепции в автобиографической прозе И. Бунина и М. Осоргина : («Жизнь Арсеньева» - «Времена») // Проблемы филологии : сб. науч. работ аспирантов, соискателей и молодых ученых / Башк. гос. ун-т. – Уфа, 2001. – Ч. 2. – С. 89-94.
799. Степанова, Н. С. Россия в воспоминаниях писателей «первой волны» эмиграции [Текст] : (И. Бунин, И. Шмелев, М.

- Осоргин, В. Набоков) // Россия. Духовная ситуация времени. – М., 1999. – 2. – С. 35-57.
800. Строганова, И. А. Случай и божий промысел в диалогии М. Осоргина «Свидетель истории», «Книга о концах» и романе И. Шмелева «Пути небесные» // Литература XX века: итоги и перспективы изучения. – М., 2010. – С. 228-232.
801. Сухих, О. С. Традиции Ф. М. Достоевского в романах М. Осоргина «Свидетель истории» и «Книга о концах» [Текст] // Уральский филол. Вестн. Сер.: Рус. классика: динамика худож. систем. – Екатеринбург, 2016. - № 4. – С. 188-201.
802. Тарасенко, О. С. Литературно-художественный спор о слепоте М. А. Осоргина с В. Г. Короленко : (представлен литературно-художественный спор писателей начала XX века: В. Г. Короленко в повести «Слепой музыкант» и М. А. Осоргина в рассказе «Слепорожденный») // Филол. науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов, 2016. - № 9 (63), ч. 2. – С. 41-43.
803. Тарасенко, О. С. Сюжет о выборе спутника жизни в сказке С. Т. Аксакова «Аленький цветочек» и рассказе М. А. Осоргина «Выбор невесты» [Текст] // Вестн. Челябин. гос. ун-та. Филология. Искусствоведение. – Челябинск, 2010. - № 4, вып. 40. – С. 167-170.
804. Тарасенко, О. С. Читательские предпочтения С. Т. Аксакова и М. А. Осоргина // М. А. Осоргин и литература русского зарубежья : материалы VIII региональной науч.-практ. конф. Пермь, 19 окт. 2011 г. / редкол.: Н. К. Оконская (науч. ред.), Л. В. Масалкина (отв. ред.) ; М-во образования и науки РФ, Пермский нац. исслед. политехн. ун-т. – Пермь, 2012. – С. 55-61.
805. Телицын, В. Л. «...И какой-нибудь magistrandus выберет эту тему для докторской диссертации» [Текст] : (письма П. Н. Милюкова к М. А. Осоргину, 1940-1942 гг.) / В. Л. Телицын, О. Ю. Тесленко // Вестн. Истории, литературы, искусства. – 2016. – Т. 11, № 11. – С. 455-478.
806. Теренина, Н. А. Михаил Осоргин, Николай Бердяев, Петр Струве [Текст] // Краеведение в свете проблем философии воспитания / Пермский гос. ун-т. – Пермь, 2004. – С. 121–124.
807. Трофимов, И. В. Итальянские мотивы в творчестве Михаила Осоргина [Текст] // Россия и Италия / редкол.: С. А.

Беляев, Л. М. Брагина, Л. М. Капалет ; отв. ред. Н. П. Комолова. – М., 2003. – Вып. 5: Русская эмиграция в Италии в XX веке. – С. 165–178.

808. Урвиллов, В. А. Поэтика композиции романов о революции 20-х гг. XX в. : («В тупике» В. В. Вересаева, «Сивцев Вражек» М. А. Осоргина, «Мирская чаша» М. М. Пришвина) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Урвиллов В. А. ; Нижегород. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского. – Нижний Новгород, 2010. – 22 с.

809. Фефелова, А. Образ друга : (на материале миниатюры М. Осоргина «О Борисе Зайцеве») // М. А. Осоргин и литература русского зарубежья : материалы VIII региональной науч.-практ. конф. Пермь, 19 окт. 2011 г. / редкол.: Н. К. Оконская (науч. ред.), Л. В. Масалкина (отв. ред.) ; М-во образования и науки РФ, Пермский нац. исслед. политехн. ун-т. – Пермь, 2012. – С. 100-103.

810. Фрадкина, С. Я. На перекрестке традиций [Текст] : («Сивцев Вражек» М. Осоргина и традиции рус. классики) // Михаил Осоргин: Страницы жизни и творчества. – Пермь, 1994. – С. 21-27.

811. Хазан, В. «Отблеск чудесного» прошлого : переписка М. А. Осоргина и А. В. Бахраха в годы Второй мировой войны // Новый журн. = New rev. – Нью-Йорк, 2011. – Кн. 262. – С. 158-222.

812. Хазан, В. Письмо М. А. Осоргина А. Друянову [Текст] : [в связи с работой А. Друянова над изданием сб. еврейского юмористического фольклора] // Особенный еврейско-русский воздух / В. Хазан. – М. ; Иерусалим, 2001. – С. 291-294.

813. Харитонов, Д. В. Оппозиции свое/чужое и верх/низ в городском пространстве романов М. Осоргина «Сивцев Вражек», Б. Пастернака «Доктор Живаго» и М. Булгакова «Мастер и Маргарита» [Текст] // Михаил Осоргин: Художник и журналист / Пермский гос. ун-т. – Пермь, 2006. – С. 49-56.

814. Чудинова, Г. В. Образы матерей в «Семейной хронике» С. Т. Аксакова и в книге М. А. Осоргина «Времена» // Мир начинается в детской : материалы VII научно-практической конференции. – Пермь, 2010. – С. 23.

815. Чуракова, Т. П. Мемориальный фонд М.А. Осоргина в Пермском музее и концепция выставки, посвящённой писателю

[Текст] // Михаил Осоргин: Страницы жизни и творчества. – Пермь, 1994. – С. 98-100.

816. Чуракова, Т. П. Возвращение [Текст] : (мемориальная коллекция М. Осоргина в ПОКМ) // Михаил Осоргин и вечные ценности русской культуры : материалы науч.-практ. конф. – Пермь, 2003. – С. 6-8.

817. Mouze, C. “Et qui d’ailleurs connait la Russie” [Текст] // Quinzaine litt. – P., 2001. - № 817. – P. 14-15.

Изучение творчества М. А. Осоргина в учебных заведениях

818. Арустамова, Л. И. Роль регионального компонента в развитии творчества учащихся [Текст] / Л. И. Арустамова, А. А. Арустамова // Михаил Осоргин и вечные ценности русской культуры : материалы науч.-практ. конф. – Пермь, 2003. – С. 57–62.

819. Жиганова, О. Г. Специфика изучения хронотопа читателя в высших учебных заведениях [Текст] : (на примере прозы М. А. Осоргина) // Вестник педагогических инноваций : науч.-практ. журн. – Новосибирск, 2010. - № 2 (22). – С. 38-60.

820. Иванова, С. М. Урок «Мы – люди от земли...» [Текст] : анализ рассказа М. А. Осоргина «Земля» // Михаил Осоргин и вечные ценности русской культуры : материалы науч.-практ. конф. – Пермь, 2003. – С. 43–47.

821. Князева, Е. А. Урок-путешествие по очерку «Реки» из книги «Воспоминания» М. А. Осоргина [Текст] // Михаил Осоргин и вечные ценности русской культуры : материалы науч.-практ. конф. – Пермь, 2003. – С. 39–43.

822. Князева Н. А. Драматизация произведений М. Осоргина в начальной школе [Текст] / Н. А. Князева, Т. Сарapultова // Михаил Осоргин и вечные ценности русской культуры : материалы науч.-практ. конф. – Пермь, 2003. – С. 68–71.

823. Корионова, О. С. Изучение творчества С. Т. Аксакова и М. А. Осоргина в средней школе [Текст] // Система непрерывного образования: школа – педучилище – вуз : материалы региональной науч.-практ. конф. Апрель, 2007 г. / Башк. гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы. – Уфа, 2007. – С. 140–144.

824. Лапаева, Н. Б. «Пермский» пейзаж М. Осоргина [Текст] : (изучение мемуарной прозы писателя на уроках литературного краеведения) // Словесность и современность : материалы науч. конф. – Пермь, 2000. – Ч. 1: Литературоведение. – С. 131–138.
825. Рякина, И. В. Малая проза М. Осоргина на факультативных занятиях по краеведению [Текст] // Михаил Осоргин и вечные ценности русской культуры : материалы науч.-практ. конф. – Пермь, 2003. – С. 65–66.
826. Сваровская, А. С. Поэтика прозы М. А. Осоргина [Текст] : учебное пособие / А. С. Сваровская, М. А. Хатямова, А. В. Новикова ; Томский политехнический ун-т. – Томск : Изд-во Томского политехнического ун-та, 2011. – 96 с.
827. Скоблик, Н. В. Анализ рассказа М. А. Осоргина «Земля» в школе // Дворянский род Осоргиных в истории и культуре России : Всерос. науч. конф., приуроченная к 135-летию со дня рождения писателя и публициста М. А. Осоргина, 13 дек. 2013 г. / отв. ред. О. С. Тарасенко ; М-во образования РБ, Башк. акад. гос. службы и управления при Президенте РБ, Башк. гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы. – Уфа, 2014. – С. 65-69.
828. Скрипова, Ю. Ю. Воспитание патриотических чувств у детей 6-8 лет средствами произведений М. А. Осоргина [Текст] // Михаил Осоргин и вечные ценности русской культуры : материалы науч.-практ. конф. – Пермь, 2003. – С. 66–68.
829. Строганова, И. А. Проза М. Осоргина: подходы к изучению [Текст] : (о совр. подходах к изучению прозы М. Осоргина) // Вестник Университета РАО. – 2014. - № 1 (69). – С. 60-65. – Библиогр.: с. 64-65 (15 назв.).
830. Тарасенко, О. С. Всероссийская научная конференция «Дворянский род Осоргиных в истории и культуре России» // Дворянский род Осоргиных в истории и культуре России : Всерос. науч. конф., приуроченная к 135-летию со дня рождения писателя и публициста М. А. Осоргина, 13 дек. 2013 г. / отв. ред. О. С. Тарасенко ; М-во образования РБ, Башк. акад. гос. службы и управления при Президенте РБ, Башк. гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы. – Уфа, 2014. – С. 3-6.
831. Тарасенко, О. С. Спецкурс «Изучение творчества С. Т. Аксакова и М. А. Осоргина в контексте уфацентризма» // Система непрерывного педагогического образования: проблемы функционирования языков и литератур в полиэтническом

Башкортостане : материалы региональной науч.-практ. конф., посвящ. Году Учителя и Республике Башкортостан / Башк. гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы. – Уфа, 2010. – Вып. 10. – С. 62-69.

Библиографические пособия о М. А. Осоргине

832. Ильина, О. Н. Библиографическое освоение литературы русского зарубежья [Текст] // Совр. библиогр.-информационное образование. – СПб., 1996. – Вып.1. – С. 49-76.
833. Ласунский, О. Г. Моя осоргинана [Текст] // Библиография. – 1997. – № 4. – С. 103-107.
834. Михаил Андреевич Осоргин [Текст] : библиогр. / сост.: Н. В. Бармаш, Т. А. Осоргина, Д. М. Фини ; Рус. б-ка ин-та славяноведения. Т. XXXV. – Париж : Ин-т славяноведения, 1973. – 211 с. – (Рус. писатели во Франции).
835. Осоргин [Ильин] Михаил Андреевич (1878-1942) [Текст] // Литература Русского Зарубежья возвращается на родину : выборочный указ. публикаций 1986-1990 / сост.: В. Т. Данченко при участии Н. Л. Глазковой, О. В. Емельяновой, И. Л. Курант. – М., 1993. – Вып. 1., ч. 1. – С. 326-329.
836. Осоргин Михаил Андреевич (1878-1942) [Текст] : рек. библиогр. указ. / сост.: В. Г. Дедова, Н. Ф. Захарова ; Объединение муниципальных б-к г. Перми, Центральная гор. б-ка им. А. С. Пушкина. – Пермь, 2003. – 18 с.
837. Писатель и библиофил Михаил Андреевич Осоргин [Текст] : библиогр. материалы / [Ленингр. орг. добр. о-ва книголюбов РСФСР. Секция миниатюр. изд., 138-е собр. ЛСМ] ; [ред. В. В. Манукян]. – Л., 1989. – 79 с.
838. «Россия осталась в сердце...» : биобиблиогр. указ. соч. М. А. Осоргина и лит. о нем за 1897-2008 гг. / сост. О. С. Тарасенко, П. И. Федоров ; вступ. ст. О. С. Тарасенко ; послесл. Е. А. Мужайловой ; отв. ред. В. В. Борисова ; Башк. гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы, Библиотека БГПУ. – Уфа : Вагант, 2008. – 98 с. – (Уфимская книга).
839. Слоним, М. Библиография М. А. Осоргина [Текст] : [Рец. на кн.: Михаил Андреевич Осоргин : библиогр. / сост.: Н. В. Бармаш, Т. А. Осоргина, Д. М. Фини. – Париж, 1973.] // Рус. мысль. – Париж, 1973. – 6 сент.

840. Тарасенко, О. С. Дань благодарности выдающемуся земляку [Текст] : [о биобиблиогр. указ. соч. М. А. Осоргина и лит. о нем за 1897-2008 годы «Россия осталась в сердце...» (сост. О. С. Тарасенко, П. И. Федоров. – Уфа, 2008)] / О. С. Тарасенко, П. И. Федоров // Гуманистическое наследие просветителей в культуре и образовании : материалы Междунар. науч.-практ. конф. 12 дек. 2008 г. / М-во культуры и нац. политики РБ, М-во образования РБ, Башк. гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы. – Уфа, 2008. – Т. 3. – С. 180-182.
841. Ossorgina-Bakounina, T. L'Emigration Russe en Europe [Текст] : catalogue collectif des periodiques en lanque Russe. 1885-1940 / T. Ossorgina-Bakounina. – Paris, 1990. – 354 p.
842. Volkoff, A. M. L'Emigration Russe en Europe [Текст] : catalogue collectif des periolidique en lanque Russe. 1940-1979 / A. M. Volkoff. – Paris, 1988. – 147 p.
843. Zenkovsky, S. A. A guide to the bibliographies of Russian literature [Текст] / S. A. Zenkovsky, D. L. Armbruster. – N. Y., 1970. – 62 p.

СОДЕРЖАНИЕ

Тарасенко О.С., Фёдоров П.И. Уфимские страницы Михаила Осоргина	3
Осоргин М.А. Рассказы и повести об Уфе и её окрестностях	10
<i>Портрет матери</i>	11
<i>Дневник отца</i>	17
<i>Земля</i>	28
<i>Кузины</i>	44
<i>По городам</i>	55
<i>Времена</i>	61
Приложение	203
Тарасенко О.С. Родственники М.А. Осоргина (Ильина) в Уфе ...	204
Свице Я.С. Город, которого нет (осоргинские адреса в Уфе и её окрестностях)	209
Генеалогическое древо уфимских родственников М.А. Осоргина	231
«Россия осталась в сердце...»: (библиографический указатель сочинений М.А. Осоргина и литературы о нём за 1897–2018 гг.) / сост. О.С. Тарасенко и П.И. Фёдоров	234

Михаил Андреевич Осоргин

ВРЕМЕНА

Очерки, рассказы и повесть об Уфе и её окрестностях

Редакторы-составители: О.С. Тарасенко и П.И. Фёдоров
Корректор: Л.И. Ильина
Дизайн обложки: А.В. Кондров
Компьютерная вёрстка: А.А. Словохотов

Подписано в печать 27.09.18. Формат 60x90/16
Компьютерный набор. Гарнитура Times New Roman
Усл. печ. л. – 9,62 Тираж 20 экз.
Заказ № 11/18

Отпечатано в издательстве А.А. Словохотова
450052, Уфа, ул. Аксакова, д. 72